ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ЗА ТРЕМЯ ВОЛОКАМИ

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1968

Р 2
Б 43

Совсем недавно пришел в литературу Василий Белов, а его рассказы уже стали широко известны. Все будто бы обыкновенно в его рассказах — не больно-то великие дела совершают его герои, не слишком щедра к человеку вологодская земля. Однако в этой будничности В. Белов улавливает настоящий праздник чувств, раскрывает перед читателем светлые сердца своих земляков, сильные характеры, находит и с огромной любовью изображает людей, щедро одаренных талантом человечности.

Грустное и радостное, трагическое и веселое органически соединяются у В. Белова. Поэтичен язык его произведений, естественна и доверительна манера повествования. Будто поет русская душа, славит родную природу, родной народ, всемогущество жизни.

Повесть «Привычное дело» — глубокое исследование всех пластов деревенской жизни. При всей суровости ряда эпизодов, жизнеописание семьи Ивана Дрынова, его метаний, поисков лучшей доли дышит оптимизмом, верой в народ, любовью к земле и к труду.

Художник Е. Ф. КАПУСТИН

7-3-2
8—67

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ПОВЕСТЬ
И
РАССКАЗЫ

ЗА ТРЕМЯ ВОЛОКАМИ





ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Повесть



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ПРЯМЫМ ХОДОМ

—Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот, ну-ко мы домой поедем. Хошь домой-то? Пармен ты Пармен...

Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи.

— Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича? Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, Пармеша, маленько выпил, выпил, друг мой, ты уж меня не осуди. Да, не осуди, значит. А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку? Особенно ежели он сперва весь до кишков на ветру промерз, после проголодался до самых костей? Ну, мы, значит, и выпили по мерзавчику. Да. А Мишка мне говорит: «Чего уж, Иван Африканович, от одной

только в ноздре разъело, давай, говорит, вторительную». Все мы, Парменушко, под сельпом ходим, ты уж меня не ругай. Да, милой, не ругай. А ведь с какого места все дело пошло? А пошло, Пармеша, с сегодняшнего утра, когда мы с тобой посуду пустую сдавать повезли. Нагрузили да и повезли. Мне продавщица грит: свези, Иван Африканович, посуду, а обратно товару привезешь. Только, грит, накладную-то не потеряй. А когда это Дрынов накладную терял? Не терял Иван Африканович накладную. Вон, говорю, Пармен не даст мне соврать, не терял накладную. Свезли мы с тобой посуду? Свезли! Сдали мы ее, курву? Сдали! Сдали и весь товар в наличности получили! Так это почему нам с тобой выпить нельзя? Можно нам выпить, ей-богу, можно. Ты, значит, у сельпа стоишь, у высокого-то крылечка, а мы с Мишкой. Мишка. Этот Мишка всем Мишкам Мишка. Я те говорю. Дело привычное. Давай, говорит, Иван Африканович, на спор, не я буду, грит, ежели с хлебом все вино из блюда не выхлебаю. Я говорю, какой ты, Миша, шельма. Ты ведь, говорю, шельма, ну кто вино с хлебом ложкой хлебает? Ведь это, говорю, не шти какие-либо, не суп с курой, чтобы его, вино-то, ложкой, как тюрю, хлебать. А вот, говорит, давай на спор. Давай. Меня, Пармеша, этот секрет разобрал. На что, Мишка меня спрашивает, на что, спрашивает, на спор идешь? Я и говорю, что ежели выхлебаешь не торопясь, так ставлю еще одну белоглазую-то, а ежели проиграешь, дак с тебя. Ну, взял он у сторожихи блюдо. Хлеба накрошил полблюда, лей, говорит. Большое блюдо-то, малированное. Ну я и ухнул всю бутылку белого в это блюдо. Начальство какое тут изладилось, заготовители эти и сам пред-

седатель сельпа Василей Трифонович глядят, затихли, значит. И что бы ты, Парменушко, сказал, ежели этот пес, этот Мишка, всю эту крошенину ложкой выхлебал? Хлебает да крякает, хлебает да крякает. Выхлебал, дьявол, да еще и ложку досуха облизал. Ну, правда, только хотел он закурить, газетку у меня оторвал, рожу-то и повело у него; видно, его и прижало тутотка. Выскочил из-за стола да на улицу. Вышибло его, шельму, из избы-то. Крылечко-то у сельпа высокое, как он рыгнет с крылечка-то! Ну да ты тут у крылечка и стоял, ты его видел, мазурика. Заходит он обратно, в лице-то кровинушки нет, а хохотнул! У нас, значит, с ним канфликт. Все мненья пополам разделились, кто говорит, что я проспорил, а кто говорит, что Мишка слово не выдержал. А Василей-то Трифонович, председатель сельпа-то, встал на мою сторону, да и говорит: твоя взяла, Иван Африканович. Потому как выхлебать-то он, конешно, выхлебал, а в нутре-то не удержал. Я Мишке говорю: ладно, шут с тобой, давай пополам купим. Чтобы никому не обидно было. Чего? Ты что, Пармен? Чего встал-то? А-а, ну давай, давай. Я тоже с тобой побрызгаю за компанию. За компанию-то оно, Пармеша, всегда... Тпрры? Пармен? Кому говорят? Тпрры! Ты что, такая мать, сам свою нужду справил, да и пошел? Тпрры! Ты, значит, меня не подождал, пошел? Я тебя сейчас вожжами-то. Тпрры! Будешь ты знать Ивана Африкановича! Ишь ты! Ну вот и стой по-людски, где у меня, эти... пуговицы-то... Да, кх, хм.

Нам не долго погулять,
А только до девятого.
Оставайся, дорогая,
Наживай богатого.

Вот теперь поехали, поехали с орехами, поскакали с колпаками...

Иван Африканович высморкался, надел рукавицы и опять уселся на груженные сельповским товаром дровни. Мерин без понукания, в бок, сдернул прикипающие к снегу полозья и споро поволок тяжелый воз, изредка фыркал и прядал ушами, слушая хозяина.

— Да, брат Парменко. Вон оно как дело-то у нас с Мишкой обернулось. Ведь налелькались. Налелькались. Пошел он в клуб к девкам, девок-то тут у сельпа побольше, какая в пекарне, какая на почте, вот он и пошел к девкам-то. И девки все экие толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне, у нас-то все разъехались. Весь первый сорт по замужьям разобрали, остался один второй да третий. Дело привычное. Я говорю, поехали, Миша, домой, — нет, к девкам пошел. Ну, дело понятное, мы тоже, Пармеша, были молоденькие, это уж теперь-то нам все сроки вышли и соки вытекли, дело привычное, да... А как думаешь, Парменко, попадет нам от бабы-то? Попадет, ей-богу, попадет, это уж точно. Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать, бабе-то, скидку, Парменко. Ведь у ее робетешек-то сколько? А у ее их, этих клиентов-то, чур будь, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь... Али девять? Нет, Пармен, вроде восемь... А с этим, которой... Ну, этот, что... которой в брюхе-то... Девять? Аль восемь? Хм... Значит, так: Анатошка у меня второй, Танька первая. Васька за Анатошкой был, первого мая родила, как сейчас помню, за Васькой Катюшка, после Катюшки Мишка. После, значит, Мишка. П-п-погоди, а Гришку куда? Гришку-то я и забыл, он-то за кем? Васька за Ана-

тошкой, первого мая родился, за Васькой Гришка, после Гришки... Вот ведь, унеси леший, сколько накопил. Мишка, значит, за Катюшкой, за Мишкой Володя еще, да и Маруся, эта меньшуха, родилась в межумолоки... А перед Катюшкой-то кто был? Значит, так, Анатошка у меня второй, Танька первая, Васька первого мая родился, Гришка... А, шут с ним, все вырастут!

Нам не долго погулять...
А только до девятого...

Тпрры, стой, Парменко, тут нам потихоньку надо, как бы не окувырнуться.

Иван Африканович слез на дорогу. Он с такой серьезностью поддерживал воз и дергал за вожжи, что мерин как-то даже снисходительно, нарочно для Ивана Африкановича замедлил ход. Уж кому-кому, а Пармену-то была хорошо известна вся эта дорога...

— Ну, вот так, так, давай, вроде проехали мостик-то,— приговаривал ездовой.— Нам бы только с тобой накладную-то не ухайдакать, накладную-то... А ведь я тебя, Парменко, еще вот каким помню. Ведь ты тогда еще у матки титьку сосал, вот я тебя каким помню. И матку твою помню, звали Пуговкой, до того мала была да кругла, сгонили покойную головушку на колбасу, матку-то. Я, бывало, на ней за сеном ездил в масленицу, на старые стожья, дорога-то была вся через пень-колоду, дак она, матка-то твоя, как ящерка с возом-то, где ползком, где скоком, до того послушна была в оглоблях. Не то что ты теперешной. Ведь ты, дурак, и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не езживал, ты ведь одно вино да начальство

возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за пазухой. Я ведь тебя еще каким помню? Ну, конешно дело, тебе тоже досталось. Помнишь, как семенной горох возили, а ты из оглобель-то вывернулся! Да как мы тебя, прохвоста, всем миром из канавы на ноги ставили? А ведь я тебя еще вот эконьким помню-то,— бывало, бежишь по мосту весь празднишной, дак копытка-ти у тебя так и брякают, так и брякают, и никакой-то заботушки у тебя тогда не было. А теперь что? Ну, возишь ты вина вдоволь, ну там кормят тебя, поят, а дальше что? Вот сдадут тебя тоже на колбасу, в любой момент могут, а ты что? Да ничего, пойдешь как миленькой. Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конешно, баба и есть. Только у меня баба не такая, она и отряховку даст кому хошь. А мне ни-ни с пьяным. Пьяного она меня пальцем не тронет, потому знает Ивана Африкановича, век прожили. Тут уж, ежели я выпил, мне встречь слова не говори и под руку не попадай, у меня рука кому хошь копоти нагонит. Верно я говорю, Пармен? То-то, это уж точно я говорю, это уж как в аптеке, нагоню копоти. Чево?

Нам не долго погулять,
А только до де...

Я говорю, что Дрынова хто зажмет? Нихто Дрынова не зажмет, Дрынов сам кого хошь зажмет. Куда? Это ты куда, дурак старый, воротишь-то? Ведь ты не на ту дорогу воротишь! Ведь мы с тобой век прожили, а ты, понимаешь, куда воротишь? Это тебе домой дорога-то, что ли? Это тебе дорога не домой, а на вырубку. Я тут сто раз ездил, я тебе... Что?

Я тебе полягаюсь, я вот тебе полягаюсь! Ты дорогу лучше меня знаешь? Ты, прохвост, вожжей захотел? Нна! Нна, вот тебе, ежели так! Ступай куда велят, свой прынцып не отстаивай! Чего заоглядывался? Ну? То-то, дурак, иди куда велено!

Нам не долго погулять,
Ых, только до...

Иван Африканович отхлестал мерина и примирительно зевнул:

— Ишь ты, Парменко, как меня разморило-то. Мы с тобой сейчас домой прикатим, товар сдадим, самовар поставим. Распрягу я тебя либо бабе скажу, и пойдешь ты, дурачок, домой, в конюшную. Ведь ты дурак, Парменко? Вот и я говорю, что ты дурачок, хоть ты и умный мерин, а дурачок. Ничего-то в жизни не смыслишь. Ты вон свернуть хотел на другую дорогу, а я тебя восстановил. Восстановил я тебя на верную путь али не восстановил? То-то. А нам не долго погулять... Ты, дурак, чего опять остановился? Который раз останавливаешься. Ты домой не хошь? Отведаешь у меня еще вожжей, ежели! Вон и деревню видно, сдадим мы товар, самовар поставим, нам теперь что, нам теперь всё вчера до обеда. Дурак ты, Парменко, дурак, тебе домой неохота. Вон и деревня рядом, вон и трактор Мишкин. Что? Какая это деревня-то? Вроде не наша деревня. Ну. Ей-богу, не та деревня. Вон и сельпо есть, а в нашей сельпа нет, нет в нашей сельпа, это уж точно, а тут сельпо. Вон и крылечко высокое. Ведь мы, Парменко, вроде бы тут и товар грузили? Хм. Право слово, тут. Пармен ты Пармен. Нет ведь у тебя толку-то, ишь куда ты

меня завез. Вот ведь куда нас повело. Парме-ен? Ну, теперь мы с тобой домой поедем. Вот, вот, заворачивай-ко, батюшко! Ведь я тебе еще каким помню-то? Ведь ты еще маткину титьку губами дергал... Мы с тобой ходко... К утру дома будем, как в аптеке... Теперь мы, Пармеша, прямым ходом. Да, это... Прямым. Дело привычное.

2. СВАТЫ

Иван Африканович закурил, а мерин, не останавливаясь у сельповского крыльца, завернул обратно. Он трудолюбиво и податливо тащил груженые дровни с Иваном Африкановичем в придачу, поющим одну и ту же рекрутскую частушку.

Красная большая луна встала над лесом. Она катилась по еловым верхам, сопровождая одинокую, скрипящую завертками подводу.

Апрельский снег затвердел к ночи. В тишине ядрено и широко тянуло запахом натаявшей за день и ночью вымерзающей влаги.

Иван Африканович теперь молчал. Он трезвел и, будто засыпающий петух, клонил голову. Сперва ему было немножко стыдно перед Парменом за свою оплошность, но вскоре он как бы не нарочно забыл про эту вину, и все опять установилось на своих местах...

Мерин, чувствуя за спиной человека, топал и топал по затвердевшей дороге. Кончилось небольшое поле. До Сосновки, где была половина дороги, оставался еще небольшой лесок, встретивший подводу колдовской тишиной, но Иван Африканович даже не шевельнулся. Приступ словоохотливости как по

команде сменился глубоким и молчаливым равнодушием. Сейчас Иван Африканович даже не думал, только дышал да слушал. Но и скрип завертки и фырканье мерина не задевали его сознание.

Из этого небытия его вывели чьи-то совсем близкие шаги. Кто-то его догонял, и он поежился, очнулся.

— Эй! — окликнул Иван Африканович.— Мишка, что ли?

— Ну!

— А то чую, бежит кто-то. Что, видать, ночевать-то не оставили?

Мишка, сердитый, шмякнулся на дровни, мерин даже не остановился. Иван Африканович, ощущая собственную хитрость, оглядел парня. Мишка, нахлобучив ворот телогрейки, закуривал.

— Кого сегодня отхватил? — спросил Иван Африканович.— Не ту, что в сапожках-то ходит?

— А ну их всех на...

— Что эдак?

— Зоотэхник в истэрике! — передразнил Мишка кого-то.— Чик-брик, пык-мык! Дуры шпаклеванные. Видал я такую интеллигенцию!

— Не скажи,— трезво сказал Иван Африканович,— девки ядреные.

Оба долго молчали. Пожелтела и стала меньше высокая к полуночи луна, тихо дремали кустики и скрипела завертка, топал и топал неустанный Пармен, а Иван Африканович, казалось, что-то сосредоточенно прикидывал. До Сосновки, небольшой деревеньки, что стояла на средине пути, оставалось полчаса езды. Иван Африканович спросил:

— Ты Нюшку-то сосновскую знаешь?

— Какую Нюшку?

— Да Нюшку-то...

— Нюшка, Нюшка...— Парень сплюнул и перевернулся на другой бок.

— Экой ты, право...— Иван Африканович покачал головой.— А ты забудь про этих ученых! Раз наш брат малограмотный, дак и нечего. Наплюнь, да и все. Дело привычное.

— Иван Африканович, а Иван Африканович? — вдруг обернулся Мишка.— А ведь у меня эта бутылка-то не распечатана.

— Да ну! Какая «эта»?

— Ну, та, что ты мне проспорил-то.— Мишка вытащил бутылку из кармана штанов.— Вот мы сейчас обогреемся.

— Вроде бы из горлышка-то... неудобно перед народом, да и так. Может, не будем, Миша?

— Чего там неудобно! — Мишка уже распечатал посудину.— Ты вроде бы пряники грузил?

— Есть.

— Давай откроем ящик да возьмем двух на закуску.

— Нехорошо, парень.

— Да скажу завтра продавщице, чего боишься? — Мишка топором отодрал фанеру ящика, достал два пряника.

Выпили. Уже затихший было, но подновленный хмель сделал светлее апрельскую нехолодную ночь, вдруг и скрипящая завертка и шаги мерина — все приобрело смысл и заявило о себе, и уже луна не казалась Ивану Африкановичу ехидной и равнодушной.

— Я тебе, Миша, так скажу.— Иван Африкано-

вич наскоро дожевывал пряник.— Ежели человек сердцем не злой, да люб, да работник, дак не хуже никакого и зоотехника либо там госстраха. Вот Нюшку возьми...

Мишка слушал. Иван Африканович, не зная, угодил ли парню своими словами, крякнул.

— Конешно дело, грамота тоже, это... не лишнее в девке. А и ты-то парень у нас не худой, чего говорить... Да. Это, значит... чего говорить...

Допили, и Мишка далеко в кусты бросил пустую посудину, спросил:

— Ты про какую Нюшку говорил? Про сосновскую?

— Ну! — обрадовался Иван Африканович.— Вот уж девка, и красивая и работница. А ноги возьми, что вырублены. Она с моей бабой недавно на слете была, дак оне там по отрезу по самолучшему отхватили. А этих грамот у нее — дак все стены завешаны.

— С бельмом.

— Чево?

— С бельмом, говорю, эта Нюшка.

— Ну и что? Тебе-то что это бельмо? Это бельмо и видно-то, только ежели глядеть спереди, а сбоку да ежели с левого, дак никакого и бельма не видно. Грудина, а ноги-то, девка что баржа. Куда супротив Нюшки этим зоотехникам. Вон зоотехница-то пришла один раз на двор, а Куров поглядел, да и говорит: «Добра девка, только ноги дома оставила». Нету, значит, ног-то почти. Как палочки. А Нюшка вон идет, дак глядеть-то любо-дорого. Все простенки в грамотах да в гербовых листах, и в дому одна с маткой. А вот хошь, сейчас привернем? Хоть сейчас и сосватаю!

— А что, думаешь, сгузаю? — сказал Мишка.

— Всурьез тебе говорю.

— И я всурьез!

— Мишк! да я... да мы... мы с тобой, знаешь? Ты Ивана Африкановича знаешь! Да мы, мы... Пармен?!

Иван Африканович ударил по мерину вожжами, раз, другой. Пармен нехотя обернулся, но дело было уже под горку, дровни покатились. Мерину поневоле пришлось перейти на рысь, и через минуту возбужденные дружки по-молодецки, с частушкой вкатили в Сосновку:

Дорогая, не гадай,
Полюбила — не кидай.
Держись старого ума —
Люби мазурика меня.

Сосновка спала запредельным сном. Ни одна собака не взлаяла при появлении подводы: дома, редкие словно хуторки, мерцали лунными окошками. Иван Африканович наскоро поставил мерина у поленницы, бросил с воза последнее сенцо.

— Ты, Миша, вот что, уж ты положись на меня, сам-то больше помалкивай. Мне это дело не в первый раз, я Степановну, матку-то, давно знаю, как-никак тетка двоюродная. Не больно мы пьяные-то?

— Надо бы еще разжиться...

— Чч! Молчок покаместь!.. Степановна? — Иван Африканович осторожно постукал по воротам.— А Степановна?

В избе вскоре вздули огонь. Потом кто-то вышел в сени, отпер ворота.

— Кто это полуночник? Только на печь легла.—

Старуха в фуфайке и в валенках открыла ворота.— Вроде Иван Африканович.

— Здорово, Степановна! — Иван Африканович бодрился, стукал нога об ногу.

— Проходи-ко, Африканович, куда ездил-то? А это кто с тобой, не Михайло?

— Он, он.

В избе и в самом деле было красно от почетных грамот и дипломов, горела лампа, большая беленая печь и заборка, оклеенная обоями, разделяли избу на две части. Колено самоварной трубы висело у шестка на гвоздике, рядом два ухвата, совок и тушилка для угольков, сам самовар стоял, видно, в шкапу.

— Ночевать будете али как? — спросила Степановна и выставила самовар.

— Нет уж, мы прямым ходом... Обогреемся, да и домой.— Иван Африканович снял шапку и сложил в нее свои мохнатые рукавицы.— Нюшка-то где, спит, что ли?

— Какое спит. Две коровы должны вот-вот отелиться, дак убежала еще с вечера. Каково живешь-то?

— А добро! — сказал Иван Африканович.

— Ну и ладно, коли добро. Не родила еще хозяйка-то?

— Да должна вот-вот.

— А я только на печь забралась, думаю, Нюшка стукает, ворота-то мы запираем редко.

Зашумел самовар. Старуха выставила из шкапа бутылку. Принесла пирога, и Иван Африканович кашлянул, скрывая удовлетворение, поскреб штаны на колене.

— А ты-то, Михайло, все в холостяках? Женил-

Он бы, дак и меньше вина-то пил, — сказала Степановна.

— Это уж точно! — Мишка, смеясь, хлопнул ее по плечу.— Вина-то я, Степановна, много пью. Ведь вот и сегодня до чего допил, что прямо беда! Беда!

Мишка с горестным весельем качал головой:

— Бери зятем, пока...

Иван Африканович пнул Мишку валенком под столом, но Мишка не унимался:

— Отдашь за меня дочку-то, что ли?

— Да со Христом! — засмеялась бабка.— Берите, ежели пойдет, хоть сейчас и вези.

Ивану Африкановичу ничего не оставалось делать, как тоже включиться в дело, он уже громко, на всю избу, кричал Степановне и Мишке:

— Ну вот и я говорю, точно! У девки, у Нюшки, руки-то... Грамот однех... Миш? Я те говорю, точно! Степановна? Ты меня знаешь! Иван Африканович кому худо сделал? А? По-сурьезному!.. Я ему говорю, сейчас в Сосновку приедем, так? Он мне говорит... Нюшка! А ну-ко выходи сюда, Нюшка! Вот я сейчас на ферму пойду, Нюшку приведу. Степановна? Чч!

Однако Ивану Африкановичу не пришлось идти за Нюшкой. Стукнули ворота, и Нюшка сама объявилась на пороге.

— Аннушка! — Иван Африканович с полной стопкой встал ей навстречу.— Анютка! Троюродная! Да мы тебя... да мы... мы... Да экой девки на всю округу нету! Ведь нету такой девки? Однех грамот... Чч! Миш? Всем наливай. Я говорю, что нет лучше девки! А Мишка? Да разве Мишка худ парень? Ведь мы, Анюта, за тобой... значит, это самое, сватаем.

— Чево? — Нюшка, в навозных сапогах и в пропахшей силосом фуфайке, встала посреди избы и, прищурившись, поглядела на сватов. Потом бросилась за перегородку, проворно выскочила оттуда с ухватом: — Неси леший! Чтобы духу вашего не было, пьянчужки несчастные! Неси леший, пока глаза-то не выколола! Неси вас леший, откуда пришли!

Иван Африканович недоуменно попятился к двери, не забыв, однако, прихватить шапку с рукавицами, а старуха попыталась остановить дочку:

— Анна, да ты что, сдурела?

Нюшка заревела, схватила Ивана Африкановича за ворот:

— Иди, пустая рожа! Иди, откуда пришел, сотона! Сват выискался! Да я тебе...

Не успел Иван Африканович очнуться, как Нюшка сильно толкнула его, и он очутился на полу, за дверями; таким же путем оказался в сенях и Мишка.

Потом она выскочила в коридор, уже без ухвата. Еще более бесцеремонно и окончательно вытолкала сватов на улицу и захлопнула ворота...

В доме стоял рев. Нюшка с плачем кидала на пол что попало, вся в слезах кричала и металась по избе и материла весь белый свет.

— Ну и ну! — сказал Мишка, щупая локоть. А Иван Африканович растерянно хмыкал.

Он еле поднялся, сперва на четвереньки, потом, опираясь на руки, долго разгибал колени, с трудом выпрямился:

— Хм. Вот ведь... Бес, не девка. В ухо плюнуть да заморозить. Пармен? А где у меня Пармен?

Пармена у поленницы не было. Иван Африкано-

вич забыл привязать мерина, и он давно уже топал домой, топал один, под белой апрельской луной по тихой дороге, и завертка одиноко скрипела в ночных полях.

3. СОЮЗ ЗЕМЛИ И ВОДЫ

Под утро погода сменилась, пошел снег, поднялся ветер. Во всех подробностях и с красочными прибавками про сватовство Мишки Петрова знала вся округа: сарафанная почта сработала безотказно, даже в такую вьюгу.

Магазин открылся в десять часов, бабы ждали выпечки хлеба и со смаком обсуждали новость:

— Говорят, сперва-то ухватом, а потом ножик сгребла со стола-то да с ножиком на мужиков-то!

— Ой, ой, а старуха-то что?

— А что старуха? Она, говорят, и старуху кажин день колотит.

— Ой, бабы, полноте, чего здря говорить. Нюшка матку пальцем не трагивала. Нет, дружно у их с маткой, экую бухтину про Нюшку разнесли.

— Чего говорить, смирёнее не было девки.

— Дак лошадь-то пришла?

— Пришла одна, ни мужиков, ни накладной нету.

— Говорят, в бане в сосновской и ночевали.

— Дорвались до вина-то!

— Готовы в оба конца лить.

— Товар-то целой, однако?

— Преников-то привезли, а говорят, у двух самоваров кранты отломило, мерин-то сам забрел на конюшню, дровни-то перекувыркнулись.

— Ой, ой, ведь не рассчитаться Иван-то Африкановичу!

— А все вино, вино, девушки, не было молодца побороть винца!

— Да как не вино, знамо, вино!

— Сколь беды всякой от его, белоглазого, сколь беды!

Заходили все новые и новые покупательницы. Завернул бригадир, ничего не купил, потолкался и ушел, зашли трактористы за куревом. И весь разговор крутился опять же вокруг Мишки да Ивана Африкановича.

Ивана Африкановича видели рано утром, как бежал откуда-то, как зашел в дом и будто бы закидался по избе, потому что еще вчера, пока ездил в сельпо, жену его, Катерину, увезли в больницу родить, жены не оказалось, и будто бы он сказал теще, старухе Евстолье, что, мол, все равно он, Иван Африканович, задавится, что он без Катерины хуже всякой сироты. Теща же Евстолья, по словам баб, сказала Ивану Африкановичу, что она, хватит, намаялась, что уедет к сыну Митьке в Северодвинск, мол, нажилась вдоволь, покачала люльку по ночам, что вам бы, мол, с Катериной только обниматься и что она, Евстолья, дня больше не останется и уедет к Митьке.

Конца-краю нет бабьим пересудам... Продавщица ушла на конюшню, писать акт, наказав бабам приглядывать за прилавком, и в магазине стоял шум, бабы говорили все сразу, жалели Ивана Африкановича и ругали Мишку. В ту самую минуту и ввалился в магазин сам Мишка, со вчерашнего пьяный, без шапки.

У кого какой милой,
У меня дак Мишка,
Никогда не принесет,
Лампасею[1] лишка! —

спел он и замотал головой.— Здорово, бабы!

— Здравствуй, здравствуй, Михайло.

— Чего веселой-то?

— А-а...

— Не привез невесту-то?

— Нет, бабы, не вышло дело.

— Голова-то, поди, болит?

— Болит, бабы,— признался парень и сел на приступок.— Не ремесло это, вино эдак глушить. Нет, не ремесло...— Мишка мотал головой.

— А куда друга-то девал, свата-то? — как бы всерьез допытывались бабы.

— Ох, и не говори! Сват-от дак...— Мишка долго хохотал на приступке и от этого закашлялся.— Ой, бабы! Ведь нас, как этих... как диверсантов...

— Не приняла?

— Выставила! Ухватом этим... У меня и сейчас локоть болит, как она шуганет, мы с лесенки-то... ракетой. Как ветром нас сдунуло! Ой, бабы. Лучше не говорите...

Мишка опять зашелся в смехе и кашле, а бабы не отступались:

— Дак вдругорядь-то не стукались?

— Что ты! Нам и того сраженья — за глаза. Очнулись, что делать? Мерин домой ушел, стоим на морозе, я говорю, пойдем, Иван Африканович, баню

---

[1] Лампасей — просторечие, конфеты, от слова «монпансье».

найдем да до утра как-нибудь прокантуемся. Думал, на перине буду ночевать с Нюшкой, а все повернулось на сто градусов. Пошли, баню нашли.

— Чья баня-то? Ихняя?

— Ну! Теплая еще, и воды полторы шайки. Я говорю, давай, Иван Африканович, раз дело со сватовством не вышло, дак хоть в тещиной бане вымоемся.

— Ой, сотона! Ой, гли-ко ты, бес-то! — бабы, смеясь, завсплескивали руками.

— ...Снимай, говорю, Иван Африканович, рубаху, будем грехи смывать. А он упрямится, форс показывает, мочалки нет, того нет. Меня, говорит, в Москве в трех домах знают. Я, говорит, чаю без сахару не пивал, не буду, как дезертир, в чужой бане мыться. Да и жару, говорит, нет. А я, бабы, взял ковшик, плеснул на каменку. Оно верно, никакого от каменки толку, все равно, думаю, не я буду, ежели в тещиной бане не вымоюсь! Вот Ивану Африкановичу тоже деваться некуда, гляжу, раздевается.

— Вымылись?

— Ну! Без мыла, правда, а хорошо. Оболоклись, легли на верхнем полке — валетом. А худо ли? Свищи душа через нос. Я, бывало, в Доме колхозника ночевал, дак там меня клопы до крови оглодали, а тут бесплатная койка. Только, слышу, Иван Африканович у меня не спит. Чего, спрашиваю. А, говорит, ты эту... как ее... Верку-то заозерскую знаешь? Больно, говорит, добра девка-то. Я говорю, иди ты, Иван Африканович, знаешь куда, что я тебе, богадельня какая? Одну с бельмом нашел, другую хромую. Эта Верка и под гору с батогом ходит. Он мне говорит: ну и что? Подумаешь, говорит, хромая, зато

хозяйство и братанов много по городам. Я говорю, не надо мне этих братанов...

— Нет уж, Миша, Верка тебе тоже не невеста.

— Ну! Я и говорю Ивану Африкановичу...

В это время в магазин затащили ящики с товаром и два новых изуродованных самовара, завернутых в бумагу. Бабы переключились на товар, что да как, и Мишка, оставшись не у дел, замолчал.

— Прениками-то будешь торговать?

— Ой, бабы, кабы кренделей-то, кренделей-то хоть бы разок привезли...

Продавщица без накладной торговать новым товаром отказалась наотрез, свидетели подписали акт о сломанных самоварах и о наличии ящиков, а Мишка продолжал рассказывать:

— Будешь ты, говорю, спать сегодня аль не будешь? Слышу — захрапело. Я утром пробудился, гляжу, нет Ивана Африкановича. Один на полке лежу. Видать, будил он меня, будил да так и убежал по холодку, отступился. Я спать-то горазд с похмелья. Сел я, бабы, закурить хотел. Гляжу, штаны-то у меня не свои,— видать, мылись да штаны перепутали. Ладно, думаю, хоть эти есть, выкурнул из предбанника, вроде никого не видать, да по задам, по задворкам, думаю, хоть бы живым из деревни уйти.

— Дак ты бы поглядел: может, накладная-то в штанах у Ивана Африкановича.

Мишка начал шарить по карманам:

— Нет, это не ремесло... Газетка, кисет, спички тут. А вот еще грамотка. Ну! Точно, накладная.

Мишка начал читать накладную, а продавщица сверять товар.

— «Пряники мятные, по рупь сорок кило, само-

вары тульские, белые, тридцать три восемьдесят штука, шоколад «Отёлло», есть?

— Есть, есть!

— «Гусь озерный, лиса-патрикеевна...» Стой, это еще что за лиса? А, игрушки... «Репр... репродукция союз земли и воды», есть?

— Тут.

— Ну-ко, хоть бы поглядеть, что это за союз.— Мишка ободрал с картины обертку и щелкнул от радости языком: — Мать честная! Бабы, вы только поглядите, чего мы привезли-то! Не здря съездили. Два пятьдесят всего!

Бабы как взглянули, так и заплевались, заругались: картина изображала обнаженную женщину.

— Ой, ой, унеси лешой, чего и не нарисуют. Уж голых баб возить начали! Что дальше-то будет?

— Михайло, а ведь она на Нюшку смахивает.

— Ну! Точно!

— Возьми да над кроватью повешай, не надо и жениться.

— Да я лучше тридцать копеек добавлю...

— Ой, ой, титьки-то!

— И робетёшка вон нарисованы.

— А этот-то чего, пьет из рога-то?

— Дудит!

— Больно рамка-то добра. На стену бы для патрета.

— Я дак из-за рамки бы купила, ей-богу, купила.

Картину купили «для патрета». По просьбе хозяйки картины Мишка выдрал Рубенса из рамки, свернул его в трубочку.

А Иван Африканович так и не появился.

Принесли с пекарни выпечку хлеба, пошли в

ход и мятные пряники. Бабы заразвязывали узелки, зарасстегивали булавки. Мальчишка, посланный за Иваном Африкановичем, вскоре прибежал и сказал, что Ивана Африкановича дома нет, а куда девался, никто не знает, и что бабка Евстолья качает люльку, кропает Гришкины штаны и ругает Ивана Африкановича пьяницей и путаником. И что будто бы Гришка, дожидаясь штанов, сидит на печи и плачет.

4. ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ

За деревней ничего не было видно, только дымился белый буран.

Клубы колючего снега сшибались по-петушиному и гасили друг друга, нарождались новые клубы, крутились, блудили в своей толпе, путая небо и землю. Видно, в последний раз бесилась зима. Ветер не свистел и не плакал, он шумел ровным, до бесконечности широким шумом. Со всех сторон, и снизу и сверху, хлопали и разрывались на плети плотные ветряные полотнища.

Иван Африканович был не очень тепло одет и только приговаривал: «Ох ты, беда какая, ох и беда!» Он и сам не знал, вслух ли это говорилось или только мысленно, потому что если бы вслух, то все равно голос был не слышен. Щупая ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывками воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда ветер заливал дыхание. Тогда Иван Африканович, как утопающий, крутил головой, искал удобного положения, чтобы вдохнуть воздух, и чувствовал, как ослабевают коленки во время задержки дыхания. Он знал, что в лесу дорога лучше и ветер тише.

Шел очень медленно и с закрытыми глазами. Когда палка уходила глубоко в снег, он брал два шага влево, потом четыре вправо, если дороги левее не было.

Ветряным холодом давно выдуло остатки вчерашнего похмелья. «Ох, Катерина, Катерина... — мысленно говорил Иван Африканович. — Да что же это... Уехала, увезли. Как ты одна, без меня-то?..»

Тосковал он взаправду. После того как прибежал из сосновской бани и не застал жену дома, он, не слушая тещу, кинулся вослед Катерине. «Бес с ним, с мерином, и с товаром, разберутся. А какое ты дураково поле, Иван Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли родить, увезли чужие люди, а он, дураково поле, ночевал в бане. Некому бить, некому хлестать». Так размышлял Иван Африканович и понемногу успокаивался. Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к Катерине. Он пробежал через Сосновку и даже не вспомнил про ночное происшествие. Скорее, скорее. «Катерина. Увезли родить, девятый по счету, все мал мала меньше. Баба шесть годов ломит на ферме. Можно сказать, всю орду поит-кормит. Каждый месяц то сорок, то пятьдесят рублей, а он, Иван Африканович, что? Да ничего, с гулькин нос, десять да пятнадцать рублей. Ну, правда, рыбу ловит да за пушнину койчего перепадает. Так ведь это все ненадежно...»

Иван Африканович вспомнил, как еще холостым провожал Катерину с гулянок. «Пришел с войны — живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал развитие... Кате-

рина была толстая, мягкая. Она и сейчас еще ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... Только когда ей наряжаться-то? Восемь ребятишек, на подходе девятый. Потрешь сопель на кулак, пока вырастут. Теща, конечно, выручает, качает люльку, около печи гоношится, без тещи бы тоже хана. Теща Евстолья тоже старуха ничего. Хоть и собирается кажин день к Митьке в Северодвинск, а ничего. Пятый год говорит, что уедет к Митьке...»

Иван Африканович не мог забыть ей только одну обиду. Не то что не мог, просто, будто заноза в пальце, сказывается тот случай, особенно когда выпьешь. Правда, теща-то, пожалуй, и не виновата, виновата больше мать-покойница, да обе были добры, чего говорить.

Дело приключилось в пивной праздник, успеньев день. Иван Африканович, а по-тогдашнему Ванька Дрынов, гостил у Нюшкиной матери,— Степановна как-никак по отцу двоюродная тетка. Нюшка была самолучшей подружкой Катерины. Вместе плясали и провожались, вместе рвали черемуху. И вот теперь у Катерины на подходе девятый, а Нюшке около сорока — и все еще в девках. «Завяла троюродная, — видать, не выхаживать, — думал Иван Африканович.— А все из-за того, что изъян, глаз один совсем белый, уже в войну молотила рожь и уткнула на гумне соломиной».

В то успенье Иван Африканович пришел в Сосновку с твердым решением увести Катерину замуж самоходкой. Нюшка пособляла ему, как могла. Катерина через нее передала жениху, что пойдет в любую ночь, на матку не поглядит и разговоров не побоится. Дом у Евстольи с Катериной стоял как

раз напротив Нюшкина, это теперь-то поредела Сосновка и дома этого давно нет, а тогда стоял большой дом — любо-дорого. Иван Африканович сидел в гостях, пил терпкое сусло и поглядывал на Евстольин дом, и на душе было молодо и тревожно. Золотым колечком укатилась молодость — куда все девалось? Играло сразу три гармоньи, пели в темноте веселые девки. Ребята заводили на улице драки, и девки и бабы растаскивали их, и они вырывались из женских рук, но вырывались ровно настолько, чтобы не вырваться и взаправду...

Иван Африканович с Нюшкой вышел тогда на улицу. Новые хромовые сапоги и сержантские галифе сидели на нем ладно и туго, звякали на пиджаке и тянули за полу ордена. Нюшка, гордая за троюродного брата, шла с ним под ручку. В августовской темноте и веселой сутолоке они долго искали Катерину и не нашли бы, если б она не пошла плясать и не запела: голос этот у Ивана Африкановича звенит и сейчас в ушах. Иван Африканович сплясал раза два, походил с девками по деревне, а под утро увел их из Сосновки. Нюшка пошла с ними для веселья. Он помнит, как она, словно бы в шутку, спела частушку, выходя в темное, но еще теплое поле, пахнущее ржаной соломой и сухой земляной пылью:

Не ходи, подруга, замуж,
Как моя головушка,
Лучше деверя четыре,
Чем одна золовушка.

Но ни братьев, ни сестер не было у Ивана Африкановича, Катерине нечего было бояться золовок и деверьев. Получилось другое: тогда еще живая мать

прочила Ивану Африкановичу не ту невесту, Катерина была ей нелюба. Пришли в деревню уже под утро, мать, сердитая, отворила ворота. В избе девки сели на лавку, а Иван Африканович уже разувался, для него, фронтовика, все было ясно и четко. Мать то заслонкой забрякает, то выбежит в сени, стонет и охает. Вышла па поветь, там воротца как раз на сосновскую сторону, на невестину деревню. Прибежала в избу, всплеснула руками: «Ой, девки-матушки, Сосновка горит!» Нюшка и Катерина кинулись из избы опрометью, ворота за ними сами захлопнулись на защелку. Пока Иван Африканович надевал сапог, мать закрыла ворота еще и на крюк. «Неправда, Ванька, не бегай, ушли, дак и слава богу»,— спокойно сказала она.

Он чуть не вышиб воротницу, долго путался с защелкой. Выскочил на улицу: в августовской ночи громоздилась темень, не горела никакая Сосновка, и девок уже не было...

После этого Иван Африканович не мог жениться два года, а на третий женился. На молчаливой девке из дальних заозерных мест. Она засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленная печь... У них была холодная любовь: дети не рождались. Мать говорила, что их испортили, подшутили, и через год жена сама ушла в свои заозерные места, вышла замуж и, как слышал Иван Африканович, с другим народила четверых ребятишек.

«Да, у них с ней была холодная любовь, это уж точно. Вот с Катериной — любовь горячая...»

Иван Африканович посватался к ней вновь, тут-то и заупрямилась Евстолья, теща нынешняя. Поставила дочке запрет: не пойдешь — и все, нечего, мол,

им измываться, мы не хуже их, в нашем роду все были работники. Дело затянулось. На свадьбе теща не пила, не ела, сидела на лавке, будто аршин проглочен, и вот Иван Африканович все еще помнит эту обиду. Да нет, какая уж там обида, столько годов прошло. С Катериной у него горячая любовь: уйдет она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет.

«Ох, Катерина, Катерина... — Иван Африканович почти бежал, волнение опять нарастало где-то в самом нутре, около сердца. — Увезу, голубушку, домой, унесу на руках. Нечего ей там и маяться. Дома родит не хуже... Солому на ферме буду трясти, воду носить... Выпивку решу, в рот не возьму вина, только бы все ладно, только бы...»

Вьюга в поле запела вновь, ветер сек снегом горячие щеки. Иван Африканович выбежал на угор, до больницы и конторы сельпо было подать рукой.

Он не помнил, как добежал до больничного крылечка...

* * *

— Иван Африканович? А Иван Африканович? — Фельдшерица приоткрыла двери в коридорчик, заглянула за печку. Ивана Африкановича нигде не было. — Товарищ Дрынов!

«Куда он девался? —подумала она. — Два дня в прихожей крутился, домой не могли прогнать. А тут как провалился».

Она решила, что Дрынов ушел, так и не дождавшись жениных родов. На всякий случай открыла кладовку, куда уборщица складывала дрова, и рассмеялась. Иван Африканович спал на поленьях. Он постеснялся даже подложить под голову старый больничный тулуп. Иван Африканович не спал уже

две ночи и ничего почти не ел, а на третий день его сморило, и он уснул на поленьях.

— Товарищ Дрынов, — фельдшерица тронула его за рукав,— у вас ночью сын родился, вставайте.

Иван Африканович вскочил в ту же секунду. Он даже не успел постесняться, что залез в кладовку и уснул, фельдшерица стояла и ругала его:

— Вы бы хоть тулуп-то подстелили!

— Милая, да я... я тебе рыбы наловлю. Голубушка, я... я... Все ладно-то хоть?

— Все, все.

— Я рыбы тебе наловлю.

— Хм...

— Отпустила бы ты их домой-то?

— Нельзя. Денька два пусть полежит. — Фельдшерица подала ему халат. — Сына-то как назовете?

— Да хоть как! Отпусти ты их. Как скажешь, так и назову, отпусти, милая! Я их на чуночках, на санках то есть... Мы... это, доберемся потихоньку.

Из палаты вышла Катерина и только слегка взглянула на Ивана Африкановича. Тоже начала упрашивать, чтобы отпустили:

— Чего мне тут делать? А ты дак сиди! — обернулась она к мужу. — Непошто и пришел. Дом оставил, ребята одне со старухой.

— Катерина, ты это... все ладно-то?

— Когда с дому-то пришел, семодни? — не отвечая, сурово спросила Катерина.

— Ну! — Иван Африканович мигнул фельдшерице, чтобы не выдала, не проговорилась...

— А непошто и пришел.

— Да ведь как, это самое... Где парень-то? Опять, наверно, весь в вашу породу.

Катерина, словно стыдясь своей же улыбки, застенчиво сказала:

— Опять.

Фельдшерица глядела, глядела и пошла, а Иван Африканович за ней, жена тоже, и оба опять начали уговаривать, чтобы отпустила. Фельдшерица сначала не хотела и слушать, потом отмахнулась:

— Ладно уж, идите. Только на работу неделю — полторы не ходить. Ни в коем случае.

...Вскоре Иван Африканович вышел с женой и с ребенком на улицу. Младенца, завернутого в одеяло и в тот же больничный тулуп, он положил на санки, взятые у знакомой тетки.

Дорогу после недавней пурги успели уже накатать. Погода потеплела, ветра не было, по-вешнему припекало солнце.

— Как парня-то назовем? — спросил Иван Африканович, когда подошли к сельсовету. — Может, Иваном? Хоть и не в мою породу, а я бы Иваном.

— Давай и Иваном,— вздохнула Катерина.

— Давай. Дело привычное.

— Поди в сельсовет, да парня запиши, да пособие попроси, и без меня выдадут, а я пойду. В Сосновке тебя подожду, у Нюшки чаю попьем. Да деньги-ти не пропей.

— Ну! Ты что? Я вас догоню, не торопись, помаленьку иди-то!

Иван Африканович осторожно поправил тулуп с ребенком и торопливо пошел в сельсовет.

Катерина на санках повезла сына домой. Она зашла в Сосновке к Нюшке, Степановна согрела самовар, они долго говорили обо всех делах, а Ивана Африкановича не было. Он прибежал расстроенный,

когда Катерина уже выходила с ребенком на крыльцо. Степановна с Нюшкой вышли тоже на улицу.

— Здорово, Степановна, здорово, Анюта.

— Зашли бы, да и ночевали, — сказала Степановна, пока Нюшка и Катерина укладывали тулуп с ребенком.

— Нет уж, какой ночлег... Пятьдесят четыре рубля... с копейками... высчитали из пособия.

— Может, самовары-ти взять да починить? — спросила Степановна. — Ей-богу, возьми самовары-ти! Саша Пятак в кузнице кранты-ти припаяет. Нам вон тоже надо бы самовар-то, а другой себе возьмешь.

— А и верно! Возьму да и починю. Ты как, Катерина?

— Ой, тебя лешой, — Катерина покачала головой, — это пошто было лошадь-то одну опускать? Иван Африканович сник, замолчал, Степановна с Нюшкой постояли у ворот и ушли, а они двинулись по дороге.

Припекало взаправду, первый раз по-весеннему голубело небо, и золоченные солнышком сосны тихо грелись на горушке, над родничком. В этом месте, недалеко от Сосновки, Катерина, да и сам Иван Африканович всегда приворачивали, пили родничковую воду даже зимой. Отдыхали и просто останавливались посидеть с минуту.

Новорожденный спокойно и глубоко спал в своих санках. Сосны, прохваченные насквозь солнцем, спали тоже, спали глубоко и отрадно, невыносимо ярко белели везде снежные поля.

Катерина и Иван Африканович, не сговариваясь, остановились у родника, присели на санки. Помолчали. Вдруг Катерина улыбчиво обернулась на мужа:

— Ты, Иванушко, чего? Расстроился, вижу, наплюнь, ладно. Эк, подумаешь, самовары, и не думай ничего.

— Да ведь как, девка, пятьдесят рублей, шутка ли...

Родничок был не велик и не боек, он пробивался из нутра сосновой горушки совсем не нахально. Летом он весь обрастал травой, песчаный, тихо струил воду на большую дорогу. Зимой здесь ветром сметало в сторону снег, лишь слегка прикрывало, будто для тепла, и он не замерзал. Вода была так прозрачна, что казалось, что ее нет вовсе, этой воды.

Иван Африканович хотел закурить и вместе с кисетом вытащил из кармана бумажку, что вручили ему в сельсовете. Написана она была карандашом под копирку.

«АКТ.

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт. В том, что с одной стороны контора сельпо в лице продавца с другой возчик Дрынов Иван Африканович, при трех свидетелях. Акт составлен на предмет показанья и для выясненья товара. Сего числа текущего года возчик Дрынов Иван Африканович вез товар со склада сельпо и лошадь пришла без него, а где был вышеозначенный т. Дрынов И. Аф. это не известно, а по накладной весь товар оказался вналичности. Только лошадь с товаром по причине ночного время зашла в конюшню и дровни перевернула, а т. Дрынов спал в сосновской бане и два самовара из дровней упали вниз. Данные самовары на сумму 54 рб. 84 коп. получили дефект, а именно. Отломились ихние краны и на одном силь-

но измятый бок. Другой самовар повреждений кроме крана не получил. Весь остальной товар принят по накладной в сохранности, только т. Дрынов на сдачу не явился, в чем и составлен настоящий акт».



ГЛАВА ВТОРАЯ

1. ДЕТКИ

Ему было хорошо, этому шестинедельному человеку. Да, он жил на свете всего еще только шесть недель. Конечно, если не считать те девять месяцев. Ему не было дела ни до чего. Девять месяцев и шесть недель тому назад его не существовало.

Шесть недель прошло с той минуты, как оборвалась пуповина и материнская кровь перестала питать его маленькое тельце. А теперь у него было свое сердечко, все свое. При рождении он криком провозгласил сам себя. Уже тогда он ощущал твердое и мягкое, потом теплое и холодное, светлое и темное. Вскоре он стал различать цвета. Звуки по-

немногу тоже начали приобретать для него свои различия. Но самое сильное ощущение было ощущение голода. Оно не прекращалось даже тогда, когда он, насытившись материнским молоком, улыбался белому свету. Даже во сне потребность в насыщении не исчезала.

И вот он лежал в люльке, и ему было хорошо, хотя он сознавал это только одним телом. Не было и тени отвлеченного, нефизического сознания этого «хорошо». Ноги почему-то сами двигались, туда-сюда, пальчики на руках, тоже сами, то сжимались в кулачок, то растопыривались. У него еще не было разницы между сном и несном. Во сне он жил так же, как и до этого. И переход от сна к несну для него не существовал.

Люлька слегка покачивалась. Если б он был чуть побольше, то он услышал бы, что бабкины руки пахнут дымом. Он бы увидел громадный потрескавшийся потолок и рев старшего, полуторагодовалого Володи вывел бы его из созерцательно-счастливого равнодушия.

— Бес ты, Володька, чистый бес,— ласково говорила бабка Евстолья.— И не стыдно тебе?

Володька ревел у нее на руках.

У него, у этого полуторагодовалого Володи, шла борьба с младшим шестинедельным братом. Борьба за люльку. Он, Володя, еще качался в колыбели, когда место в ней занял младший, только что родившийся его брат.

Володя уже ходил на своих ногах, говорил много слов, бабку называл мамой и отца папой — и все еще качался в люльке. Когда его выселили в первый раз, он сначала как бы снисходительно усту-

пил люльку. Но уже через минуту изумился этой явной несправедливости, заревел благим матом и залягался.

Ему и сейчас хотелось в люльку. Еще ему хотелось, чтобы рядом была мать, и эта тоска, боль оттого, что матери нет рядом, сама собой выливалась в жажду завладеть люлькой.

Бабка подоткнула одеяло, передвинула маленького в один конец, а в другой уложила Володьку.

Люлька была большая. Володька сразу успокоился, а маленькому было все равно, с кем лежать. Володька потянулся за соской. Ему давно было положено отстать от соски, но он все еще не мог отвыкнуть от нее. Бабка мазала соску горчицей, говорила, что соску утащила собака, но все было напрасно: Володька не расставался с резиновой пустышкой.

Володька лежал в люльке довольный и успокоившийся. Новое существо шевелилось где-то в ногах, но он уже привыкал к этому беспокойству. Но Володьке хотелось, чтобы люлька качалась, чтобы очеп скрипел как обычно. Он задумался, глядя на солнечный зайчик, отраженный на стене стеклом комода.

Он уже знал все звуки родимой избы. Особенно звук двери. У него замирало сердце от тоски, когда бабка с ведром или подойником выходила из избы и исчезала. Тогда ему становилось невыносимо тоскливо. Слезы готовы были брызнуть, и губы сами складывались горькой подковкой.

Долгие, жуткие, длились секунды. Он уже не мог сдерживать слезного крика. Из сжатого горлышка вот-вот бы вырвался этот крик, но вдруг дверь открывалась и бабка Евстолья, живая, на-

стоящая, появлялась в избе и, не глядя на ребят, торопилась к печи. Радость и облегчение разом гасили Володькино одиночество, накопившийся крик и слезы проглатывались. Так повторялось много раз, пока бабка не кончала обряжаться. Он не мог привыкнуть к этому. Тоска по всегда отсутствующей матери точила его сердечко, а когда уходила бабка, ему было и вовсе невмоготу. Даже не помогало укачивание колыбели.

Маруся, старшая сестренка двух лежащих в колыбели братьев, подошла к люльке, загремела им погремушкой. Ей было четыре года, каждый сучок в люльке она знала лучше Володьки, и ей иногда тоже очень хотелось в люльку...

— Покачай ты их, Маруся,— сказала бабка,— покачай, хорошая девушка. Вот, вот, за веревочку-то. Умница! Вот оне вырастут, тебя на машине покатают.

Маруся тихонько качнула люльку. За окошком белел снег и светилось солнышко. Мама ушла по этому снегу. Маруся еще спала, а мама ушла. И папы нет. Маруся все время молчала, и никто не знал, что она думает. Она родилась как раз в то время, когда нынешняя корова Рогуля была еще телочкой и молока не было, и от этого Маруся росла тихо и все чего-то думала, думала, но никто не знал, что она думала.

Бабка Евстолья поставила самовар:

— Вот мама сейчас придет, чай станем пить. Гришку с Васькой разбудим, да и Катюшке с Мишкой, наверно, уж напостыло спать.

Упоминание о матери отразилось на Марусином личике долгой изумленно-тревожной улыбкой. Она

словно бы вспомнила, что у нее есть мама, и вся засветилась от радости, восхищенно выдохнула:

— Мамушка?

— Мамушка и придет,— подтвердила бабка Евстолья.— Вот как коровушек подоит, так и придет.

Девочка снова задумчиво и отрешенно поглядела на улицу.

Мишка с Васькой — близнецы, обоим по шесть годов,— пробудились оба сразу и устроили возню. Потом долго надевали тоже одинаковые свои штаны: каждый раз который-нибудь надевал штаны задом наперед да так и ходил весь день. Четыре валенка у них были не парные, перемешанные: ребята долго и шумно выбирали их из кучи других валенок, сушившихся на печи. Наконец валенки были извлечены и обуты. На сарае, куда отправились выспавшиеся братики, было холодно и пахло промерзшим сеном. Дрожа от стужи, ребята поднатужились, каждый хотел брызнуть дальше другого.

— Я вот вам покажу, я вот вам уши-ти надеру! — услышали они голос бабки Евстольи.— Ишь, всю стену облили, прохвосты, намерзло, как на мельнице!

Бабка выходила с ведром к корове, Мишка с Васькой побежали в избу. Утренний необъяснимый восторг насквозь пронизывал их обоих и замирал где-то у самых копчиков. Им хотелось то ли завизжать, то ли полететь, однако холод заставил быстро убраться в избу. Интересно, встала или еще спит Катюшка? Она каждый раз велит им умываться, такая начальница. Спит. Они, не сговариваясь, молча, легко убедили сами себя в том, что забыли умыться.

Хотелось есть. Из-за перегородки пахло жареной картошкой, шумел у шестка самовар. Васька дотронулся пальцем до самовара, и Мишка дотронулся, Мишка подул на палец, и Васька подул.

Чего это опять Володька ревет? Он и Катюшку с Гришкой разбудил, ревет.

Глядя на Володьку, замигала глазенками и Маруся. Мишка и Васька подошли к люльке. Володька ревет. А этот, новый-то, не ревет. Ваське и Мишке торчать у люльки не было никакого интереса; не дожидаясь еды, надели шапки, пальтишки сняли с гвоздиков — и на улицу...

Катюшка вскочила с постели и сразу взяла Володьку на руки, Володька успокоился. Гришка, ленивый соня, вставать не хотел. Катюшка еще вчера уроки выучила, а Гришка отложил на сегодня, и вот он лежал, не мог преодолеть лень, и у него болела душа из-за невыученных уроков. Конечно, письменное-то делать все равно придется, и упражнение писать, и примеры решать. А вот устное... Хорошо Ваське с Мишкой, они в школу не ходят. Все-таки Гришке пришлось вставать, он ходил уже в третий. А Катюшка училась в четвертом, она все видела — как Гришка жил и что он делал, видела, и Гришке не было от нее покоя. Вот и сейчас успокоила Володьку — и на него, как учительница, бери то, делай это, усадила за стол и велит примеры решать, а когда решать-то? Вон бабка уже и самовар несет, на стол ставит.

...Так началось утро в семье Ивана Африкановича. Обычное апрельское утро. Постепенно все были накормлены, все одеты. Катюшка с Гришкой ушли в школу, Васька с Мишкой убежали опять гулять

по деревне, Марусю в больших не по росту валенках тоже увели гулять в другую избу. Дома остались лишь Володька с маленьким. Они спали в люльке, и очеп легонько поскрипывал, и бабка Евстолья сбивала мутовкой сметану в горшке. В избе тикали часы, скреблась под половицей мышка. Но не успела бабка Евстолья опомниться от утренней канители, как в дом опять заявились сперва Маруся, потом и Мишка с Васькой. И еще человек шесть сотоварищей.

Успели уже и перемерзнуть, снегу натащили, не много и погуляли.

— Ой, беда, однако! — Евстолья по очереди вытирала им холодные мокрые носы.— Хоть бы один умер, дак ведь нет, не умрет ни которой. Где погостили-то? Как пошехонцы, как пошехонцы. Вот пошехонцы-ти раньше тоже были растрепы. Кушать кушали, а жить-то не умели.

— Баба, сказку, баба, сказку! — Васька запрыгал на одной ноге, задергал бабкин подол.

— Дак вам какую севодни, пошехонскую аль про кота с петухом?

Все дружно остановились на пошехонской.

2. БАБКИНЫ СКАЗКИ

— Давно было дело — еще баба девкой была,— не торопясь, тихонько начала бабка Евстолья.— Васька, не вертись! А ты, Мишка, опять пуговицу отмолол. Ужо я тебе. В большой-то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово — пошехонцы, и все-то у тех мужиков неладно шло. А деревня-то завелась большая, а печи-то бабы то-

пили всё в разное времечко. Одна утром затопит, другая днем, а иная и темной ночкой. Запалит, посидит у окошка, да и давай блины творить. Пока блины-то ходят, печка протопится, баба вдругорядь растоплять. Пока вдругорядь растопит, блины-то возьмут да и закиснут. Так и маялись, сердешные.

Бабка Евстолья рассказывала все это еще походя. Но вот наконец она обтерла стол, взяла в кухне рыльник со сметаной и села на лавку. Кое-кто из ребятишек уже забыл было закрыть рот, а теперь завозился. Но стоило ей начать рассказывать, и все тут же угомонились.

— Робетешечка без штанов бегали, девки да робята плясать не умели. А старики да старухи любили табак нюхать. До того любили, что всё пронюхали, до последней копеечки. Да они и молоденьких научили. А табак-то надо возить издалека, за много верст. Срядили, благословясь, обоз. А как срядили? Все дело выручил умный Павел. Надо, говорит, нам всем вместе ехать. Потому как всем вместе лучше. Сказал, да и велел всем мужикам к завтрему готовыми быть, чтобы лошади были накормлены, чтобы завертки новые были. А вожжи связаны, которые лопнули. Вот легли пошехонцы спать. Небо-то к ночи выяснило, избы мороз выстудил все. Пошехонцы на полати забилися. Утром Павел идет с обходом: «Запрягай, робятушки!» Самый хозяйственный да толковый был этот Павел. Зашевелились пошехонцы, започесывались. В одной избе брат говорит другому брату: «Рано еще вставать, вон и на улице тёмно». Другой брат говорит: «Нет, надо вставать, вон и Павел велит вставать». Что делать? Порешили к суседским братьям сходить, узнать: время вста-

вать аль не время еще. Разбудили суседских, стало их четверо. Суседские братцы и говорят: «Пожалуй, робята, рано еще вставать-то, вон и на улице тёмно». Встали все посередь улицы да и спорят. Одне говорят: надо вставать, другие — что вставать рано. А вот один говорит: «Вот мы давайте еще вон в этом дому спросим». Разбудили еще один дом, стало их шестеро, и опять не могут прийти к согласью: кто говорит — рано, кто кричит: надо вставать. Сгрудились все в одном краю, весь край и разбудили, шум подняли, крику этого хоть отбавляй. И не знают, чего делать. А умный Павел в том конце мужиков будит: «Запрягай, робятушки, надо за табаком ехать!» Ну, делать нечего, в том краю почали мужики вставать. Один мужик, Мартыном звали, и говорит: «Матка, матка, а где портки-то?» Забыл, куда портки оклал. Нашли ему портки, одевать надо. Мартын и говорит брату, все братья жили вместе, никогда не делились пошехонцы. Мартын и говорит: «Ты, Петруха, держи портки-то, а я буду с полатей в них прыгать». Взял Петруха портки, держит внизу, а Мартын прыгнул да попал только одной ногой. Полез опять на полати, вдругорядь прыгнул. Долго ли коротко ли, а попали в портки обе ноги. А в том конце все еще крик стоит, как на ярмарке. Разделились у мужиков мненья-то, одне говорят, вставать надо, другие кричат, что рано. Пока спорили, звездочки все до единой потухли, хорошо, что хоть драки не было. Павел запряг первый свою кобылу, на дорогу выехал, срядились и другие по-за нему. Стал запрягать Лукьян с Федулой. Федула говорит Лукьяну: «Ты, брат Лукьян, держи крепче хомут-то, а я кобылу буду в его пехать». Держит Лукьян

хомут, а Федула кобылу в хомут вот пехает, вот пехает. Весь Федула вспотел, а кобыла все мимо да мимо. Напостыло кобыле, взяла да как лягнет Федулу, все зубья в роте Федуле вышибла.

Евстолья остановилась, потому что ребятишки недружно засмеялись. Только Маруся, едва улыбнувшись, тихо сидела на лавке. Бабка погладила ее по темени, продолжала:

— Поехали. А выехали-то уж поздно, прособиралися долго. Едут оне, кругом чистое поле, а велик ли и день зимой? Проехали один волок, вздумали ночевать пошехонцы. Ночевать в этой деревне пускали. А дело в святки было, здешние робята по ночам баловали. У кого поленницу раскатят, у кого трубу шапкой заткнут, а то и ворота водой приморозят. Углядели они пошехонский обоз. Лошадей-то распрягли, а все оглобли через изгороди и просунули да опять запрягли. Утром пошехонцы поехали дальше, а возы-то ни туды ни сюды, никак с места не могут сдвинуться. Огороды да калитки трещат, хозяева выскочили. Почали молотить пошехонцев: разве это дело? Все прясла переломаны, все калитки пошехонцы на оглоблях уволокли. Еле живыми пошехонцы выехали из деревни, даже толковому Павлу тюма по голове досталася. Ну, кое-как да кое-как проехали еще день, начало темнять вдругорядь, попросились опять ночевать. Мартын и говорит Павлу: «Теперече надо нам лошадей распрягчи, чтобы такого побоища, как вчера, не было». Напоили лошадок, сенца дали, сами попили кипяточку, да и легли спать. А местные мужики шли вечером с беседы, да и перевернули дровни-то оглоблями в обратную сторону. Утром Павел поднял обоз еще за-

темно. Как стояли дровни-то оглоблями не в ту сторону, так пошехонцы их и запрягли, да так и поехали со Христом. Едут день, ночь, одну деревню проехали, волок минули, довольные,— скоро и к месту приедут, табаку купят да обратно к бабам на теплые печки. Дорога была хорошая. Подъехали пошехонцы к большой деревне. Мартын и говорит: «Лукьян, а Лукьян, баня-то на твою похожа, тоже нет крыши-то».— «Нет, Мартын,— Лукьян говорит,— моя баня воротами вправо, а у этой ворота влево глядят. Непохожа эта баня на мою».— «А вон вроде Павлова баба за водой пошла,— Федула шумит,— и сарафан точь-в-точь!» — «Не ври!» — «А вон и крыша похожа! Ей-богу».— «Робята,— говорит Павел,— а вить деревня-то наша! Ей-богу, наша, только перевернулася! Дак ведь, кажись, и я-то Павел?» Это Павел-то эк говорит да за уши себя и щупает. Павел он али не Павел. Забыл, вишь, что он это и есть. Как из дому выехал, так и забыл. Вот какой был Павел толковой, а уж чего про тех говорить. И говорить про тех нечего.

Бабка Евстолья энергично взбивала мутовкой густую сметану. Ребята, раскрыв глазенки, слушали про мужиков-пошехонцев. Они еще не всё понимали, но бабку слушали с интересом.

— Вот и ты, Васька, как тот пошехонец, вишь, опять штаны-ти не так одел. Сказывать дальше-то?

— Сказывать, сказывать! — зашевелились, заулыбались, запеременивались местами. Бабка добавила в горшок сметаны, очеп опять монотонно заскрипел в избе.

— Ничего у них не росло. Ржи не сеяли, одну только репу. А крапиву, чтобы у домов не росла,

поливали постным маслом — кто их так научил, бог знает. Кто что скажет, то и делали, совсем были безответные эти пошехонцы. Никому-то слова поперек не скажут, из себя выходили редко, да и то только когда пьяные. Один раз наварили овсяного киселя. Хороший вышел кисель, густой, вот его хлебать время пришло. Раньше кисель овсяной с молоком хлебали. Мужиков шесть, а то и семь было в семье-то, уселись за стол кисель с молоком хлебать. Кисель на стол поставили, а молоко как стояло на окне, так там его и оставили. Первый хлебнул, побежал к молоку, молока прихлебнул. Так все семеро и бегают от стола да к окошку, молоко прихлебывать. Через скамейку с ложками-то перелезают. Облились-то! Ой господи!

Евстолья и сама засмеялась.

— Вот дожили пошехонцы до тюки. Ничего нет, ни хлеба, ни табаку. Да и народу-то мало стало, кое примерли, кое медведки в лесу задрали. Видят, совсем дело-то худо. «Робята, ведь умрем»,— говорят. «Умрем, ей-богу, умрем, ежели так и дальше дело пойдет» — это другие на ответ. Первый раз все мненья в одну точку сошлись. Стали думать, чего дальше делать, как жить. Одне говорят: «Надо нам начальство хорошее, непьющее. Без хорошего начальства погибнем». Другие говорят: «Надо, мужики, нам репу-то не садить, а садить брюкву. Брюква, она, матушка, нас выручит, она!» Тут Павел говорит: «Нет, мужики, все не дело это, а надо нам по свету идти, свою долю искать. Есть где-то она, наша доля-то». Сказал, да и сел. «Должна быть!» — это Мартын говорит, а Федула, тот уснул на собранье. Судили-рядили, постановили пошехонцы идти по бе-

лому свету свою пошехонскую долю искать. Сухариков насушили, котомочки справили. А уж и всех к тому времю нешто осталось. Пошли, сердешные, богу не помолились, уж все одно худо. Шли, шли, поись прибажилось. Толокна было на всех мешок кулевой, а посудишки-то нет, как толокна развести? «Давай, робята, сыпь в озеро да размешивай». Высыпали толокно в озеро, да и ну размешивать. «Ну, теперь хлебай». А чего хлебать-то? Хлебать-то и нечего, одна пустая водица. Видно, говорят, надо было больше толокна-то из дому прихватить. Нечего делать, пошли дальше голодные. Шли, шли, надо и про ночлег подумать. Летом кажин кустик ночевать пустит, пристроились пошехонцы на устороньице у леска, котомочки развязали. Пришло время спать ложиться. Вот оне и улеглись все рядышком, один к одному, человек двадцать к тому сроку в живых осталося. Улеглись. А те, которые с краю-то, все времечко соскочат да и бегут в середку. Никто с краю не хочет,— видать, волков боятся. Так и перебегают; только бы уснуть,— гляди, опять крайние в середку лезут, а новые крайние уже засыпать начали, вставай да в середку бежи. Странник прохожий с ихней артелью ночевал, вот он и говорит: «Давайте-ко, робятушки, я вас научу, как из положенья выйти, как ночевать, чтобы всем в середке».— «Научи, говорят, мы тебе по алтыну дадим».— «А вот, говорит, что, робятушки, идите-ко со мной». Подошел странник ближе к лесу, большой муравейник нашел. «Ложитесь, говорит, все головами на эту кучу, никово и не будет крайних-то». Довольны мужики, собрали страннику по алтыну, улеглись головами в муравейник. Не стало с краю ни одного,

а странник поглядел на их, да и лег под сосенкой. Чего дальше было, как пошехонцы ночь ночевали, уж и не знаю, дело давно случилось. Видно, дальше пошли на другой день все искусанные. Идут, идут долю искать, дошли до широкой реки. «Робята, река»,— Мартын говорит. «Река»,— это Лукьян ему на ответ. Весь на этом и разговор кончился. Опять странник выручил: «Давайте, говорит, по гривеннику, научу, как на тот берег попасть». Делать нечего, дали пошехонцы по гривеннику. «Вот берите, говорит, бревно. Да садитесь все на его верхом. А чтобы не утонуть-то, дак вы ноги внизу покрепче свяжите. Есть веревочки-то?» — «Есть, есть!» Рады пошехонцы. Уселись на бревно, ноги внизу связали. Поехали. Только отшатнулись от берега-то, все и перевернулись туточка, да и пошли от их пузыри. Больше половины захлебнулося, вылезли, которые остались-то, да и говорят: надо нам этого странника наколотить, это он нас не делу научил. Поглядели, а странника и следок простыл. Ему что, с гривенниками-то. Пошли пошехонцы дальше, совсем их мало осталось, и всего человек шесть. Павел да Мартын, да Лукьян с Федулой, да Гаврило с Осипом — вот и вся пошехонская артель. «Робята,— это Осип говорит,— а ежели война? Кто на фрон пойдет, ежели нас шесть осталось?» — «Наше дело маленькое,— Федула говорит,— да и войны-то еще, может, не будет». Поговорили да опять пошли, опять солнышко к земле пригнелось, опять комарочки запели-запокусывали. Надо ночлег смекать. Еле добрались до подворья-то, устали, родименькие. Стоит постоялый двор у трех дорог, калачами с вином хозяин торгует, сапоги новые, рожа, как самовар, красная. «Это

вы, говорит, и есть эти пошехонцы-то?» — «Мы, батюшко, мы и есть, долю ищем».— «Ну, ну,— говорит.— Вон ложитесь-ко в дровяник, в чистые залы вас не пущу». Улеглись пошехонцы в дровянике, до того добро, на щепочках, захрапели в охотку. Утром вставать надо. Стали вставать, Федула говорит: «У меня ноги не эти, мои ноги вон те».— «Нет, эти мои,— Мартын шумит,— а твои вон те, у меня ноги в новых чеботах были». Лукьян пробудился, заспорил тоже, Осип с Гаврилой шумят, спорят, где чьи ноги, не могут установить. Вышел хозяин: что за шум? Почему брань с утра? Зашумели пошехонцы, друг на дружку начали жаловаться. «Платите по гривне, разберу, где чьи ноги». Это хозяин-то им. Кушаки развязали, заплатили по гривеннику, сидя кошельки распечатали, последний гривенник каждый отдал. Хозяин взял оглоблю да как поведет оглоблей-то, не по головам сперва. Второй раз размахнулся, по головам хотел, спрыгнули пошехонцы со щепочек, как ветром сдуло, все ноги сразу нашлись.

Как раз на этом месте скрипнули ворота, и в избу вошла Степановна, Нюшкина мать и двоюродная тетка Ивана Африкановича. Она мельком перекрестилась.

— Здравствуй, Евстольюшка.

— Ой, ой, Степановна, проходи, девка, проходи.

Старухи поцеловались. Гостья развязала шаль, сняла фуфайку.

Евстолья радостно завыставляла пироги, начала ставить самовар, сопровождая все это непрекращающейся речью. Говорила и гостья, они говорили одновременно, словно бы не слушая, но прекрасно понимая друг дружку.

— Вот каково добро, что ты хоть пришла-то, а у меня сегодня уголь из печи выскочил, экой большой уголь, да и кот весь день умывался, да и сорока-то у ворот стрекотала, ну, думаю, к верным гостям, сразику три приметы.

Степановна слушала и тоже успевала говорить:

— А я, матушка, уж давно к вам собиралась-то, а тут, думаю, дай-ко схожу попроведаю.

— Дак какова здоровьем-то?

— И не говори, Евстольюшка, две неделюшки вылежала, и печь не могла топить, вот как руки тосковали. Нюшка-то говорит — ехала бы в больницу в районную-то, а я говорю — полно, девка, чего ехать, никакие порошки не помогут, ежели годы вышли. Вот на печь-то лягу, да на кирпичи, на самые-то жаркие, руки-то окладу, вроде и полегче станет. Худая стала, худая, Евстольюшка.

— Чего говорить. Вон у нас Катерина тоже все времечко жалуется, все времечко. Парня-то когда принесла, дак велено было на работу-то пока не ходить, а она на другой день и побежала к коровам, позавчера хоть бы родила, а сегодня и побежала.

— Ой, ой, хоть бы нидильку, нидильку...

— Вся-то изломалась, вся,— Евстолья заутирала глаза, — нету у её живого места, каждое место болит, я и говорю: плюнь ты, девка, на этих коров-то, а какое плюнь, ежели орава экая, поить-кормить надо. Гли-ко, Степановна, какая опять беда-то, ведь пятьдесят рублей с лишним заплатили, пятьдесят с лишним, ведь из-за этого она и побежала на ферму-то сразу после родов, уж и Иван-то ей говорил: не ходи, поотдохни, — нет, побежала...

— Дак самовары-ти взял?

— Как не взял, взял. И краны Пятак припаял, дак ведь куда нам с самоварами-то? Три самовара теперече, я уж хохочу, давай, говорю, открывай чайную в деревне, станови каммерцию.

Евстолья открыла дверку шкапа: в двух отделениях стояли два запаянные Пятаком самовара.

— Добры самовары-ти, — сказала гостья. — А я бы, Евстольюшка, один дак взяла бы, ей-богу.

— Со Христом бери.

— Все и сбиралась к вам-то, думаю, и попроведаю и самовар унесу.

— Бери, матушка, бери, и разговаривать нечего.

Старухи уселись чаевничать. Ребенок проснулся в люльке, Евстолья взяла его на руки вместе с одеяльцем.

— Ванюшко, ты мой Ванюшко, выспался у меня, Ванюшко? Выспался, золотой парень, ну-ко, сухо ли у тебя тут? Сухо-то пресухо у Иванушка, ой ты дитятко, светлая свичушка, вон, ну-ко этой-то баушке покажись. Вон, скажи, баушка, я какой!

— Весь-то в дедушка Семена, весь, — сказала Степановна. — А те-то где бегают? В школу-то сколько ходит?

— Ой, и не говори, тут и нагрянут. Анатошка-то уж в шестых, всю неделю в школе и живет, а как придет на выходной, так и заплачет: «Не посылай, говорит, бабушка, меня в школу-то, лучше, говорит, буду солому возить». Жалко мне, уж так его жалко, с экких годов да в чужих людях, а говорю: «Батюшко, ведь учиться не будешь, дак всю жизнь так зря и проживешь». В понедельник-то рано надо вста-

вать, встанет, пойдет, да и заплачет, а я говорю: ты уж потерпи, Анатоша, не обижай матку-то, учись.

— От старшей, от Таньки-то, ходят письма?

— Как не ходят, вон и вчера письмо пришло, пишет, что, мама, мне напостыло, тоже велика ли, а в чужих людях, ведь уж год скоро, как в няньки отправили, а домой-то охота. Пишет, что прописали, что скоро и паспорт дадут, а потом-то ладит в училище поступать, в строительное, а я-то и говорю Ивану-то, что ехала бы домой, чего по чужой стороне шастать, дак нет, оба с Катериной в голос, пусть, говорят, паспорт получает, чего в колхозе молодым людям?

— А и правда, Евстольюшка.

— Как не правда, только больно девку-то жаль, красное солнышко, поехала-то, дак мне говорит: бабушка, я тебе кренделей пошлю...

— Да с кем уехала-то, с Митькой?

— С Митькой. В отпуск-то приезжал, да и увез, а там место ей нашел, хорошее, люди-то богатые, нарядили ее сразу, два платья ей купили, башмаки, и учиться-то по вечерам велят, а она, красное солнышко, и говорит, что когда уйду, дак и пойду учиться-то, а пока не буду. А ведь как, Степановна, хоть и невелика должность в няньках жить, а все-таки забота, и в магазин ходит, и стирает, и посуду моет, больно уж она у нас совестливая, а люди-то попались ученые, с роялями, да и дома-то мало бывают, он-то все по командировкам, в начальниках, а она эта, как, всё представленья-то делают?

— Да, поди, в артестах, вроде ряженых, что в святки ходили.

— Вот, вот, это.

— Дак Митька-то не сулится нонче?

— Как, девушка, не сулится, сулится, беда мне тоже с Митькой-то. Весь измотался, работает по разным местам, да и бабы всё переменные...

Старухам хватило бы разговоров еще на неделю, но тут начали по одному, по два появляться «клиенты» Ивана Африкановича. Первым объявились Мишка с Васькой, и сразу они запросили есть. И Степановна вскоре распрощалась с Евстольей, перевязала самовар полотенцем и пошла домой.

— Приди, Евстольюшка, к нам-то, хоть на ночку приди! — обернулась она еще из сеней. Но она и сама знала, что Евстолья не придет, некуда ей было идти от такой оравы внучат.

3. УТРО ИВАНА АФРИКАНОВИЧА

Он с детства был ранoставом. Бывало, еще покойник дед говаривал голоштанному внуку: встанешь раньше, шагнешь дальше. «И правда вся, что толку спать после вторых петухов? Лежать, ухо давить? — так думал Иван Африканович. — Еще належусь. Там лежать времечка хватит, никто уж не разбудит...»

Он еще затемно испилил порядочный штабель еловых дров. Когда обозначилась заря, взял топор, сумку рыбную и пошел к реке, к озеру. Был сильный, крепкий наст. Хоть на танке шпарь по волнистым белым полям, только бы звон пошел. Тетерева впервые, несмело гугоргали во многих местах. «Как допризывники, — подумал Иван Африканович, —

глядишь, через недельку разойдутся, разгуляются, все им будет трын-трава, что смерть, что свадьба. Вот ведь как природа устроила».

Солнцем залило всю речную впадину лесной опояски. Иван Африканович постоял с минуту у гумна, полюбовался восходом: «Восходит — каждый день восходит, так все время. Никому не остановить, не осилить...»

Морозный, ничем не пахнущий воздух проникал глубоко в грудь, отчего и дышать было можно редко-редко, а может, можно и совсем не дышать. До того легко, до того просто.

У гуменной стены на снегу Иван Африканович увидел неподвижного воробья. Птичка лежала, подвернув серую головку, и не двигалась. «Жив ли ты, парень? — вслух произнес Иван Африканович. — Вроде замерз начисто». Он взял воробья на теплую ладонь и дыхнул. Воробей сонливо мигнул. «Жив, прохиндей. Только замерз. Замерз, брат, ничего не сделаешь. А может, тебе ворона трепку дала? Аль у кота в лапах побывал? Ну-ко покажи ноги-то». Одна лапка у воробья была крепко втянута в перья, другая была исправна. Иван Африканович положил воробья под фуфайку и надел рукавицы. «Сиди, енвалид. Отогревайся в даровом тепле, а там видно будет. Тоже жить-то охота, никуда не деваешься. Дело привычное. Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой жись. Женки вон печи затопили, канителятся у шестков — жись. И все добро, все ладно. Ладно, что и родился, ладно, что детей народил. Жись, она и есть жись».

Иван Африканович не замечал, что шел по насту все скорее. Он всегда когда размышлял, то незамет-

но для себя ускорял ходьбу. Опомнится — бежит чуть ли не бегом.

Снег на солнце сверкал и белел всё яростнее, и эта ярость звенела в поющем под ногами насте. Белого, чуть подсиненного неба не было, какое же небо, никакого нет неба. Есть только бескрайняя глубина, нет ей конца-краю, лучше не думать...

Иван Африканович всегда останавливал сам себя, когда думал об этой глубине; остановил и сейчас, взглянул на понятную землю. В километре-полутора стоял неподвижно лесок, просвеченный солнцем. Синий наст, синие тени. А лучше сказать, и нету теней, ни в кустиках, ни на снегу. Игольчатый писк синички сквознячком в уши, — где сидит, попрыгунья, не видно. А, вон охорашивается, на ветке. Тоже тепло чует. У речки, нестарый, глубоко поребячьи спит осинник. И, словно румянец на детских щеках, проступает сквозь сон прозрачная, еле заметная зелень коры. Несмелая еще зелень, зыбкая, будто дымок. Крупные, чистые заячьи горошины на чистом же белом снегу, и захочешь побрезговать, да не выйдет. Ничего нечистого нет в заячьих катышках, как и в коричневых стручках ночевавших под снегом тетеревов.

Ворона каркнула на высоком стожаре. Иван Африканович поглядел наверх: «Чего, дура, орешь? Орать нечего зря».

Невдалеке, не стесняясь человека, мышковала спозаранку лисица. Она ошивалась около скирд ржаной прошлогодней соломы. Резво подпрыгивала, озорно изгибалась в воздухе и падала на хитрые лапки. Иван Африканович видел, как взметывался коричневый хвост, и хвост казался больше самой лисы.

«Ну, бесстыдница, подожди, ты у меня допрыгаешься. Вон ты где блудишь». Иван Африканович долго любовался лисой.

Солнце оторвалось от лесных верхушек. Иван Африканович нашел заезок, где стояла верша, распечатал став. Пахнуло зимней студеной водой и хвоей, но в верше оказалось всего две небольших сорожинки. Не было рыбы и в других вершах, но это нисколько не опечалило рыбака. «Небушко-то, небушко-то! Как провеянное, чистое, нет на нем ничего лишнего, один голубой сквозной простор».

Иван Африканович долго ходил по студеным от наста полям. Ноги сами несли его, и он перестал ощущать сам себя, слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны.

Все было студено, солнечно, широко. Деревни вдали тихо дымили трубами, пели петухи, урчали тетерева, мерцали белые, скованные морозцем снега. Иван Африканович шел и шел по певучему насту, и время остановилось для него. Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто лежал в люльке и улыбался, для которого еще не существовало разницы между явью и сном.

И для обоих сейчас не было ни конца, ни начала.

4. ЖЕНА КАТЕРИНА

В три часа ночи она была уже на ногах. С ведрами бегала между ребячьими головенками, носила с колодца воду.

Ребятишки спали на полу, кто как, под лоскутным одеялом да под шубным. Все по-разному спят. Вон Гришку возьми, этот все время во сне встанет на коленки да так на карачках и спит. А вот Васька рядком с Гришкой, этот посапывает сладко, и слюнка вытекла изо рта; с другой стороны беленькой мышкой приткнулась Катюшка. Мишка, совсем еще воробышек, перевернулся во сне ногами в изголовье; вон Маруся, Володя, а в люльке самый меньшой, Ванюшка, спит. Нет, не спит. Всех раньше пробудился, уже сучит ножонками, и глазенки блестят от зажженной матерью лучины. Не ревун, спокойный.

Мать Евстолья растопляла печь. Иван Африканович, с фонарем, давно пилил у крылечка дрова. Надо уж и на ферму бежать. Катерина, в резиновых сапогах, еще без фуфайки, скорехонько покормила меньшого — он сосал не жадно, не торопясь, и она соском чувствовала, как мальчонка изредка улыбается в темноте. «Ешь, милый, ешь, — мысленно торопила она, — видишь, матке у тебя все время-то нет, вон и бежать надо».

Звезды синели в холодном небе. Катерина на ходу шлепнула рукавицей своего мужика и не остановилась, побежала к скотному двору. Пилит. Раньше ее поднялся, фонарь зажег, да и пилит. Она ухмыльнулась, вспоминая, как вчера ночью по привычке хотел он ее пообнимать, а она отодвинулась, и он обиделся, начал искать курево, и ей было так радостно, что он обижался. С этой вчерашней радостью и прибежала она на двор. Сторож Куров уже уто́пал домой, в водогрейке краснели угли. Два котла кипятку стояли, готовые.

Доярки пришли почти вместе с Катериной.

Она принесла тридцать ведер холодной воды из речки, разбавила ее горячей, наносила соломы в кормушки и вымыла руки перед дойкой. Двенадцать ее коров доились не все, многие еще были на запуске, и Катерина подоила быстро. Сливая молоко, она опять ласково ухмылялась, вспоминая мужика, и голоса доярок доходили до сознания как сквозь неясный и приятный сон: «Обиделся, Иван Африканович. А чего, дурачок, обижаться, и обижаться-то тебе нечего. Чья я и есть, как не твоя, сколько годов об ручку идем, ребят накопили. Все родились крепкие, как гудочки. Растут. Девять вот, а десятый сам Иван Африканович, сам иной раз как дитя малое, чего говорить».

Катерина вспомнила, как на первом году пришли они в Сосновку, Евстолья тогда жила еще там, и сосновский дом стоял ядреный, и Евстолья, теща Иванова, попросила зятя отрубить петуху голову. А муж молодой заоглядывался, растерялся, только теща даже и не думала, что у нее такой зять, пошли ловить петуха. Ему было нечего делать, Ивану Африкановичу, — взял топор, боком, бодрясь пошел на поветь. Евстолья поймала шустрого петуха и ушла творить блины, а зять, как мальчишка, осторожно прижимал петуха к пиджаку. В глазах у фронтовика стояла жалость, и Катерина видела, как он растерянно глядел то на топор с еловой чуркой, то на трепыхавшего под полой петуха. Ой, Ваня ты Ваня, всю войну прошел, а петуха заколоть боишься. Катерина тогда сама взяла топор и ловко нарушила петуха. Пока безголовая птица подскакивала на повети, Катерина мертвой петушиной головой выма-

зала ладони Ивана Африкановича: «Уж чего-то и не верится, что ты в Берлин захаживал, и за что только людям орденов навыдавали?» Спустя минуту довольная теща ловко ощипывала петуха, а Иван Африканович деловито мылся у рукомойника. Намыливал руки, и медали звякали на гимнастерке, а Катерина, еле удерживая смех, стояла и ждала с полотенцем на плече, и на том полотенце тоже был красный петух, и теперь, когда она стирала или катала это полотенце, то всегда вспоминала медовый месяц, и того петуха, и то время, когда они с мужем обнимались днем за шкапом и самовар шумел у шестка, а мать Евстолья ходила недовольная. Уже потом, без зятя, Евстолья жаловалась соседке, что всю девку, дескать, он, проклятущий, измаял, экую-то ручищу навалит на нее, так у нее, у Евстольи, сердце за дочку и обомрет. Ой нет, матушка, не тяжела была, не груба эта рука... Только один разок обошла она Катерину, наткнулась на чужую обманную душу, и вдруг стали чужими, неродными тугие Ивановы жилы, зажгли как крапивой жесткие мозольные ладони. В тот год перед сенокосом Катерина ходила на восьмом месяце, по лицу — бурые пятна, брюхо горой дыбилось, лежала в избе да сидела в загороде на солнышке. В самый петров день ушел мужик в гости, она сама подала ему новую сатиновую рубаху, без обиды осталась дома. А он пошел в другой дом, и, будто сердце чуяло, Катерине стало горько, когда он ушел в гости. Чужие ребятишки воровали там первые горькие яблоки, в загороде у бойкой бабенки Дашки Путанки. Они и наткнулись на Дашку с Иваном, в высокой траве далеко было видно красную сатиновую рубаху.

Ой Путанка лешева, не зря трясла подолом в поскотине, когда ходили городить лесной огород! Катерина зашлась, забылась в обмороке — ей обо всем сказали бабы на другой день. А после Катерининых родов пришел мужик с праздника, глаза косят в сторону, как у вора; похмельный дух за версту, и рубаха разорвана до самого пупа. Наблудил, пришел, ничего не сказала, в пустую рожу не плюнула. Только уж после сказала: иди куда хошь. Не ушел. «Хочешь, говорит, в ноги, только прости, Катерина», — все и простила... А он с радости с этой побежал в избу. Схватил с полицы толстую книгу библию — давнишняя книга, еще после деда Дрынова осталась. Берегли Дрыновы эту книгу пуще коровы, пуще лошади, так и лежала на полице после деда. Тогда еще со свекровушкой жили, она и спрашивает: куда книгу поволок, не дам. Какое там «не дам»! Унес и променял библию на гармонью мужику — Пятаку. Пятак и сейчас читает эту библию и всем говорит, что вот придет время, жить будет добро, а жить будет некому. А тогда Катеринин мужик променял ему библию на гармонью, принес домой гармонью, сказал: «Буду, Катюха, тебя веселить, играть выучусь для тебя, только не вспоминай больше этот петров день!» Не вспомнила, не сказала. Но один раз подошла к Дашке Путанке да при всех бабах сдернула с поганой шеи баские, в два ряда, янтари. Так и посыпались...

Катерина лопатой сгребла и вывезла накопившийся за ночь навоз. Бабы тоже заканчивали утреннюю работу. Уже светало, дни под весну стали длинные.

— Бабы, а что это сегодня Путанки-то не видать,

Дашки-то? — спросила одна. — Телята вон в телятнике ревмя ревят.

Телятница Дашка Путанка на работу не пришла. Рассказывали, что шумела вчера на всю деревню, — мол, к лешему этих и телят, ноги моей не будет в этом навознике, что, мол, у меня не семеро по лавкам, не стану ломить круглый год за двадцать рублей. «Знамо, не семеро. Дура ты дура, Путанка, да ведь у тебя бы уж было два раза по семеро и все в разную масть, кабы не аборты. Кажин год бежишь в больницу, мало ли из тебя выковыряно? Полдела так-то, трех мужиков извела, не прижился около ни один, все убежали от тебя, а ты все хвостом вертишь, вся измоталася, как пустая мочалка. А разве бы тебе на телятнике не работать? Где ты больше-то заработаешь».

Тут Катерина вспомнила, что сегодня бригадир должен принести деньги за тот месяц, и сколько дыр надо заткнуть, вспомнила. На хлеб-сахар только мало ли надо, одиннадцать человек застолье. Одна пока откололась, Танюшка, старшая, да и то бы охота послать ей хоть десяточку. Одна, без родных людей живет.

Катерина воровски, чтобы не увидели доярки, смахнула слезу. «Пошлю Танюшке-то хоть в письме пятерочку. За самовар сосновская крестная сулила принести двадцать рублей, да бригадир сорок принесет, надо послать. Анатошке, тому тоже трешник на неделю вынь да положь, — хоть и кормят там в интернате, а подавай. Да и валенки вон уж все измолол, ведь в худой обутке в школу не пошлешь, надо ему новые валенки, а Гришке с Васькой по рубахе, уж давно сулила, надо купить, боль-

но рубашки-то добры в лавку привезли, да Марусе сапожки резиновые, весна скоро, а дома вон тоже уже не сидит, бегает. Ой, много всего надо!»

Как ни прикидывала, как ни раскладывала Катерина теперешние деньги, все получалось, что на питание всей оравушке остается то десятка, то полторы. Может, еще Иван рыбы скоро изловит да в сельпо сдаст? Только вот пойдет ли еще рыба-то в речку, нынче, может, и не пойдет, снегу и льду мало, а воды в озере много...

Бригадир, что пришел просить обрядить беспризорных телят, долго и складно матюгал Путанку, но Катерина словно бы не слушала этих мужичьих матюгов, они пролетали как-то мимо нее, не задевали и не резали ухо. И все-таки, когда бригадир завернул уж что-то слишком поганое и еще совсем новое, Катерина не утерпела, сказала:

— Да ты это, парень, что? Сколько добра-то из тебя сегодня ползет, хоть бы остановился.

— Остановлюсь! Я вам остановлюсь! Телята-то не поены остались! Мне что, самому их поить, что ли?

— А и попоишь, не велик барин! — закричали доярки, заражаемые бригадирской же руганью.

— Раз Дашка не слушает!

— Это тебе не наряды писать!

— Химическим-то карандашом.

Бригадир остановил матюги:

— Ну, вот что, бабы, сегодня уж обрядите телят-то. Хоть ты, Катерина, что ли. Да и завтра, а я пока председателю доложу, пусть что знает, то и творит.

— Давай уж я возьмусь, пообряжаю. У меня коровы еще не все отелились,— может, и справлюсь.

Бригадир в радостях убежал тотчас же, потому что боялся, что Катерина раздумает, а бабы, уходя завтракать, только головами качали. Двенадцать коров на руках у Катерины, да еще и телятник взяла. С ума надо сойти!

Бабы ушли, а Катерина пошла в телятник. Телятишки, как ребятишки, тыкались мокрыми рылами в ее ладони. Ревели, трубили, и Катерина начала делить оставленное для сосунков молоко. Чуть не до дневной дойки бегала, чистила стайки, солому стелила.

Только что это? Она присела на приступок: вдруг не стало хватать воздуха, тошнота подступила к горлу. Не бывало еще так никогда. Задрожали руки до самых плеч, пот выступил на лбу. Она посидела на приступке, улыбнулась. Вроде прошло. Может, угорела в водогрейке? Наверно, угорела, уж больно рано закрывает Куров-старик печь в водогрейке. А может, после родов... С телятами-то ей больше будет канители, и вставать раньше, и днем домой не бывать. Нет, не бывать. Ежели бы мужик... вот ежели бы и мужика... Только чего! Разве пойдет мужик на двор? Вся деревня захохочет, скажут, Иван Африканович скотником заделался. Нет, нечего этого и думать, не пойдет. Ему лес да рыба с озером, да плотничать любит, а ко скотине его и на аркане не затащить.

И вдруг опять будто кто зажал Катерине рот и начал душить, ослабела враз и ничком опустилась на сухую теплую соломенную подстилку.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НА БРЕВНАХ

Давно отбулькало шумное водополье. Стояли белые ночи. Последние весенние дни, будто завороженные, недоуменно затихали над деревнями. Все гасила и сжигала зеленая тишина.

Вчера было впервые тепло по-летнему, ночь не смогла охладить молодую траву, и пыль на дороге, и бревна, и только у реки чуялась ровная свежесть да из тумана в низинах упала небольшая роса.

В деревне быстро исчезали голубоватые ночные сумерки. Они исчезали покорно, без борьбы, словно зная о справедливости: всему свой черед и свое место?

Черед же пришел широкому благодатному утру. Сначала стало тихо, так тихо, что даже петухи крепились и сдерживали свой пыл. Белая ночь ушла вместе с голубыми сумерками, багряная заря подпалила треть горизонта, и вся деревня замерла, будто готовясь к пробуждению.

В это самое время за палисадом мелькнуло девичье платье. Почти одновременно в сторону метнулся черный пиджак. Парень оглянулся, далеко в траву стрекнул папироску, стараясь не озираться, пошел к своему дому.

И тотчас же из-за леса выпросталось громадное солнце. Казалось, что оно, не скрывая своей щедрости, озорно щурилось и подмигивало разбуженному белому свету. Немного погодя оно стало круглее и меньше, а красный угольный жар его сменился ровным, нестерпимо золотым.

На бревна, где только что сидели парень и девушка, слетела щекастенькая синичка. Дрыгая не подчинявшимся ей хвостиком, тюкнула раза два и, тонко свистнув, запрыгала по бревну. Она вспорхнула с бревна, метнулась над ушастой головой кравшегося за ней кота. Тот прыгнул, лапой ударил по воздуху и шмякнулся на траву. Секунду разочарованно глядел вослед синице. Потом встал и, жмурясь, лениво пошел дальше.

Затопилась первая печь, по-лесному остро запахло горящей берестой. Раздвинулась и посинела куполообразная пропасть неба, первый дневной зной уже чуялся в растущей траве и в запахе бревен.

Дашка Путанка в рыжем переднике вышла за первой водой. Она походя зевнула на восход, почесала розовое коленко и начала лениво крутить ворот колодца. Ворот скрипел и свистел на всю деревню, как немазаная телега.

Была сизая от росы трава, домá еще спали, но хлопотливые галки уже канителились в колокольне да ранний молоток Ивана Африкановича отбивал косу.

Женщина вытащила ведро наверх и нечаянно облилась водой-холодянкой. Заругалась, заойкала. Когда отцепляла ведро, то непослушная с утра посудина вдруг взыграла, звякнула дужкой и полетела обратно.

— Лешой, лешой, унеси лешой, водяной! — заругалась Дашка и долго глядела, как ведро летело вниз, в темную холодную прорву сруба.

К тому времени вышел из лаза давешний кот и, не зная, куда идти, удивленно понюхал воздух. Баба сгоряча плюнула в колодец. Хлопнула себя по круглым бедрам:

— Лешой, так лешой и есть!

Она заругалась еще шибче, однако ругайся не ругайся, а ведра не было, лишь далеко внизу хрустально звенели капли падающей с веревки воды.

— Ты это чего, Дарья? — спросил выглянувший из задних ворот старичонко Куров. — Приснилось, что ли, чего неладно?

— Ой, отстань, дедко, к водяному! — она поглядела в колодец еще. — Экое ведро ухайдакала.

— Дак ты делаешь-то все неладно, вот и выходит у тебя не по библии.

— Это чего не по библии? — удивилась баба.

— А вот так, не по библии.

— А чего, дедушко?

— А вот чего. Я тебе сколько раз говаривал, пошто воду ведром черпаешь. На самовар вода-то?

— На самовар.

— Дак вот взяла бы прямо самовар да им и доставала. На кой бес тебе ведро тратить, ежели прямо самоваром зачерпнуть можно. И канители меньше.

— Ой, к лешему, к водяному!

Баба постояла немного в раздумчивости. Взяла второе ведро, не зная, доставать воду оставшимся ведром или не доставать. Решила не связываться и удрученно пошла домой.

«Ой ты, сухорукая, — подумал Куров, поливая ковшом рассаду, — не тебе бы, сухорукой, ходить по воду; ежели замуж выйдешь, дак одно от тебя мужику раззоренье».

Дашка, словно почуяв дедковы рассуждения, остановилась:

— Ты, дедушко, не знаешь, кошка-то жива у Африкановича?

— Кошка-то? Насчет кошки не знаю, а кот живехонек. Вон по мышей пошел. По капусте.

— К лешему! Я ему всурьез, а он только бухтины гнуть. Только и знаешь языком плести!

— Да я что, я пожалуйста. Есть у Африкановича кошка, только веревку-то надо бы подольше.

— Дак ты бы подоставал ведра-ти? — оживилась баба. — Третьего дня твоя невестка тоже ведро опустила.

Эта новость для Курова оказалась решающей. «Вот косоротая наша-то, — подумал он. — Тоже опустила ведро, а не говорит, молчит». Он дал согласие сходить за кошкой и подоставать ведра, а Дашка Путанка успокоилась и пошла щепать лучину, чтобы затопить печь.

От избы, в одной рубахе, в полосатых магазинных штанах, босиком шел Иван Африканович. В одной руке коса и оселок, в другой — сапоги. Вынул изо рта цигарку, положил ее на бревно и начал старательно обуваться. Когда обулся, то встал, по-

топтался для верности: не трет, не жмет ли где. Сел, оглядел улицу.

В солнечной, будто пыльной мгле по деревне ехал на кобыле бригадир. Иван Африканович подождал, пока он слезал на лужок и привязывал к огороду кобылу.

— Ивану Африкановичу,— сказал бригадир, подавая руку, и тоже сел на бревна.— Как думаешь, не будет дожжа-то?

— Нет, не похоже на дож. Касатки, вишь, под самое небо ударились.

Бригадир спросил про Катерину, не пришла ли; Иван Африканович только скорбно махнул рукой:

— Лучше не говори...

Затянулись, откашлялись и сплюнули оба, и кобыла обернулась на эти звуки.

— Сходил бы, Иван Африканович, за Мишкой, пусть трактор заводит, — сказал бригадир.

Он придушил окурок и подошел к пожарной колотушке. Колотушка — старый плужный отвал, висевший тут же у бревен, — радостно загудел от ударов железкой, словно ждал этого всю ночь.

Тут же, успевший под утро остыть, стоял и Мишкин «ДТ-54». Со стекла дверки, с внутренней стороны, глядела на деревню обнаженная женщина из «Союза земли и воды». Бронзовое туловище атлета, что в нижней части картины, наполовину закрыто темным пятном, Рубенс был безнадежно испорчен соляркой.

Иван Африканович направился за Мишкой. Из разных ворот завыходили работальницы в ситцевых летних кофтах. Звонкие с утра и еще не загорелые

бабы на ходу дожевывали что-то, одна по одной подходили к бревнам:

— Ой, милые, а ведь грабли-то и забыла!

— Здорово, Ивановна!

— День-то, день-то, краснехонек!

— Косить-то куда нонь, бабицы, за реку?

— Тпруко-тпруко-тпруко, тпруконюшки!

Одновременно выгоняли коров. Бабы усаживались на бревнах около бригадира. Вскоре подошел Иван Африканович и доложил, что Мишка только лягается и вставать не встает:

— Я его и за пятку подергал, и за ухо. Вставай, грю, бабы собрались, тебя ждут с трактором.

— Прогулял ночь, теперь его пушками не разбудишь.

— Знамо, прогулял.

— Всю-то ноченьку, всю-то ноченьку с Надежкой на бревнах высидел, сама видела, сколько раз пробужалась.

— Да вон и окурки евонные накиданы.

— Дело молодое, в такие годы и порадоваться.

— И не говори. Иду это я...

Бригадир двинулся будить Мишку сам.

Солнышко поднялось еще выше, далеко в синем просторе выплыло первое кудлатое облако — предвестник ясного дня. Бабы, еще посудачив, во главе с Иваном Африкановичем пошли в поле, а через полчаса испуганно, как спросонья, треснул пускач, потом сказался солидным чихом большой двигатель, трактор взревел, заглох, но вскоре заработал опять, уже ровно и сильно.

Видимо, не проспавшись, Мишка слишком резко включил сцепление.

Бревна Ивана Африкановича опустели на время. В деревне опять стало тихо.

День долго не мог догореть, все вздыхал и ширился в поле и над деревней. Солнце дробилось в реке на ветряной голубой зыби, трава за день заметно выросла, и везде слышалось зеленое движение, словно сама весна в последний раз мела по земле зеленым подолом.

К вечеру старинные окорённые бревна нагрелись, солнце выдавило из сучков последние слезинки многолетней смолы. После баб, что ушли на силос, прибежали сюда ребятишки. Пооколачивались, поиграли в прятки и подались к реке. После них пришла на бревна бабка Евстолья со внуком. Она долго и мудро глядела на синее небо, на зеленое поле, покачивала ребеночка и напевала:

Ваня, миленький дружок,
Ты не бегай на лужок,
Потеряешь сапожок,
Либо катаничок.
Тебя мышка съест...

Не допела, зевнула: ох-хо-хонюшки.

— Здорово, бабка! — вдруг услыхала она наигранно панибратский голос.

— Поди-тко, здравствуй.

— Бригадира не видела?

— Я, батюшко, за бригадиром не бегаю. Не приставлена.

— Как... не приставлена?

— А так.

— Я, бабка, из газеты, — сбавил тон пришелец, усаживаясь на бревнах.

— Писатель?

— Ну, вроде этого. — Мужчина закуривал. — Как силосование двигается?

— Про силосованьё не знаю. Только у меня вот зимой был, тоже газетник, дак тот был пообходительнее, не то что ты. И про здоровье спросил, и про все, до чего не хитрой. Он и Катерину-то в больницу устроил. А силосованьё что, батюшко, силосованьё, я старуха, не знаю ничего. Ушли вроде бы на стожья косить.

Корреспондент не стыдясь начал записывать бабкины слова в книжку.

— Сколько человек?

— Да все. Ты, батюшко, обери поминальник-то, обери от греха.

Корреспондент так и ушел ни с чем, а внучек уснул под разговоры. Евстолья унесла ребенка домой, и бревна опустели. Нарубленные еще пять лет тому назад, они так и лежали у большой дороги напротив дома: Иван Африканович все собирался делать дому большой ремонт. И вот давно уже каждое лето бревна служили пристанищем для всех, приходили ребятишки, мужики курили, тут же собирались на работу бабы.

Если б сейчас сидел кто-нибудь на бревнах, то увидел бы, что под угором к мосту идет с узелком Катерина. Она шла тихо, еще слабая после болезни; сокращала дорогу узкими тропками, глядела на деревню и, улыбаясь, плакала от радости. Она больше двух недель не была дома. Сегодня ее выписали из больницы, она купила гостинцев в лавке и не торо-

пясь, радостная и притихшая, пошла домой. В Сосновке долго отдыхала у Нюшки. Потом у родничка размочила глазированный пряник, пожевала без особой охоты.

И вот теперь Катерина, не утирая слез, перешла мостик, перелезла огород у бани и все глядела на свой дом, и волнение, скопленное за две недели, делало ее еще слабее. Все ли ладно, здоровы ли ребятишки? Скотина как без нее, огород посажен ли. Грядки сделаны высокие, хорошие, картошку посадили. И лук вон уже зазеленел, капустки посадили, не забыли. На крыше крутится и барабанит самодельная мельница — Анатошкина работа. Школу закончил, может, и без двоек... Бельишко сушится на изгороди. Катерина узнала бы это бельишко где хочешь, вон Гришкины трусишки, застиранное, линялое платьице — это Марусино, а вот мужнина гимнастерка, пуговицы нет на рукаве, пришить бы не забыть. Всё матка перестирала, и как управлялась тут старуха?

Катерина вышла в заулок. До чего же хорошо дома, до чего зелено стало. Увезли по голой земле — трава только проклевывалась и лист на березах был по медной копейке, а сейчас трава до бедер. Тропка обросла, вся в широких листах панацеи — чем больше топчут, тем упрямее растет подорожник. В деревне тихо, слышно, как пищат над лугами чибисы, и в перерывах между журчанием жаворонка слышен дальний голос кукушки. Тихо, у всех ворот батоги, — видно, уж и на силос косят. Батог и в скобе у своих ворот.

Она подошла к бревнам, прислушалась: от реки долетали по ветру голоса ребятишек. Без труда разобрала самый звонкий — Гришкин. Купаются, дья-

волята, еще простудятся. Рано бы купаться-то. Катерина присела на бревна. Куда же матка-то с маленьким ушла? К Петровым? Все время туда бродят, опять, видно, там сидят. И вдруг Катерина почуяла, как у нее чего-то тоскливо и больно сжалось в груди, оглянулась сама не своя, кинулась к тому концу бревен:

— Марусенька, милая...

Девочка не двигаясь стояла за бревнами и глядела на мать. Голубыми немигающими глазами. И столько детской тоски по ласке, столько одиночества было в этих глазенках, что Катерина сама заплакала, бросилась к ней, прижала девочку к себе.

— Марусенька, Марусенька, ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну, милая ты моя... О господи...

Маруся вздрагивала крохотными плечиками. Большая тряпичная кукла лежала на траве, девочка играла, когда вдруг увидела на бревнах мать.

Катерина все прижимала ребенка. Поправила волосенки, ладонью осушила Марусины слезы и говорила, говорила ласковые тихие слова:

— Вот, Маруся, я тебе и пряничков принесла, и домой-то мы сейчас с тобой пойдем, доченька, есть кто дома-то? Нету?

Сквозь пелену давнишней недетской тоски в глазах девочки блеснуло что-то мимолетное, радостное, она уже не плакала и не вздрагивала плечами.

Катерина взяла ее на руки, прихватила узелок с пряниками и пошла в дом. Остановилась: от реки с визгом бежал Гришка, за ним, не поспевая, размахивая ручонками, торопились двойники Васька с Мишкой, а из поля, с другого конца, бежала голенастая Катя, все радостные, родимые... Визжат, кри-

чат, вон один запнулся за что-то, шлепнулся на траву — не велика беда, — вспрыгнул на ноги, побежал опять, ближе, ближе, с обеих сторон. Прибежали, уткнулись в подол, охватили ручонками ослабевшие ноги...

А с Петрова крылечка сурово и ласково глядела на эту ватагу бабка Евстолья, держа на руках самого младшего, неизвестно как прожившего без материнского молока целых две недели.

Полуторагодовалого Володьки не было видно, — наверно, он спал в люльке, пользуясь независимостью и тем, что никто ему не мешал. Старший же, Анатошка, с утра возил траву на силос.

* * *

У Ивана Африкановича еще с ночи на душе было какое-то странное беспокойство. Он словно чуял сердцем, что сегодня придет Катерина. И все опять будет по-прежнему, опять, как и раньше, будут спать по ночам ребятишки, и он, проснувшись, укроет одеялом похолодевшее плечо жены, и часы станут так же спокойно, без тревоги тикать на заборке. Ох, Катерина, Катерина... С того дня, как ее увезли в больницу, он похудел и оброс, брился всего один раз, на заговенье. В руках ничего не держится, глаза ни на что не глядят. Катерину увезли на машине еле живую. Врачи говорят: гипертония какая-то, первый удар был. Четыре дня лежала еще дома — колесом пошла вся жизнь. В доме сразу как нетоплено стало. Ребятишки что. Они ничего еще не понимают. Бегают, есть просят. Только Катя да Анатошка — эти постарше — сразу стали невеселы-

ми: иной раз несет девка ложку ко рту да так и не донесет, задумается... Да и самого будто стреножили, белый свет стал низким да нешироким, ходишь как в тесной, худым мужиком срубленной бане.

Иван Африканович заметно осутулился за две эти недели. Глубже стала тройная морщина на лысеющем крутобоком лбу, пальцы на руках все время чуть подрагивали.

И вот сегодня, будто чуяло сердце, приснился ночью добрый, как осенний ледок, ясный сон. Приснились Ивану Африкановичу зимние сонливые сосны у дороги над тем родником, белые толстые сосны. Они роняли хлопья почему-то совсем не холодного снега. И будто бы он сидел у родника и еще военной фуражкой поил Катерину чистой серебряной водой. Он поил ее этой водой из фуражки, а Катерина была почему-то в летнем сарафане, в туфлях и с черной плетеной косынкой на плечах, как тогда, в день свадьбы. Она пила воду и все смеялась, и снег с сосен все летел, а внизу почему-то на виду, быстро, вырастала трава, и розовый иван-чай касался плеч, а Иван Африканович зачерпнул фуражкой еще воды и опять поднес к губам Катерины, и она опять пила, смеялась и грозила ему указательным пальцем. Она что-то говорила ему, чего-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу, и еще белые хлопья явственно, медленно ложились на черную кружевную косынку, а Катерина все разводила руками с зажатыми в них концами косынки...

Ему сказали, что Катерина еще до обеда пришла

домой. Он не докосил прокос. Не выходя на дорогу, побежал через кусты, к полю. Бабы кричали ему что-то насчет расстегнувшейся ширинки, смеялись, а он, даже не отмахиваясь от комаров, торопился к деревне. Прыгнул на крыльцо не хуже Анатошки. Дернул скобу дверей.

Катерина сидела на лавке и кормила грудью младшего. Она ухмыльнулась, лукаво глядя на Ивана Африкановича, а он подошел, сел рядом, но не зная, что делать, пошел к ведрам, с маху дернул ковшик воды.

— Спотел... Ты это... на машине али как? Наверно, это... худо кормили-то...

— Пешком. — Катерина опять ухмыльнулась. — Ой, ты, Иван Африканович, садовая голова. Вон курева принесла тебе.

— Заказала бы с кем, встретил бы, лошадь долго ли запрягчи.

...И опять все успокоилось в душе — много ли человеку надо?

Крупная изумрудная звезда еще при солнышке взошла над гумном, отблеяли в проулке чернозубые овцы, сумерки не спеша наплывали от окрестных ельников. Тихо, тихо. Только настырно куют кузнечики да изредка прогудит вечерний жук, даже молоток, отбивавший косу, и тот перестал тюкать.

Катерина уже бегала по дому как ни в чем не бывало. Счастливый Иван Африканович из окна увидел: чернеет на бревнах Мишкин пиджак. Не утерпел, вышел на улицу. Мишка сидел на бревнах с гармошкой. Его трактор, с картиной в окошке, тоже стоял неподалеку. Мишка угостил Ивана Африкановича папиросиной, спросил:

— Что, Африканович, яму-то засилосовали?

— А я, друг мой, и не знаю, до обеда только косил. Баба пришла домой, я и не пошел с обеда-то.

— Тебе теперь что, — упрекнул Мишка. — Тебе теперь полдела, не то что нам, холостякам.

Иван Африканович не поддержал тему.

— Ну-ко растяни, растяни. Сколько дал-то за нее? — Иван Африканович ногтем поскреб Мишкину гармонь. Ему вспомнилось, как давно-давно выменял он на библию гармонь, как не успел даже на басах научиться трынкать — описали за недоимки по налогам и продали, а Пятак, что выменял библию, подсмеивался над Иваном Африкановичем, у Пятака недоимок-то было больше, а библия не заинтересовала сухорукого финагента Петьку, которого поставили на должность за хороший почерк.

Тихо в деревне. Но вот по прогону из леса баржами выплыли коровы. Важные, с набухшими выменами, они не трубят, как поутру, а лишь тихонько и устало мычат в ноздри, сами останавливаются у домов и ждут, махая хвостами. Над каждой из них клубится туча еще с полдня в лесу увязавшегося за ней комарья. Дневная жара давно смякла, звуки колокольцев по проулкам стали яснее и тише. Обещая ведренную погоду, высоко в последней синеве дня плавают касатки, стригут воздух все еще пронзительные стрижи и стайка деревенской мошки толкется перед каждым крылечком.

Васька загоняет корову во двор.

— Иди, Логуля, иди, — сопит он и еле достает ручонками до громадного Рогулина брюха. Корова почти не обращает на Ваську внимания. Короткие Васькины штаны лямками крест-накрест глядят на-

зад портошинками, и от этого Васька похож на зайца. Полосатая замазанная рубашонка выехала спереди, и на ней, на самом Васькином пузе, болтается орден Славы. Вышла бабка Евстолья, села доить корову. Катюшка ветками черемухи смахивала с Рогули комаров, и Ваське стало нечего делать. Он схватил сухую ольховую рогатину и вприскок, как на велосипеде, побежал по пыльной дороге. Орден Славы вместе с лямками крест-накрест занимал все место на Васькином пузе, и Васька, повизгивая от неизвестной даже ему самому радости, самозабвенно потащил по деревне рогатину.

Как раз в это время на соседнее крыльцо вылез хромой после первой германской Куров, долго, минут десять, шел до бревен. Он выставил ногу, обутую в изъеденный молью валенок. Увидел Ваську, поскреб сивую бороденку, не улыбаясь, тоскливо мигая, остановил мальчика:

— Это ты, Гришка? Али Васька? Который, не могу толку дать.

Васька остановился, засмущался, а Куров сказал про рогатину:

— Вроде Васька. Брось, батюшко, натачину-то, долго ли глаз выткнуть.

— Не-е-е! — заулыбался мальчонка. — Я иссо и завтла буду бегать, и вчела буду бегать, и...

— Ну, ну, бегай ежели. Медаль-ту за какие тебе пазиции выдали? Больно хорошая медаль-то, носи, носи, батюшко, не теряй.

Васька продолжал свой поход с рогатиной, а старик повернулся к мужикам:

— Пришла хозяйка-то?

— Пришла, — сказал Иван Африканович.

— Ну и слава богу. А ты, Петров, стогов семьдесят сегодня, поди-ко, наставил, куды и проценты будешь девать? Придется ишшо двух коров заводить, — сказал Куров серьезно.

— Заливай, заливай! И косим-то еще на силос.

— Да чево, заливай. Мне заливать нечего, ежели правду говорю. Заливай... Какова трава-то ноне?

— А ничего, брат Куров, не наросло, вся пожня как твоя лысина.

Мишка снял картузишко с головы Курова, тюкнул по ней пальцем:

— Ну вот, гляди, много ли у тебя тут добра? А все оттого, что ты до чужих баб охоч больно.

— Вот прохвост, — не обиделся Куров, — у кого ты эк и молоть выучился. Отец, бывало, тележного скрипу боялся, а тебе пальца в рот не клади. Когда жениться-то будешь? Хоть бы скорее обротала тебя какая-нибудь жандарма.

— А чего мне жениться?

— Да как чего?

— Ну, а чего?

— Да нечего, конешно, дело твое, только без бабы какое дело? Я, бывало, отцу забасто́вку делал, в работу не пошел из-за этого. До колхозов еще было дело. Поставил я, понимаешь, тогда себе задачу — в лепешку разобьюсь, а плясать научусь к покрову, на игрища стыдно было ходить, плясать спервоначалу не умел. Каждый день на гумно ходил вокруг пестеря плясать. Сперва-то так топал, без толку, а однова нога за ногу зацепилась и эк ловко выстукалось, что и самому приятно. Только развернулся, пошел эким козырем, а отец как схватит за ухо, он в овине был, подошел сзади да как схватит, ухо у

меня так и треснуло. «Чево, говорит, дьяволенок, обутку рвешь?» Вот тут вскорости он меня и женил.

Солнце совсем закатилось за соседнюю деревню. Коров загнали по дворам, только один черно-пестрый Еремихин теленок встал под черемухами, расставив ножки, и замычал на всю деревню.

— Ну чево ревишь, дурак? — Куров погрозил теленку. — Реветь нечево, ежели сыт.

— Пте-пте-пте! Пте-пте-пте, иди сюда, милушко!

Еремиха хочет добром увлечь теленка к дому, теленок взбрыкнул и побежал в другую сторону, а старуха заругалась:

— Прохвост, дьяволенок, шпана, ох уж я тебе и нахлещу, ох и нахлещу, я ведь уже не молоденькая бегать-то за тобой. Пте-пте-пте!..

Мужики с истинной заинтересованностью слушали, как Еремиха ругает теленка, пока из проулка не появился другой старик, Федор, — ровесник Курова по годам, но здоровьем намного хуже. Он держал на плече уду, в руке ведерко из консервной банки и спичечный коробок с червяками.

— Опеть, Федор, всю мою рыбу выудил. От прохвост! Ходит кажин день, как на принудиловку, — сказал Куров, — и все под моей загородой удит.

— Какое под твоей. — Федор положил уду и тоже присел на бревна. — В Подозерках нынче удил, да не клюет.

Мишка взял ведерко и заглянул в него. Один-единственный окунь сантиметров на десять длиной, скрючившись, лежал на дне. Куров тоже заглянул:

— Добро, добро, Федор, поудил. Ишь какой окунище. Наверное, без очереди клюнул. А что, Федор, там не ревит моя-то рыба, не слыхал в Подозерках-то?

— Как, чудак, не ревит, голосом ревит.

С минуту все четверо молчали.

— На блесну не пробовал? — спросил Мишка.

— Что ты, чудак, какая блесна, ежели я и через канаву по-пластунски перебираюсь. Вот у меня когда ноги были хорошие, так я все с блесной ходил. А рыба и в мирное время в ходу, понимаешь, была. Раз иду по реке, веду блесну, шагов десять пройдешь — и щука, иду и выкидываю, как поленья; штук пять за полчаса навыкидывал. А Палашка Верхушина за водой идет. «Откуда, говорит, у тебя, Федор, щуки-то берутся?» А ведь, говорю, которые знакомые, дак. Выкидывай да выкидывай. До войны ишшо дело было. Вот только эк сказал, она, щука-то, как схватит опеть да рикошетом от берега, я тащу, а она от меня...

Мужики истово слушают Федора. Между тем речь с рыбы переходит на другие дела, и разговор тянется бесконечно, цепляясь за самые маленькие подробности и вновь разрастаясь.

— Что, Федор, не бывал этим летом за тетерами-то? — спрашивает Мишка.

— Полно, какие тетеры от меня. Дошел раз до ближней речки, хотел перейти, а нога подвернулась, и я, понимаешь, хлесть на мостик. Рикошетом от мостика-то, думаю, хоть бы живым из лесу выбраться. Нет, Петров, не бывал я за тетерами. А тетера, она, конешно, и в мирное время скусна бывает.

Федор в последнюю войну служил в артиллерии. Сворачивая цигарку, он долго лижет газету сизым, сухим от старости языком, потом кое-как склеивает цигарку и прикуривает у Петрова.

— Читал, Петров, сегодня газету-то? — спраши-

вает Куров Мишку. — Опеть, чуешь, буржуазники-те шалят с бонбой. А наши прохамыкают опеть. Вся земная система в таком напряженье стоит, а наши хамкают.

— Ничего не хамкают, — отмахивается Мишка.

— Как жо не хамкают и не зевают, ежели оне, буржуазники-те, с бонбой, а нам и оборонится нечем будет?

— Что ты, Куров,— вмешивается Федор.— Да у наших бонбы-то почище тамошних, только, наверно, не знает нихто.

— Прозевают — прохамкают, — не унимается скептический Куров.— С соплюнами да малолетками только перегащиваются. А какая польза от малолетков? Ну правда, этот, как ево, боек, говорят, на Кубе-то. Кастров, что ли, тоже Федор, кажись.

— Фидель Кастро,— поправляет более грамотный Мишка.

— Всю землю, в газетах пишут, мужикам тамошним благословил и бумаги охранные выдал, каждому сам вручил.

— Вот видишь, а говоришь, малолетки.

— А ты, Петров, слова не даешь сказать, всякий раз поперек меня. Я и говорю, хоть бы тебя какая-нибудь прищучила поскорее, да чтобы ты остепенился.

— Чего ты, Куров, пристал: женись да женись! Женись сам, коли надо.

— Я не приневаливаю, только не дело так болтаться, как ты.

— В мирное время, — включился Федор, — в мирное время, конешно, жениться надо в сроки.

— В сроки, в сроки! — передразнил Петров.— Вон Иван Африканович в сроки женился, накляпал ребятишек, пальцей не хватает считать.

Иван Африканович уходил в это время из проулка загонять своих овец во двор и как раз возвращался. Он увидал мужиков, поздоровался со стариками. Присел на бревна.

— На помин, как сноп на овин, — сказал Куров.— Ивану Африкановичу наше почтенье. Вон про тебя чего Петров-то говорит.

— Чего это он говорит? — Иван Африканович тоже начал закуривать.

— А говорит, худо по ночам работаешь, робетешок мало.

— Оно конешно, — Иван Африканович даже не улыбнулся. — Маловато, дело привычное.

— У тебя Васька-то которой, шестой по счету?

— Васька-то? Васька-то семой вроде, а можно и шестым, оне с Мишкой двойники.

— Гляжу сейчас, бежит, в руках патачина осемьсветная, на грудине медаль. Да вон он с крапилой кулиганит.

— Васька! — прикрикнул Иван Африканович. — А ну положь батог. Кому говорят, положь!

И тут же забыл про Ваську.

Куров опять потыкал клюшкой в землю, заговорил:

— Вот мы с Федором вчера насчет союзников... Ты ведь вроде до Берлина дошел, шампанское с ними глушил, чего оне теперече-то на нас прут? Я так думаю, что Франция все это, она, мокрохвостка, дело меж нас портит.

— Нет, Куров, не скажи, — вмешался Федор. — Франция, она все время за наших стояла, не скажи. А насчет союзников я вот что расскажу. Перед самым концом войны, значит, дело было, в Ялте вожди собрались: наш Сталин, Черчилль, англиец, да американец Рузвельт.

В конце деревни залаяла собака. Ребятишки кидались на дороге репейниками, теплый, пахнущий молоком, дымом и навозом наплыв воздуха докатился до бревен.

— ...Значит, оне в те поры собраньё — комитет проводили, что да как решали, как войну завершить и как дальше делу быть. Ну, это дело такое, все время за столом не высидишь, пошли отдохнуть, в палисаде и скамеечки крашеные для их приготовлены. Сидят оне, отдыхают, перекур вроде. И разговорились, друг мой, насчет Гитлера. А что, робята, говорят, ежели бы нам сейчас этого Гитлера сюда залучить, чего мы с ним, сукой, сделали? Какую ему, подлюге, казню постановили?

Федор переставил ведерко с окунем, покашлял.

— Да. Англиец — Черчилль, значит, говорит, что надо бы его, вражину, поставить перед всем народом да на перекладине и повесить, как в старину вешали, чтобы неповадно другим было. «А вы, — спрашивает, — вы, господин американской Рузвельт, как думаете?» Рузвельт это подумал и отвечает, что нечего с Гитлером и канитель разводить. Пулю в лоб, да и дело с концом, чем скорее, тем лучше. Да. Доходит, значит, очередь нашему русскому Сталину говорить. Так и так, а вы как, Иосиф Виссарьёнович? Сталин трубку, значит, набил и говорит: «А вот что, товарищи, я сам это дело не буду решать, а давайте

мы у часового вон спросим. Позвать, говорит, сюда советского часового». А часовой на посту стоял в кустиках. Значит, охранял начальство. Прибежал, доложил по уставу. Так и так, товарищ Сталин, прибыл боец такой-то. По стойке «смирно» встал, ждет, чего дальше будет. Чего бы, братец, спрашивают, чего бы с Гитлером сделал, ежели бы он сейчас в наших руках был? Солдатик говорит, что надо сперва этого Гитлера изловить, а потом бы уж говорить. Ну, а все ж таки, ежели бы он пойман был, спрашивают. «А я бы, говорит, вот что сделал. Я бы, говорит, первым делом взял кочергу от печки». Ну? — спрашивают. «Вторым делом, говорит, я бы эту кочергу на огне докрасна накалил». Ну? «Ну а потом бы и сунул эту кочергу прямо Гитлеру в задницу. Только холодным концом сунул бы». Это почему, вожди-то спрашивают, холодным? «А это, говорит, чтобы союзники не вытащили».

Федор смеется вместе со всеми, и смех его тут же переходит в долгий кашель, а Куров восхищенно качает сивой головой:

— Так и сказал? Вот ведь пес какой этот русской солдат.

— Так прямо и сказал, — сквозь кашель говорит Федор, а Мишка спросил:

— Это не ты, Иван Африканович, на посту-то тогда стоял?

— Нет, брат, не я, я тогда лежкой лежал в госпитале.

Куров все еще не может успокоиться, говорит:

— Ну и солдатик. Холодным концом?

— Ну...

— Вот вражина!

— Армянское радио, — сплюнул Мишка. — А ежели и правда, так ерунда все. Я бы на месте этого часового взял эту самую кочергу да всех подряд, вместе с Гитлером.

— Боек ты, Петров, больно. Подряд, — сказал Куров, а Федор добавил:

— В мирное время говорить легче.

— Подожди, Петров, может, дойдет и твоя очередь... — Иван Африканович вздохнул, загасил цигарку, вдавил ее в дерн. — Дело привычное. Только я дак, робята, думаю, отчего эти самые войны? Ну, главари, кому охота, сошлись бы один на один, да и били рыло друг дружке. Сквозь меня вот шесть пуль прошло, век не забыть, сколько страху пережил хоть бы и на Мурманском направлении. Я так сужу, что еще Александр Невской говаривал, что которые люди в шинели одеты, так это уж и не люди, а солдаты. Пригонили нас, помню, — по эту сторону горы мы, по ту он стоит, немец. Пошто это? Шарахает нас из стороны в сторону, минами садит, некуда плюнуть. То спереди, то сзади, то сбоку земля на дыбы встает. У его, вишь, настроеньё такоё было, чтобы мне прямо в пуп попасть, да худо, видать, целился.

— Ты вроде, Иван Африканович, на другом фронте-то был? — сказал Федор.

— Ты, Федор, лучше скажи, на каком я не был, везде был. Дело привычное. Вот девятого февраля в сорок втором высадили нас на Хвойной станции, Северо-Западной фронт. Пошли мы пешком на Волхов, оборону заняли у Чудова, голодные как волки и холодные, кусать было нечего, окромя червивой

конины. Кажинной мине в ножки поклонишься. Лежим, к смерти привыкаем. Сроду не воевывал, сердце в пятки ушло. Значит, вызывает меня командир, поставил во фрунт да как гаркнет: «Как настроенье у бойцов?» Я говорю: «Плохо!» — «Как фамилия?» — «Так, и так, боец Дрынов, личное оружие номер такой-то».— «Почему плохо?» — «Три дня ничего не ели». — «Нет других колебаний?» У нас, конешно, других колебаний не было. А только я с ноги на ногу переступил, и такое колебанье случилось, что от командира ничего не осталось, а сам я уж в Малой Вишере очухался. Повезло мне в том колебанье. Очнулся, гляжу, вохи по мне так и ползут, так и ползут, и по-пластунски и рассыпным строем. Три месяца перекатывали меня санитары с боку на бок, а потом уж только я воевать поднаучился, после госпиталя. Помню, под Смоленском пошли мы в тыл к немцу, Мишуха рязанской, да татарин Охмет, да наших вологодских двое, устькубинский Сапогов Олешка и еще один, не помню чей по фамилии. Меня, значит, старшим поставили, а надо было, кровь из носу, мостик один заминировать да еще и немца, которой повиднее, для штаба приволокчи. Ну, мы все за ночь сделали, сграбастали одного, потолще который, связали, поволокли. А он, немец-то, орет, я ему пилоткой заткнул хайло, да и поволокли. А уж совсем стало светло, как днем, и по нам с дороги палят. Еле мы до кустиков доволоклись, отпышкались да к своим поползли, пока еще совсем-то не рассвело. До леску доплюхтались, с брюха на ноги поднялись и немцу-то тоже ноги развязали, чтобы сам шел. Значит, Олешка Сапогов матерится, дай, говорит, Мишуха, ему тюму погуще, чтобы он,

паскуда, не лягался. Я говорю, стой, робята, не трогайте его, надо в целости начальству представить. Волокли, волокли, уж до нашей первой линии рукой подать, а лесок-то кончился, немцы минами лоптят, да и окопы ихние рядом, а он пилотку-то мою выплюнул да как заорет, ну, думаем, всем каюк, глотка-то у его луженая. Только заткнули ему рот, а по нам как секанет пулемет, не в зад нам и не вперед. Обозлились робята да на него, еле я их рознял, не дал им немца исколотить. Попробуйте, говорю, хоть пальцем троньте, сказано, чтобы ни одного синяка не было. Доползли, значит, немца начальству сдали. Ну, к вечеру уж пошел я к старшине в каптерку, махорка кончилась. Захожу, а в каптерке все мои дружки, и Олешка Сапогов, и татарин Охмет, ну и Мишуха рязанской там был. Раз, ни слова не говоря, меня плащ-палаткой накрыли. И давай меня молотить. «Робята,— кричу,— за что?» А оне передышку сделали да вдругорядь меня, лупят и лупят. Остановились да и говорят: «Будешь матушке письма писать?» Да опять темную мне, я уж скочурился, только бы, думаю, не по голове. «Будешь матушке письма писать?» Да и опять и опять меня, и так и эдак. Измолотили до полусмерти, хуже раненья. Вылез я. «Робята, говорю, за что это вы против меня второй фронт открыли?» Только заикнулся, оне опять меня плащ-палаткой накрыли, ну спасибо Мишухе рязанскому,— хватит, говорит, хорошего понемножку. «Будешь теперь матушке письма писать?» А я и слова не выговорю, суставы болят, разломило меня, всего расхрястали. «Попробуй, говорят, лентенанту пожалуйся, мы тебе ишшо навешаем».

...Беззубый Федор долго кашляет, топорщит рыжую от курева седину на усах. Мишка Петров смеется над Иваном Африкановичем, говорит:

— Это орден-то Славы тебе не за эту битву дали, Иван Африканович?

— Нет, не за эту, парень, а и эта битва мне тоже на всю жизнь запомнилась. С того дня, конешно, я начал письма матке писать, каждую неделю писал, а приезжаю после войны, ей не рассказываю. Ну а Славу мне за переправу благословили, а Красную-то Звезду еще до этого на Мурманском направленье. Васька! Ну-ко беги сюда!

Прибежал запыхавшийся Васька с той же рогатиной. Иван Африканович вытер ему нос.

— Я вот тебе покидаюсь, покидаюсь вот. Гляди у меня, разбей раму-то! Ну беги к матке, скажи, чтобы самовар ставила.

Васька, опять блеснув пузом с орденом Славы, побежал домой, разговор продолжался своим чередом.

— А вот, мужики,— говорит Федор,— вот, мужики, в этой войне было, значит, сперва только два героя, это Матросов Олександр да Теркин, ну а уж после их дело скорее пошло.

Мишка не стал доказывать Федору, кто такой был Теркин, и только хитро кривил губу, Иван Африканович тоже промолчал.

— Да, робята, кабы войны-то не было... — сказал Куров и завставал, засобирался домой.

— Три, Куров, к носу, все пройдет! — сказал Мишка.

— Пте-пте-пте! — вновь послышался голос Еремихи. Она все еще не может совладать с теленком,

все еще то с угрозами нахлестать, то с добрыми уговорами ходит за ним по деревне. Наконец теленок уступил ей и остановился.

— Еремиха, а Еремиха! — зовет Куров.

— Чего, дедушко, — отзывается та, придерживая теленка за шею.

— Как чего, я с тобой сколь раз уже собираюсь поговорить.

— Да насчет чего, парень?

— Да дело у меня к тебе и претензия.

— Какая это еще, милой, претензия? — испугалась Еремиха.

— А такая, что придется тебе алименты платить. Я насчет твоего петуха. Он, сотона, как только утром встанет да рот-то отворит, как ерихонская труба, да кряду и бежит к моему двору, а наша курица здоровьем худая, дралы от его, а он, дьявол, все равно догонит. Вот как настойчив, что всю курицу измолол. Кажинное утро прибежит, отшатает, да и опеть к себе в заук. Давай, матушка, плати алименты, я от тебя так не отступлюсь.

Еремиха заплевалась, а Куров, не оборачиваясь, покостылял домой. Кряхтя встал и Федор, взял уду и ведерко с пересохшим окунем:

— Заходите погулять, ежели. А ты, Миша, опять до утра наладился?

Но Мишка не слышал. Он взял гармонь и, отвернувшись от нее, заиграл, да так, что Иван Африканович только головой закачал. Мишка особенно нажимал на басы, играл он не ахти как, но очень громко, и звуки заполняли в деревне все закоулки, гармонь наверняка была слышна километров на шесть вокруг.

— От лешой, ну и лешой! — снова закачал головой Иван Африканович. — Откуда духу-то в ней столько? Как у хорошей лошади, право слово!

Три девичьи фигуры мелькнули белыми кофточками у соседнего дома. Девушки воспользовались громкой, заполнившей всю деревню игрой, подошли к бревнам. Их было трое, и все приезжие: черненькая круглолицая Надежка, белокурая и тоненькая, будто камышинка, Тоня, третью, едва оформившуюся, еще с застенчивыми полудетскими движеньями, звали Лилей. Теперь Мишке была лафа, он целыми ночами прогуливал: ведь девчушки были здешние, знакомые, хоть и молодые. В отпуск наехали.

— Что, модницы, не уломались за день-то? Поди, ведь и плясать охота? — спросил Иван Африканович.

— А тебе-то что, Иван Африканович? — Надежка была постарше и побойчее других. — Шел бы спать-то...

— Ой ты, курносая шельма, да я разве мешаю тебе? — Иван Африканович озорно вскинулся к девушкам, те замахались на него, заувертывались, а он крякнул и, не останавливаясь, потопал к дому.

Мишка заиграл, а Надежка, тут же забыв про Ивана Африкановича, тихо, словно бы не нарочно, спела частушку:

Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря,
Тихая зориночка,
Послушай, ягодиночка.

Заря и вправду была тихая. Стоило замолчать теплому Надежкиному голосу, а Мишке погасить гармонь, как все на свете топила в себе тишина, лишь комары еле-еле звенели в сумерках. Они касались этим звоном щеки и опять замирали и сгорали в бесшумной, быстро угасающей заре. Наверное, на этой тихой заре еще чище и непорочней становился Надежкин голос:

Ой, Миша, поиграй,
Миша, поиграешь ли.
У меня болит сердечко,
Миша, понимаешь ли.

Ничего Мишка не понимал. Принимая частушку в свой адрес, как должное, он бесстрастно нажимал на басы, а Надежка продолжала все смелее:

На реку ходила по воду
Дорожкой каменной...

Догадливая Тоня чуть не прыснула и сразу же грустно прижалась щекой к Лилиному плечу. Мишка уже неделю провожал Тоню домой, и вдруг позавчера, когда уходили с бревен, он подхватил под руку Надежку. Он всю ночь просидел с Надежкой и вчера, — и вот сегодня в деревне говорили об этом. А Надежка третий год ждала из армии своего суженого, это знали все, и сейчас, обидевшись за Тоню, она вздумала, видно, проучить нового кавалера.

Дроля в армию поехал,
Ничего не наказал.
Я спросила, с кем знакомиться,
На камень показал,—

снова спела она и подмигнула Тоне. Только Лиля ничего в этом не понимала. Она приехала после школы погостить в деревню (тоже совсем недавно была нянькой) и теперь, у бревен, слушала вспомнившиеся частушки.

Тоня, откликаясь на голос Надежки, тоже запела частушку:

Мне миленок изменил,
Мою подругу полюбил.
Я-то не ревнивая,
Гуляй, подруга милая.

Они, смеясь, уселись на бревнах. Надежка, отмахиваясь от Мишкиного дыма, заругалась:

— Хватит палить-то! Весь уж прокоптел, кочегар, садит и садит.

Ничего городского не пристало к этим девчушкам, так и остались певуньями.

— Тебе-то что, жалко? — Мишка обнял Надежку, а она захлестала его по гулкой спине:

— Ой, отстань, к водяному!

...Опять пришла теплая светлая ночь. Редкими криками кричал у реки дергач. Тоня и Надежка только что расплясались, когда Лилю крикнули домой. Она посидела еще немножко и ушла, а Мишка оставил гармонь и будто бы в шутку спрыгнул с бревен и пошел ее провожать. Тоня и Надежка видели, как они остановились у изгороди. Тоня притворилась, что ничего не видит, а Надежка взяла Мишкину гармонь.

— Путаник, дак путаник и есть!

Она заиграла на шести басах. Она всегда играла под свои частушки на этих шести басах, когда не было настоящих гармонистов.

Буду я косить траву,
Которая с осокою,—

запела Надежка, Тоня подхватила, и они допели частушку уже вдвоем:

Показалася мала,
Пошел искать высокую.

Им было смешно, что не поделили дома единственного кавалера, в городе у каждой было не по одному знакомому.

Запевали они по очереди:

Ты носи, товарищ, кепочку,
А я кубаночку,
Ты люби интеллигенточку,
А я крестьяночку.

Были, были ухажеры,
Были, да уехали.
Приглашали нас с тобой,
Дуры, не поехали.

Частушки у них так и сыпались. Они, смеясь, пели и на ребячий лад, на девичий, шесть басов Мишкиной гармонии еле успевали откликаться. Наконец дело дошло до самых смешных, чуть ли не с картинками:

Мне миленок изменил,
Я сказала: ох-ты!
У тебя одна рубаха,
Да и та из кофты.

— Ой, — Тоня вздрогнула от ночной свежести. — Что это мы распелись-то!

Надежка сразу умолкла, застегнула и положила гармонь:

— Не проспать бы завтра... Хотя Катерина сама дома теперь.

— Ты в избе спишь? Я дак на поветь перебралась. — Тоня начала закалывать на затылке волосы, держа шпильку в губах.

Они обе скрылись в проулке: дома их стояли рядом, сразу за палисадом Ивана Африкановича. На бревнах лежала и остывала нагретая Надежкиным теплом гармонь.

...Иван Африканович, лежа с Катериной под пологом на повети, шлепнул залетевшего комара, сказал шепотом:

— Эта Надежка-то хорошая девка, она твоих коров обряжала, бригадир попросил — не отказалась. А Тонька с телятами.

— Выросли девчоночки... — вздохнула Катерина. — Давно ли в школу бегали? Вот и наша Танюшка скоро невеста будет. Ну спи, отец, спи, завтра и тебе рано, и мне на ферму бежать.

Катерина провела ладонью по жесткой щеке Ивана Африкановича, но он уже спал, а она слышала, как сильно и ровно билось мужнино успокоившееся сердце.

* * *

Пришедшая ночь была светла и спокойна. Реку заволокло белое молоко тумана, а поле и деревни виднелись далеко-далеко. Дергач замолк, опять стало совсем тихо. Только иногда в каком-нибудь хлеве

звучал колокол жующей жвачку коровы да чей-нибудь сонный петух-недотепа трепыхал крыльями и гоготал спросонья, не зная о том, время или не время петь.

Часа через полтора опять посветлело над лесом, опять голубоватые сумерки начали таять в не успевшем охладиться воздухе и снова на бревна слетела вчерашняя синичка.

Гармошка на бревнах лежала по-прежнему. Птаха поскакала по бревнам, спорхнула на землю и поклевала оброненное девушками подсолнечное семечко.

Какой-то листок в палисаде Ивана Африкановича чуть шелохнулся, словно бы просыпаясь, и заря опять широким полотнищем охватила лилово-золотой окоем, добела раскаляя синие бока вчерашних облаков, всю ночь недвижно дремавших на краю неба. Как раз в это время Мишка Петров воровски выскочил на дорогу из калитки Дашки Путанки... Он оглянулся и, стараясь не спешить, подошел к бревнам, взял гармонию. Сытой, независимой походкой отправился домой.

Снова в деревне протопятся печи, бабы выгонят на траву скотину и, посудачив о Мишкиных и своих делах, уйдут в поле косить на силос, вновь придет на бревна бабка Евстолья с маленьким внучком, напевая, будет греться на солнышке.

Может быть, проезжие шоферы посидят на бревнах, а вчерашний корреспондент, ночевавший у бригадира, уедет с ними обратно в свою редакцию. Либо опять придет заливало Куров и будет рассуждать с Мишкой насчет союзников.

Все может быть завтра на смоляных бревнах.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. И ПРИШЕЛ СЕНОКОС

В лесу на Левоновых стожьях Иван Африканович косил по ночам для своей коровы. Днем он вместе с Анатошкой и Гришкой косил колхозное сено, помогала иной раз и Катерина: за два дня ставили стог. А по ночам Иван Африканович ходил косить для себя. Стыдно, конечно, было, бродишь как вор, от людей по кустам прячешься. Да устанешь за день на колхозном покосе, а тут опять всю ночь шарашиться.

Корова — это что прорва, всю жизнь жилы вытягивает. С другой стороны, как без коровы? Без коровы Ивану Африкановичу тоже не жизнь с такой кучей, это она, корова, поит-кормит.

И вот он косил по ночам. Потому что десять процентов сена от того сена, что накосишь в колхозе, эти десять процентов для Ивана Африкановича как мертвому припарка. Самое большое на месяц

корму, скотина стоит в хлеву в году по восемь месяцев. И вот Иван Африканович косил по ночам, как вор либо какой разбойник. Ворона на ветке лапами переменится или сучок треснет — оглядывайся, того и жди, выйдет бригадир, либо председатель, либо уполномоченный. «А что ты, — скажут, — товарищ Дрынов, в лесу делаете? А где, товарищ Дрынов, ваша колхозная совесть, с которой мы вперед идем?» Возьмут субчика под белы руки и поведут в сельсовет. Дело привычное. Ну, правда, не он один по ночам косит, все бегают.

Для коровы на зиму надо три стога минимум. С процентами да с приусадебным участком три стога, не меньше, без этих трех стогов крышка.

Иван Африканович шел вчера мимо гумна. В гумне мат грозовой и крик, навалился председатель на бригадира. Из-за косилки, что второй день простаивала. «Пустил механизм?» — спрашивает. «Где же я его пустил, ежели ножи точить не на чем», — бригадир отвечает. «А я тебе говорю, через два часа если не пустишь косилку, пеняй на себя, сниму с должности». — «А иди ты к е... матери с твоей должностью!» — это бригадир. А председатель как даст ему. Чем кончилось, Иван Африканович не узнал, поскорее прошел мимо, потому что, когда начальство бригадира колотит, лучше не ввязываться, от обоих и попадет.

И вот Иван Африканович косил по ночам. Обшаркал косой все кустики на небольшой пустовине, на добрый стожок уже скопилось травы на Левоновых стожьях. В лесу, километрах в семи от деревни. Конечно, бригадир знал, что Иван Африканович косил по ночам. Знал и Иван Африканович, что брига-

дир знал, только оба притворялись малыми ребятами и в глаза друг дружке старались не глядеть. Нынче днем встретил Иван Африканович бригадира в поле на колхозном покосе. Сметали только что стожище. Большой, ядреный стожище, что твоя колокольня. «Что, Иван Африканович, центнеров десять будет, пожалуй?» — сказал бригадир. «Центнеров десять, пожалуй, будет», — сказал Иван Африканович. «Ну, а ежли будет, дак и давай шпарь, Иван Африканович». — «Ладно, буду шпарить, — сказал Иван Африканович, — только пошто это шерсть-то у единоличных коров не в ту сторону растет?»

Захохотал бригадир и говорит, что это еще ничего, когда в другую сторону шерсть у коров, а вот когда у людей не в ту...

И пошел, а Иван Африканович обтеребил стог и начал новый закладывать, еще шире, еще матерее.

А потом, ночью, отмахал семь верст в лес, тихонько, чтобы не услышал кто, наставил косу, обкосил кустиков с полдесятка и опять семь верст обратно, еле успел к бригадирову звону позавтракать. Хорошо! Третью ночь спал Иван Африканович всего часа по два, дело привычное. Зато после каждой ночи на душе легче, — как-никак, а корову прокормит зиму. На четвертую ночь сметал первый, хоть и небольшой, но все же стожок; на шестую еще один добавил, тоже небольшой, и утром опять ушел на колхозный покос. Вечером взял с собой в лес Гришку. Хоть и не велик еще парень, а все же подмога. Гришка нес грабли, отец косу, да топор, да оселок. Пришли в лес. Гришка ртом хамкает, от комаров отмахивается, ему очень захотелось спать.

— Пап, мы тут будем ночевать?

— Не ночевать, а косить будем, — сказал Иван Африканович.

— Пошто в лесу-то? — спросил Гришка. — Ты ведь с мамой в поле косил, а теперь в лесу. Что, разве там травы больше нету?

— Нету.

— Ну, папка, ты и врун!

— Поговори у меня! — Иван Африканович взял косу. — Бери грабли да зацапывай! А я тут рядом буду...

Отец ушел косить, а Гришка оглянулся, взял грабли. Тихо было и темновато, небо за березами краснело еле-еле. Мошка с комарами ела Гришку почем зря, а ему надо было зацапывать сено, и он не понимал, почему ночью надо переться в лес да еще в такую даль. Гришка нагреб две маленьких, под свой рост, копешки, устал и сел на одну копешку. Комары и мошка совсем его закусали, лезли прямо в штаны и под рубаху. Холодно стало, пала уже роса, и Гришка сидя задремал. Потом незаметно заснул, склонился на копешку. Иван Африканович пришел, не стал его будить, накрыл фуфайкой:

— Спит работник...

Вставало солнышко, они шли домой коровьими тропами. Иван Африканович послал Гришку вперед одного:

— Беги, да ежели встретишь кого, скажи, что в поскотину теленка гонял.

— Какого теленка, пап?

— Ну, своего теленка...

— Никакого я теленка не гонял, — сказал Гришка.

— Поговори у меня!

Иван Африканович крадучись вышел прямо в поле на покос и косил весь день, до вечера колхозное сено.

Гришка спал на повети до обеда, а в обед пришел с председателем районный начальник и сел на бревнах. Они позвали Гришку:

— Мальчик, а ну принеси ковшик воды!

Гришка сбегал за водой.

— Что, нет отца дома? — спросил начальник.

— Не-е! — сказал Гришка.— Мы с папой из лесу вместе шли, а потом я убежал. Мы ночью косить ходили.

— Что-что? Ну-ка иди, мальчик, поближе. Куда, говоришь, ходили?

— Косить.

— В лес?

— Ыгы.

— Так, так. А ты нам покажешь, где это место? Мы тебя на лошади прокатим.

Гришка с великим удовольствием залез на лошадь, уселся поудобнее, держась за вельветовую толстовку незнакомого начальника. Председатель хмуро ехал рядом.

— Это по Левоновской дороге, что ли? — спросил он.

Гришка чистосердечно рассказал дорогу, они отпустили его и поехали в лес, а он, ободренный и радостный, побежал домой.

Вечером Ивана Африкановича через Мишку Петрова, который ходил выписывать запчасти, вызвали в контору. В кабинет председателя Иван Африканович вошел, будто кот-блудня, спокойно, но с внутренним сознанием своей вины.

— Дрынов? — спросил районный начальник.

— Так точно, он самый. — У Ивана Африкановича екнуло сердце.

— Вы косите в лесу по ночам для личных нужд. Вы понимаете, товарищ Дрынов, что это прокурором пахнет? Вы же депутат сельсовета!

Иван Африканович покраснел как маков цвет, он был и правда депутат.

Он чуть не плакал от стыда, мигал на табуретке и чуял, как розовели горячие уши:

— Чего уж... виноват, значит, дело привычное. Баба смутила, думаю, корова... Виноват, в общем, замарался, не будет больше такого.

Уполномоченный ударил кулаком по заляпанной чернильными пятнами столешнице:

— На правленье яснее поговорим. А сейчас марш! Чтоб духу твоего не было. «Виноват»!

Иван Африканович понуро, боком вылез из кабинета. Забыл надеть шапку и с великим стыдом, качая головой, вышел на крыльцо. Ему было до того неловко, совестно, что уши долго еще горели. Словно ошпаренные самоварным кипятком. И все-таки после этого разговора ему стало не то чтобы легче, а так как-то приятнее, будто кончилась тайная опасность, которая все это время стояла за плечами.

Вот только что с коровой делать? Без сена коровы не будет у Ивана Африкановича, а без коровы и молока не будет, а без молока не будет и денег на хлеб-сахар, уж не говоря о том, что с такой семьей без молока никакой приварок не поможет. Не напасешься никаких щей. А шут с ней, утро вечера мудренее.

Иван Африканович пошел в огород, сел отбивать

косу. И вот уж чего никак он не ожидал, так это одного дела. Он отбивал косу, плевал на кончик молотка и тюкал по бабке, плющил тонкое лезвие, стараясь не делать на нем трещин. Тюкал долго, размеренно, и уже совсем все встало на свое место, он успокоился от этого тюканья, как вдруг опять появился тот уполномоченный. Он по-свойски открыл отводок загороды и зашумел макинтошем.

— Так, так, товарищ Дрынов. Как вас, Иван?

— Африканович, — не сразу добавил Иван Африканович.

— Я к вам, Иван Африканович, на одну минуту. Закуривайте, — он протянул только что початую пачку «Беломора».

— У меня есть, только этот мелкослой, «Байкал», — отказался Иван Африканович.

— Держите, держите!

И хотя Ивану Африкановичу не хотелось «Беломору» (у него всегда поднимался кашель от переменного курева), хотя он и привык к «Байкалу», но, чтобы не обидеть человека, взял беломорину.

— Так, так, — сказал уполномоченный. — Погодка-то, а?

— Погода хорошая, — сказал Иван Африканович. А уполномоченный взял косу, потрогал, каково она насажена на косьевище. Будто и в самом деле умел насаживать косы и будто ему на самом деле было важно, хорошо ли насажена коса у Ивана Африкановича.

— Так, так.

«Неужто опять? — подумал Иван Африканович. — Вот ведь беда какая, провались это и сено».

А уполномоченный перестал такать и говорит:

— Вы, товарищ Дрынов, наш актив и опора. На кого же нам в руководстве и опереться, как не на вас? Правильно я говорю?

— Оно конешно...

— Вот и я говорю, что вы депутат. Партия и правительство все силы бросили на решение Пленума. А у вас в колхозе люди, видать, этого недопонимают, им свои частнособственнические интересы дороже общественных. Я не про вас говорю, вы свою ошибку поняли. Кто у вас еще по ночам сено в лесу косит? Вы как депутат должны нам подсказать. Вы мне перепишите всех на бумажку к завтрему. Где, кто сколько накосил. А бумажку в контору занесите для принятия мер. Договорились?

— Оно конешно...

— Вот и хорошо, что договорились. А ваши стога мы не будем обобществлять, я скажу председателю. Все ясно? Ну, будьте здоровы, а бумажку завтра занесете.

Иван Африканович нехотя подал ему свою тяжелую лапищу, и уполномоченный зашуршал плащом, вышел из огорода.

Никакой бумажки о том, где кто косит по ночам, Иван Африканович не написал. Он и не подумал ее писать. И вот теперь его склоняли по всем падежам, на всех собраниях, до того дело дошло, что он даже опять похудел. Провались все в тартарары...

— Не знаю, что и делать, Катерина... — сказал он как-то вечером. — Записали мои стожонки... Стыд. На всю округу ославили.

Катерина, как могла, начала его утешать:

— А ты, Иван, сходил бы к соседскому-то председателю. Может, тот даст покосить, в лесу-то.

Это была хорошая мысль. Иван Африканович еще тем летом перекладывал печи в конторе того, соседнего председателя, мужик он был хороший, заплатил тогда по два рубля на день.

Иван Африканович выкроил время, сходил в чужую контору, и ему разрешили косить на той, соседней территории, только чтобы потише, без шума. Они опять по четыре ночи ходили в лес вместе с Катериной. Правда, косили не подолгу. Катерине к пяти утра надо уже на дойку, да и ему к шести-семи на общий покос. Четыре ночных упряжки, косили старательно, надо было уже стоговать сено, как вдруг и приехал Митька. Шурин Митька из Мурманска, брат Катерины, не больно надежная опора Евстольиной старости.

2. ФИГУРЫ

Он приехал ночью, уже под утро, на запоздалой леспромхозовской машине, что везла на лесоучасток горючее. Слез у бревен Ивана Африкановича, поглядел вослед машине: шины все еще выписывали в дорожной пыли громадные восьмерки. Митька махнул рукой: доедет, — видать, не первый раз... Митька покурил на бревнах, деревня спала. «Дрыхнут, — подумал он. — Вот жизнь».

Денег у него не было ни копеечки. Все деньги просадил, пока ехал из Заполярья, не было и чемодана с гостинцами и шерстяного свитера.

Митька без большого труда открыл запертые изнутри ворота. В избу заходить не стал, а поднялся на поветь. Постель под пологом оказалась пустая. Он разделся до одних трусов, снял даже тельняшку

и завалился спать, проспал чуть не до обеда, а днем, чтобы не слушать маткиных нотаций, подался на улицу. Евстолья — мать: хоть и ругала его, однако накормила на славу, и он вышел на солнечную улицу, сходил в огород, сорвал и пожевал горькое перышко лука, зашел в баню, посидел на приступке. Ни зятя Ивана, ни сестры дома не было, и Митька пошел по деревне, увидел Курова, который у крыльца насаживал чьи-то грабли.

— Здорово, дедко! — Митька остановился.

— Здорово, брат, здорово. Вроде Митрей.

— Ну.

— Вот и хорошо, что родину не забываешь. Каково, брат, живешь? Не завел сберегательную-то?

Митька безнадежно махнул рукой и пошел дальше, такие разговоры были сейчас совсем ни к чему.

Пусто в деревне. Вон только у скотного двора какие-то звуки. Митька направился туда и встретил еще одного старика — Федора, он ехал от фермы на телеге с бочкой.

— Привет, дед!

— Тпррры! Стой, хромоногая. Доброго здоровьица. Не Митрей? Вроде Митрей, Катеринин брат. — Федор остановил кобылу, сидя козырнул Митьке. — То-то Евстолья-то уж давно говорила, что сулишься. Надолго ли к нам?

— Да недельки две поживу, а там видно будет. — Митька угостил старика куревом, спросил: — Чего возишь-то?

— Да вот за водой езжу по четвертый день. Ноне я, Митрей, воду вожу. Всю зиму солому возил, а теперь по другому маршруту.

— Что так? — Митька пришлепнул кучу оводов

на кобыльем боку. Равнодушно поглядел на окровавленную ладонь, вытер о траву.

— Вишь оно как получилось, — сказал Федор. — Старый-то хозяин вздумал в прошлом году водопровод провести коровам. Ну, установили всё, эти трубы, поилки, колодец выкопали, а Мишка Петров насос и движок поставил. До этого-то доярки воду на себе таскали, по колодам. Ну, а как учредили водопровод, мы колоды-то эти все и выкидали да истопили, — куда, начальство говорит, эти колоды, ежели автопоилки есть. Механизация, значит. Да. Тпрры, дура старая! Не стоит никак, оводы вишь.

Федор был рад поговорить с новым человеком.

— Значит, спервоначалу-то хорошо качали, Мишка вон качал, вода в колодце была, а потом хлесть, вода кончилась, одна жидкая каша в колодце-то. Пырк-мырк, нет воды. А третьего дня председатель ко мне нагрянул. Бери, говорит, срочно лошадь, марш воду возить. Я говорю, куда возить-то, и бочка рассохлась, и колоды истоплены. Не твое, говорит, дело, вози в колодец. Я, конешно, поехал, мое дело маленькое, только что, думаю, за причина? Слышу, доярки судачат, что начальство едет из области. Пока начальство по тем бригадам шастало, я раз пятнадцать на реку-то огрел, полколодца воды набухал. Распряг свою хромоногую, гляжу, начальство приехало, с блакнотами по двору ходит, а Мишка движок запустил и давай мою воду из колодца качать. Ходят, нахваливают. Я, конешно дело, молчу, а про себя-то думаю да по кобыле по репице лодонью хлопаю: «Вот вы где все у меня, вот где».

Митька хохотал, сидя на траве у телеги, а довольный Федор попросил еще папироску.

— Только вот, Митрей, что антересно. Моя кобыла-то еще зимой до того привыкла солому возить, что с закрытыми глазами по тому маршруту ходила. Идет да спит, дорогу от фермы ко скирдам как свои пять пальцев на ощупь знала. За вожжи дергать уже не надо было. Ну а теперь-то я с ёй и мучаюсь и грешу. Надо к реке ехать, а она воротит в открытое поле. Но, хромоногая, поехали! Куда опять норовишь? Опять на старый маршрут, чистое мне с тобой наказанье. Что значит привычка для животного.

Разговор с Федором сильно развеселил Митьку. Он поглядел на запястье: золотые ленинградские часы, купленные с последнего рейса в Норвегию и как-то уцелевшие, показывали четверть второго. Если идти сейчас же в центр, на почту, то можно еще успеть послать телеграмму. Закадычному и верному дружку судовому электрику Гошке Вавилину.

Тот не подведет, в лепешку разобьется, а сотню достанет и пошлет телеграфом. «Ладно, успею и завтра, — решил Митька. — А пока займу у сестры или у Мишки Петрова». Надо же было отметить приезд?

Митька так и сделал.

Он весело, в каждой избе, выкидывал трешники и козырем ходил по деревне, а бабы с восхищением ругали его: «Принес леший в самый-то сенокос, ишь харю-то отъел. Только мужиков смущает, сотона полосатой».

Впрочем, в последнем намеке на Митькину тельняшку справедливости было уже мало, тельняшка в первый же день перестала быть полосатой. Евстолья дала Митьке рубаху Ивана Африкановича. Но Мить-

ке в общем-то было уже все равно, какая рубаха висит на его кособоких плечах. Он то и дело посылал племянников за «горючим» в лавку, и ребятишки бегали охотно, поскольку деньги за пустые бутылки шли для них, на конфеты и пряники.

На третий день Митькиного загула пировали в избе у Мишки Петрова. Митька клонил голову на Мишкину гармонь. Он пел, осыпая пеплом папиросы гармонные мехи. И в перерывах между куплетами с горьким отчаянием растягивал губы, обнажая зубной оскал:

Течет речка, течет речка,
Серый камень точит...

Мишка, не зная слов, восторженно вскидывался, хотел подпеть и тут же затихал, а Пятак тоже добросовестно пытался понять Митькину песню. А Митька, с выдохом, со слезой и ни на кого не глядя грустно пел свою песню:

Их, маладой жулик, маладой жулик
Начальничка просит:

— Ты, начальничек, ты, начальничек,
Атпусти да дому...
И эх, саскучилась дорогая,
Что живу в неволе.

— Атпустил бы тебя да дому,
Да боюсь, не придешь.
Эх, ты напейся вады халодной,
Пра любовь забудешь.

— Пил я воду, пил я белую,
Пил не напивался,
Всю-то ноченьку, ночку целую
С милой целовался...

Течет речка, течет речка,
Серый камень точит...

Митька вдруг резко прикрыл гармонь:

— Ладно... Не унывай, мальчики. А ты, дед, чего, а? Пей! А мне до лампочки...

— Так он чего, — спросил Куров, — отпустил его начальник-то?

— А мне до лампочки... Кого?

— Да этого, что пел-то...

— А-а... Отпустил. — Митька, не чокаясь, сглотнул стопку. — Оне отпустят... Держи карман.

— А?

— Отпустил, говорю.

— А вот когда я в Сибире был, дак...

Никто почти Курова не слушал, все говорили каждый о своем, и Куров вежливо прислушался. Мишка начал рассказывать, как Иван Африканович сватал его на Нюшке и как они ночевали в Нюшкиной бане.

— Постой, а где же Африканович? — оглянулся Митька и послал какого-то племянника за Иваном Африкановичем. Сам же отложил гармошку, распечатал очередную посудину. Мишка взял гармонь, яростно спел частушку:

Я мальчишко хулиган,
Меня не любят девушки,
Только бабы небаские,
Да и то за денежки.

Кроме Мишки и Митьки за столом сидели Куров да Мишкин дядя по прозвищу Пятак, тот самый, кому когда-то Иван Африканович променял библию и который запаял самовары.

Старик Федор, как выразился Митька, уже давно скопытился и попал не на тот маршрут: одетый храпел на Мишкиной лежанке.

— А вот что я тебе, Митрей, скажу, — рассуждал Пятак, — ежели тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъедутся.

— Да вас давно надо бы всех разогнать, — сказал Митька и, как бы стреляя, указательным пальцем затыкал то в сторону Пятака, то в сторону Мишки. — Кхы-кхы! Чих!

— Это как так разогнать?

— А так. Я бы на месте начальства все деревни бензином облил, а потом спичку чиркнул.

— Антересно! Антересно ты, Митрей, рассуждаешь! — Пятак покачал головой. — А чтобы ты, милой, жевать-то стал? Вместе с начальством твоим?

— Дак ведь от вас все равно что от душного козла, ни шерсти, ни молока.

— Так-то оно, конешно, так, — раздумчиво согласился Пятак. — Только вишь дело-то какое.

Он показал на репродуктор, передавали последние известия.

— С Москвой-то у нас связь хорошая. Москва-то в нашу сторону хорошо говорит. А вот бы еще такую машину придумать, чтобы в обе стороны, чтобы и нас-то в Москве тоже слышно было. Вот сам знаешь, в колхозе без коровенки нечего и думать прожить. Есть коровенка — живешь, нету коровенки, хоть матушку-репку пой. А ей, вишь, коровенке-то, сено подай кажинную зиму. Да. Я, значит, о прошлом лете поставил стожок в лесу, да и то на другой территорие по договоренности с тем председателем.

А наши приехали да и увезли. Я, значит, в контору, я в сельсовет. Я, брат, в кулак шептать никогда не буду. До райисполкома дошел, а свой прынцып отстоял.

— Вернули сено? — спросил Митька.

— Оно конешно, сено-то не воротили...

— Ну, а нынче как?

— Теперече я хитрей буду. Мне тот суседский председатель опять косить разрешил. Вон Иван Африканович ноне тоже в лесу покосил, тоже ему тот хозяин разрешил, только, говорю, пустая у тебя голова, Африканович.

— Почему? — спросил Митька.

— А потому, что фигуры у него не те. Надо фигуры ставить такие, как у тех стогов, которые в суседском колхозе. Оне, наши-то, и не разберутся, которые чьи фигуры, сено-то увезти и побоятся. А пошто бы так-то? Ведь один бес, каждое лето покос в лесу остается, трава под снег уходит. Нет, не моги покосить для своей коровы — и весь протокол. Пусть трава пропадает, а не тыкайся. Я-то ладно, я накошу по суседским фигурам. А ведь у другого своя голова не сварит, вот ему-то что? Либо шестой палец вырастет, либо нож в горло своей коровенке. Нет, Митрей, толку тут не дощупаться. Иной раз баба облает, а то здоровье споткнется, ну, думаю, не много и жить осталось, леший с ней, и с жизнью-то. Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, а чего варить будут?

Митька захохотал изо всей правды, по-настоящему захохотал, а в это время и зашел в избу Иван Африканович. Только не надо было ему заходить. Это уж точно, зря, на свою беду зашел. Сначала он

не пил, отказывался, отставлял стопку, но Митька зорко следил за всеми, чтобы пили и от дела не увиливали, и Иван Африканович постепенно заговорил по-другому. Уже потом, после дела, он думал, что не надо было ему терять контроль и так напиваться, но русский человек умен задним умом. И вот незаметно для себя Иван Африканович поднакачался, хоть на ногах и крепко стоял, но все же не то что трезвый.

Вскоре всей компанией, с гармонией вывалились плясать на улицу, к бревнам Ивана Африкановича. Даже хромой Куров прикостылял, хотя и с большим запозданием, когда Митька уже играл на гармони, а двоюродный Мишкин дядя, по прозвищу Пятак, плясал с Мишкой на перепляс.

— А ну-к! — Иван Африканович то и дело порывался встать и тоже идти плясать. — Ну-к я сейчас, дайте, робята, я пойду!

— Сиди, Иван Африканович, ты и плясать-то не умеешь, — сказал Мишка Петров.

— Это я-то не умею? Это Дрынов плясать не умеет?

— Конешно, где тебе супротив молоденьких, — сказал Куров, глядя, как вытопывает Мишка.

И вот тут-то Иван Африканович и заскрипел зубами:

— Это я-то плясать не умею?

— Сиди, сиди, Африканович,— остановил Мишка.

— А ну, мать-перемать, дай круг!

Иван Африканович, покачиваясь, встал с бревен. Митька наяривал на гармошке, помогал губами. Мишка Петров даже не взглянул на Ивана Африкановича, плясал и плясал.

Мне товарищ поиграет,
Веселиться буду я,
Супостаты, со сторонки
Поглядите на меня.

Только спел Мишка эту частушку, а Иван Африканович схватил новый еловый кол и на Мишку:

— Это я плясать не умею? Это я со сторонки? — и как хрястнет об землю. «Сдурел, что ли?» — сказал Мишка и попятился, а Иван Африканович замахнулся, а Мишка побежал от него, а Иван Африканович за ним, а в это время Митька на бревнах засмеялся, и Иван Африканович с колом на Митьку, а Митька побежал, в избе скрылся, а Иван Африканович на Пятака. Пятак от него в загороду.

— Рррых! — скрипел Иван Африканович зубами. Он дважды пробежал с колом по всей деревне, всех разогнал, вбежал в избу к Мишке Петрову, сунул ему кулаком в зубы, Мишка на него, навалились вместе с Пятаком, связали у Ивана Африкановича полотенцем руки и ноги, но Иван Африканович еще долго головой норовил стукнуть Мишку и скрипел зубами.

— Не те у тебя фигуры, Африканович, не те,— говорил Пятак, и голова у него клонилась все ниже, ниже, пока он не захрапел, навалившись на стол.

3. ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

Далеко за полдень, после вылазки Ивана Африкановича, деревня понемногу начала успокаиваться. Только иные бабы, прежде чем идти куда, оглядывались и, уже убедившись, что все спокойно, шли.

В избе Мишки Петрова на полу спал связанный, пьяный и потому безопасный Иван Африканович, спал и пьяный Пятак, спал и старик Федор. Только

Куров не спал, он не напился, поскольку был всех похитрее, в придачу он числился сторожем на ферме.

Хотя летом ему почти нечего было делать на дворе, он все же отправился туда. Пришел, хромой, по батогу в каждой руке, сел на бревно.

— Это чего там мой-то наделал? — спросила Курова Катерина.— Напьются до вострия да и смешат людей-то.

— Да чего, ничего вроде. Поплясать не дали, вот и вышел из всех рамок. А так ничего. За телятами-то все ты ходишь аль сдала кому?

— А кому я их сдам-то? Ладно вон Надежка еще пособляет. Спасибо девке.

— Не ушло начальство-то?

— Вон в водогрейке сидят, пишут чего-то.

Начальство, о котором спросил Куров, как раз выходило из водогрейки. Это был председатель колхоза вместе с тем самым приезжим из района, что предлагал Ивану Африкановичу написать список людей, которые косят в лесу по ночам.

— Ну, теперь, Леонид Павлович, в телятник,— сказал председателю приезжий. Телятник стоял рядом. Красивая, крепконогая Надежка сверкнула на них яблоками своих глазищ, убежала в коровник.

—Надежка! — Куров погрозил одним из батогов.— Опять ворота открыты оставила!

Однако Надежка не слышала, и Куров, как конвой, с батогами пошел следом за начальством, слушая разговор. Приезжий важно стукал ногой в перегородки, принюхивался и заглядывал в стайки.

— Что, Леонид Павлович, не сделали еще наглядную-то? — спросил он председателя.

— Наглядная, Павел Семенович, будет.

— Когда?
— Заказали в городе, будет наглядная.
— Успеет к совещанию животноводов?
— Нет, Павел Семенович, к совещанию не вывернуть,— сказал председатель.
— А ведь дорога ложка к обеду, Леонид Павлович.
— Будет, будет наглядная.
Куров не успевал ходить за ними и опять сел на бревно, блаженно потыкал батогом в землю. И вдруг он услыхал Мишкин пьяный голос:

Сами, сами бригадиры,
Сами председатели,
Никого мы не боимся,
Ни отца, ни матери.

Мишка шел с Митькой к ферме, оба слегка покачивались, и Куров начал делать им предупреждающие знаки, чтобы не ходили. Но где там! Оба дружка правились прямиком к ферме. «Ну и бес с ними,— подумал Куров,— сами на глаза уполномоченному лезут. Ну и прохвосты!»
Между тем прохвосты увидели начальство, а начальство увидело прохвостов.
Митька козырнул:
— Здравия желаю!
— Кто такой? — спросил приезжий председателя.
— А-а, гость, дачник,— отмахнулся председатель.
— Покажите ваши документы! — уполномоченный подошел к Митьке.— Где работаете? В отпуске?
— Так точно! В отпуске! — Митька опять козырнул.— А теперь вот третий день... поднимаю сельское хозяйство.
— Я тебе говорю, документы есть? В какой организации?

Митька с серьезным видом порылся в заднем кармане брюк, вынул какую-то бумажку.

— Так...— Уполномоченный начал читать.

Вдруг он побагровел, разорвал Митькин мандат, повернулся и пошел.

— Мы еще разделаемся с тобой! — обернулся он напоследок.— Ты у меня еще попляшешь. Отпускник!

Митька хохотал на глазах у перепуганных доярок и хлопал себе по ягодицам.

— Ой! Начальничек. Ой! Перекурим, что ли?

Однако начальство уходило все дальше и ничего не слышало. Пока Митька перекуривал и рассуждал с Куровым, Мишка ни с того ни с сего запустил движок в будке, потом незаметно присоседился к Надежке, свалил ее на солому и начал мять, а Надежка весело визжала и отталкивалась ногами и руками.

— Надежка! — позвал Куров, когда ребята ушли в будку.— Ступай сюда, чего я тебе скажу-то.

— Чего, дедушко? — Надежка все еще рдела щеками и не могла отдышаться.

— А вот что. Ведь этот Мишка-то все время из-за тебя на ферму ходит, вроде бы и сторож-то я, а он тут все дни проживает. Только ты придешь, а он тут и есть, прикатил. Самая ты для него наглядная-ненаглядная. Пра!

Надежка сказала: «А ну тебя!» — и убежала в телятник.

Старик поднял разорванную надвое Митькину бумажку, расправил, сложил и, откинувшись, шевеля усами, начал старательно читать по складам:

— «Про... проти... тиво... зачат... Противозачаточи... очное сред... средство. Противозачаточное средство. Спо... способ упо... употребления». Ишь,

мать-перемать! — Куров бросил бумажку и растер ее каблуком. — Митрей? Я думал, ты ему бланку на гербовой бумаге вручил, а у тебя тут воно какая директива. Это чтобы алиментов помене платить?

— Ну! — Митька расхохотался. — А тебе, дедко, не надо такого лекарства? У меня есть.

— Нет, парень, не требуется. Меня уж на том свете с фонарями ищут. Не боишься, что в сельсовет-от вызовут?

— Мне ваше начальство, знаешь... Я его в гробу видел. В белых тапочках.

— Чево?

— До лампочки.

Куров не понял, что значит «до лампочки», переспрашивать постеснялся, сказал:

— А вот я в Сибире был, так там уполномоченных-то уважают, не то что у нас. Туда на мягкой машине, обратно на машине, а как привезут, кряду барана режут. В другой раз оне уж и знают, в какой дом идти. У меня в дому тоже, помню, после войны уполномоченные стояли. Иной все лето живет, а осенью ему, значит, замена приходит. Один раз приехал новый, ушел вечером собраньё проводить. А ко мне мужики пришли покурить. Олеха-сусед говорит: «А что, робята, давно думаю об одной загвоздке». — «О какой загвоздке?» — «А о такой, что охота мне узнать, чего оне в портфелях носят. Такие портфели толстые, как пузыри, и застежки светлые». — «Как, говорю, чево, бумаги всякие, дерективы. Ну, квитанции там... Списки какие». Я, значит, только до ветру вышел, а мужики в это времё спорить, кто одно говорит, кто другое. Взяли да и открыли портфель-то, он за шкапом стоял. Давай, говорят, поглядим, да и дело с концом,

чтобы не было у нас разногласия и сумненья. Открыли, да и хохочут, в портфеле-то пол-литра белой. Ну и бумаги, конешно, списки...

— Да ну? — Митька словно бы обрадовался.

— Вот тебе крест, проверили. А вот которые еще до колхозов ходили, те ни-ни. Строгие были, ни себе, ни людям спуску не давали. Все ходили в одной форме, голос подавали, только когда собраньё.

Куров помолчал, глубокомысленно и неспешно потыкал батогом в землю, поглядел на небо:

— Прежде, робята, не так. Прежде уполномоченный придет, и глядеть не на что — кожа да кости. Ходили больше сухие, тонконогие, жидель на жиделе. А теперече уполномоченный пошел сплошь густомясый. Поглядишь, что клубочки катятся. Так у вас что, Иван-от Африканович как? Все еще в африканских веревках? Спит?

— А чего ему сделается! Пробудится, дак развяжем.

И Митька с Мишкой будто по команде повернули головы: из водогрейки как раз выходила Надежка.

4. МИТЬКА ДЕЙСТВУЕТ

Ну Митька! Иван Африканович не мог надивиться на шурина. Пес, не парень, откуда что и берется? Приехал гол как сокол, даже и чемодан в дороге упек. Недели не прошло — напоил всю деревню, начальство облаял, Мишку сосватал, корову сеном обеспечил. И все будто походя. Так уж ловко у него все выходило, что Иван Африканович только моргал да качал головой и боялся близко к нему подходить, такой он разворот взял, лучше не подступаться.

В тот раз, когда загуляли, забурились, в тот раз Иван Африканович очнулся на полу в Мишкиной избе. У самого носа лежала и воняла недокуренная цигарка — больше ничего не видно было, потому что Иван Африканович лежал ничком. Хотел повернуться — не может повернуться. Голова гудела колоколом, в брюхе пусто и тошно, будто притянуло весь желудок к одному ребру. Нет, это не ремесло, так пить... Вся беда, все горе от этой водки, чтоб она провалилась вся, чтобы сгорела огнем. Здоровье людям губит, в семьях от ее, проклятущей, идут перекосы. Вся земля вином захлебнулась. Уж сколько раз Иван Африканович закаивался выпивать, нет, очухаешься, приоперишься маленько, глядишь, опять повело, опять где-нибудь просочилась. А все дружки-приятели. Одному Ивану Африкановичу давай за так — не надо, а ежели люди да попало немножко — и пойдет шире-дале, не остановишься. Сперва вроде хорошо, все люди кажутся добрыми, родными, всех бы, кажись, озолотил, всех приголубил, и на душе ласково, радостно. А потом... Очнешься, душа болит, как будто кого обокрал, не рад сам себе, белому свету не рад. Нет, это не ремесло. В тот раз Иван Африканович очухался на полу, ни встать не может, ни шевельнуться: «Робята, однако, все ладно-то?» А они гудят за столом, решают, развязывать Дрынова или погодить. Митька говорит: «Пусть полежит в таком виде».— «Нет, надо развязать,— это Мишка Петров доказывает,— я Ивана Африкановича, как родного брата, уважаю, я...» А Иван Африканович спросил: «Дак я чево, связанной разве?» — «Ну!» — это Митька говорит. «Дак чево, неладно, что ли, чего наделал?» — «Все,— Митька говорит, — все ладно, только

Пятака прикокнул, вон Пятак мертвый лежит, а так все ладно».

У Ивана Африкановича обмерло сердце, когда Митька развязал полотенце: Пятак и правда лежал на лавке и не шевелился. А Митька говорит: «Вон за милицией подвода ушла». Ивана Африкановича прошибло цыганским потом, руки-ноги затряслись, подошел к Пятаку. Слушает, а Пятак храпит в две ноты, сразу отлегло. Нет, это не ремесло. Митька налил Ивану Африкановичу чайный стакан, с горушкой налил, давай, говорит, на помин Пятаковой души, а Иван Африканович не взял, пошел домой, а Митька остался, и дома теща с Катериной в четыре руки целые сутки пилили Ивана Африкановича. Дело привычное. От Митьки-то они еще раньше отступились. Беда! Он и домой-то редко показывался. Ночевать приходил не вечером, а утром. «Привет, архаровцы!» — с порога кричит. Спутались они с Мишкой Петровым не на шутку, пьют вместе, на тракторе ездят, а недавно вздумал Митька Мишку женить...

Вышло так, что вся деревня два дня только и говорила об одном деле.

Дашка-Путанка напоила Мишку каким-то хитрым зельем. Мишку рвало весь вечер, а может, и не от этого, но то, что Дашка навела приворотного зелья, это уж точно, а то, что Мишка нечаянно выпил это зелье,— тоже точно. Он выпил приворотное зелье, потому что уже не разбирал, что в стакан налито, и его начало корежить, потом он уснул, а Дашка пошла ругаться с Надежкой. Она подкараулила Надежку у изгороди и накинулась на бедную девку: ты, дескать, и такая, ты и сякая, ехала бы туда, откуда приехала, у тебя, мол, и подол короток, и зубы железные, а На-

дежка и не думала с ней из-за Мишки ругаться, взяла да пошла от Путанки, а Дашка в нее щепкой кинула и кричит на всю деревню и руками машет. Вот дура толстопятая!

Иван Африканович сам слышал, как Дашка ругалась, полезло из нее невесть что, под конец разошлась так, что начала сыпать с картинками. Стыд. На что только не способны эти бабы, особо когда в раж войдут, а ежели из-за мужика, так они и совсем ничего не замечают. Нет, конешно, не всякая. Вон у него Катерина не такая, она бы не стала ни кричать, ни позориться...

Надежка с Путанкой связываться не стала. Она и взаправду на другой день уехала,— может, у нее отпуск весь вышел, а может, и просто так, взяла и уехала от греха. Мишка пробудился, Надежки-то уже не было. Махнул рукой: хы, подумаешь! И опять к Дашке, уже через парадный ход, раньше-то ходил через задние ворота, проводит Надежку и шмыгнет к Путанке ночевать, только через задние ворота. Теперь пошел в полный рост и прямо в парадные ворота, а Дашка, видать, подумала, что наговорное зелье действует, навела для надежности еще, да и развела его водкой. Только поставила это пойло Мишке на стол, вдруг Митька в избу, без Мишки ему ни жить, ни быть, прямо к Дашке и заперся. Садится Митька за стол, наливает без спросу и пьет, и сразу аж веко у него задергалось. «Это чего у тебя, хозяйка, зубровка, что ли?» — спрашивает. А Дашка сердится, не любо, что Митька цельный стакан зелья зря извел, сама не своя побежала к шестку, потом к залавку, несет бутылку новую, нераспечатанную. И все подставляет Митьке бутылку-то да приговаривает:

«Вот, Митрей, ты пей из этой, это-то свежая, это-то свежая!» Митька говорит: «Подожди, хозяйка, и свежая от нас не уйдет, а вот из этой еще... Где, говорит, покупала, вроде на туземский ром смахивает. Аж глаз выворачивает». Раз по разу, выдул Митька всю бутылку Мишкина приворотного зелья, а что там было наведено, это известно одной Дашке Путанке. То ли куриный помет с сушеными пауками, то ли без пауков. Неизвестно. Только Мишке мало досталось из первой бутылки, и Дашка готова была Митьку разорвать. Митьку же надо было ей не ругать, а озолотить, потому что на другой же день по Митькиному наущению все трое поехали на Мишкином тракторе в сельсовет, и Дашка с Мишкой расписались, и вся деревня только об этом и судачила. Вот какой пес.

Женил Дашку на Мишке, приходит домой. «Привет, архаровцы!» Конечно, архаровцев у Ивана Африкановича много, окружили его, а он одному конфет горсть, другому горсть, по избе ходит как по палубе. Ивана Африкановича дома не было, косил с Катериной на другой территории. Евстолья и рассказала Митьке все приключения насчет сена. Митька слушал, слушал и говорит: «Эх, вы!» Взметнулся и чай не допил. Уже после Иван Африканович узнал, что Митька с Мишкой прицепили сани и махнули прямо на Левоновые стожья, где Иван Африканович косил по ночам. Люди все были на работе, никто не видел, куда трактор с санями ушел, часа за три все дело было обтяпано. Оба стога навалили на сани, привезли к повети, перекидали в одну секунду, все шито-крыто. И все бы, может, и обошлось, быть бы Ивану Африкановичу с сеном, кабы не эта Дашка Путанка...

В тот день Иван Африканович пришел с покоса

пораньше, была суббота, и давно собирались топить баню. Митька с Мишкой ездили на машинах за обменными семенами для озимового сева, приезжают опять навеселе. Мишка уж и жить перебрался к Дашке в дом, успел и крылечко поставить новое. Сидят Митька с Мишкой на новом крылечке, а Дашка тоже баню топила. Истопила честь честью. В баню молодым надо идти вместе, а Мишка уж совсем веселый, с собой, видать, вина привезли. Дашка подождала, видит, не дождаться мужика в баню идти, взяла веник и пошла мыться одна. Мишка с Митькой насчет компрессии спорят, а трактор у дома стоит, а Мишка с Митькой опьянели совсем и спорят. Взяли и завели трактор, поехали по деревне, чего-то друг дружке доказывают. То остановятся, то опять нечередом вперед ринутся. Вдруг Мишка остановился и кричит: «Стой, а где моя баба?» — «Как где,— Митька говорит,— в бане моется».— «Да нет,— Мишка говорит,— не та баба, что в бане, а та баба, что голая».— «Конешно, голая,— говорит Митька,— что ей в одежде мыться-то, что ли?» — «Да не та,— Мишка тыкал пальцем в стекло,— а эта, что на картине-то». Тут и Митька понял, про какую голую бабу Мишка спрашивает. Картины на стекле и правда не было. Разъерепенился Мишка, начал за ребятишками бегать: «Вы картину из кабины уперли! Я вам все ноги переломаю, ежели не представите. Вы взяли?» Ребятишки перепугались, кричат: «Не мы, дядя Миша, не мы!» — «А кто?»

И тут Мишке рассказали, что картину еще утром Дашка из кабины вытащила и сожгла в печи и что все видели, как она эту картину со стекла сдирала и в кабину сама лазала, а Митька говорит, это она от ревности сделала, а Мишка раз в кабину и на трак-

торе к Дашкиной бане. Подъехал к самому предбаннику, кричит: «Где картина?» И газует, чтобы Дашка выглянула, а Дашка не выглядывает, тогда Мишка развернулся и на баню трактором, хотел спихнуть баню прямо в речку. Митька хохочет, а Мишка баню с молодой женой в реку трактором спихивает. Дашка выскочила из бани голая, веником закрывается, ревет на всю деревню и Мишку ругает, а Мишка, видать, увидел ее голую и одумался, но баня была на метр с места сдвинута и каменка развалилась.

Иван Африканович увел Митьку домой и чем дело кончилось, не знал, только на другой день — бах! — приезжает тот уполномоченный и с участковым милиционером, и в деревне пошел разговор, что Мишке с Митькой дадут теперь по десять суток за мелкое хулиганство, а Дашка уполномоченного уговаривает, чтобы не делал ничего, а уполномоченный зря, что ли, милицию вызывал? В придачу Мишка своротил у трактора обе фары, радиатор испортил, а уполномоченный и Митьку еще с того разу запомнил. Ну, беда, у Ивана Африкановича заболела душа. Совсем стало не по себе, когда взяли двух понятых и пошли начальники к этой проклятой бане. Они обошли ее кругом — баня была сдвинута не на метр, а на восемьдесят сантиметров, всё вымеряли, заходят вовнутрь... Дашка ни жива ни мертва рядом стоит, руки дрожат, вот-вот завоет. «А это что такое? — спрашивают. — Откуда у вас это сено?» Весь чердачок бани был забит сеном, и уполномоченный поглядел на Дашку: «Я вас спрашиваю!» — «Из загороды... Свое загородное...» — «Какое же загородное, если у вас еще и загорода не кошена!» А Дашка как заревет. Уполномоченный послал кого-то, чтобы сбегали в

контору за председателем, председатель приехал, нашли бригадира. Дело привычное. И вот проклятая баня навела начальство на мысль проверить у всех. До вечера ходили по баням, по дворам, описывали сено, дошла очередь и до Ивана Африкановича...

И загремел Митька вместе с Мишкой в районную милицию. Уж не за баню, а за сено. Иван Африканович только успел свозить сено со своей повети на колхозную ферму, слышит, теща Евстолья причитает, ребятишки в избе ревут, корова стоит у крыльца не доена и тоже трубит, просит доиться, а Катерины нет и Митьку вызвала милиция.

5. НА ВСЮ КАТУШКУ

Два дня Иван Африканович ходил как в тумане — от Митьки ни слуху ни духу. Мишки тоже не было, боком вышло ребятам лесное сено. «Посадят, дадут по году обоим»,— думал Иван Африканович, и душа болела у него больше и больше, не мог найти себе места. На третий день Иван Африканович не утерпел, поехал в район. Взял передачу для Митьки (Евстолья положила в сумку пирог с рыбой и полдесятка яиц) и поехал.

Машина грузотакси хлопала на ветру брезентовым верхом. Ездока летом хоть отбавляй, кузов набит битком. Иван Африканович проголосовал. Шофер был обязан остановиться, поскольку возил людей специально, а в кузове зашумели как в улье:

— Некуда, некуда!

— Одного-то можно.

— Ежели не из всего лесу, дак войдет, а то некуда!

Иван Африканович еле втиснулся. Поехали. И сразу все успокоились, доверительные разговоры огоньками зашаялись в трех местах. Машину сильно тряхнуло, и места сразу стало больше.

— Пузо-тряси, а не грузотакси.

— Ой, ой, варенье-то потекло!

— Ты бы, бабушка, шла сюда, тут лучше тебе будет.

— Ну и ну, пьяный, что ли, он?

— А я так скажу, что ежели у шофера дорога в глазах двоится, так это хуже всего, обязательно перекувырнемся. А лучше, ежели у него три дороги в глазах, чтобы по середней ехать.

— Отсохни у тебя язык.

— Право, лучше.

Проехали две деревни, в третьей опять остановка. Две девушки-отпускницы торопливо целовались с плачущими матерями. Из машины глядели, как они прощаются.

— Хватит вроде бы целоваться-то,— сказал тот же дядька, который рассудил насчет тройной дороги.— Вот меня так давно уж никто не целовывал.

— Поди слезь, да и тоже....

— Зубы, брат, худые. Да и баба у меня... Такая стала злая, не знаю, кто ее, такую сотону, и родил.

— Теща же и родила,— заметил кто-то.

— Одна была-то?

— Баба-то? Одна. Да и с этой греха не оберешься, вся моя комиссия, видать, кончилась, устарел. А теперь поди возьми ее в руки, ежели все законы на бабской стороне, все точки-запятые. Нет, брат, я и с одной маюсь теперече.

— А вот, говорят, у иранского прынца двести штук, дак тут-то как?

— Да ну?

— Точно.

— Его, наверно, и кормят зато. Не выпивает?

...Иван Африканович в обычное время обязательно бы включился в разговор, но сегодня ему было не до иранского «прынца». Митька не выходил у него из головы. Посадят парня, из-за этого сена посадят, а шут бы с ним, с сеном, как-нибудь бы... Нет, поехали, наворотили оба стога. Те, что Иван Африканович накосил по ночам и которые обобществило начальство. Мало было самому расстройства, еще и Митьку втянул. Стравил парня, да и Мишке тоже несдобровать.

Высадившись, Иван Африканович сразу же направился в милицию. И вдруг услышал оклик:

— Дрынов? Ты чего здесь?

Иван Африканович обернулся, его верхом на жеребчике догонял председатель.

— Да вот, насчет Митьки... Узнать, как чего.

— Я бы этого Митьку... знаешь. Близко к деревне бы не пустил.— Председатель слез с жеребца.— Вон из-за него озимой сев сорвем.

— Это почему из-за Митьки?

— А потому! Трактор-то стоит? А Мишка-то сидит? Вот и почему. Деятели! Натворили делов, мать вашу...

Председатель привязал коня к милицейскому забору, спросил у вышедшего из ворот сержанта:

— Сам-то на месте?

— На месте, на месте, заходи.

Председатель кивнул Ивану Африкановичу, что-

бы тот шел за ним. Стукнул дважды в двери кабинета. Иван Африканович вошел, встал у дверей. В кабинете было накурено, хоть шапку вешай, не помогала и открытая форточка. Начальник, капитан милиции, не кладя трубку, поздоровался с председателем:

— Здравствуй, аграрник. Садись. Алё, девушка, что там у вас? Алёу. Черт знает что! С чем пожаловал?

— Николай Иванович!

— Не могу.

— В последний раз, Николай Иванович.

— Сказал, не могу.

— Но ведь...

— Они у тебя скоро весь колхоз разворуют. Два стога. Шутка, что ли? Нет, нет. Про этого, что ли, жеребца-то хвастал? — Капитан поглядел в окошко, закурил.— Ничего вроде бы. Только ведь он у тебя на щетках. Как лапти копыта-то!

— Лапти? Ты, Николай Иванович, зря не заливай. У меня его кирпичники с руками оторвут. Только черта с два. Я его и за золотую валюту никому не отдам. Дак как, Николай Иванович, насчет Петрова-то? А? Без ножа режешь. У меня трактор стоит, сев на носу.

— Зачем его кирпичникам? Глину, что ли, такими ногами месить?

— Три уже раза звонили. Просят, Николай Иванович, Христом-богом. Давай по мелкому хулиганству, черт бы его побрал, дурака!

— Ничего себе дурак, два стога прибрал к рукам. Нет, нет, ни в коем случае. Судить. Пусть на даровых хлебах поживет.

— Николай Иванович!

— Сорок лет Николай Иванович! — Капитан яростно раздавил папиросу.— Сказал — нет, и дело с концом. Я тебя, когда можно было, выручал? Скажи, выручал я тебя, когда можно было?

— Ну, выручал...

— То-то что «ну». Мне за такие дела... Иди, скажут, Мария Магдалина... Мешалкой. Хватит уже миндальничать. Какой ты, к черту, председатель? Распустил, скоро печать сбонтят. Алё?

— Эх, Николай Иванович... Тебя бы на мое место.— Председатель надел пропотелую фуражку.— Ну и черт с ним. Пусть... Триста гектаров ржи сеять... Дожди пойдут... Где у тебя тут... этот... сортир, что ли?

— Налево, вниз,— сказал капитан.

Председатель хлопнул дверью, забыв про Ивана Африкановича.

— Давай, счастливо. А жеребца я у тебя куплю. Слышишь? — крикнул капитан вдогонку.

Но председатель уже не слышал. Вскоре через мостки простучали копыта жеребчика. Иван Африканович терпеливо стоял у двери. Начальник милиции немного посидел молча, потом вытащил папку с документами, устало шевеля губами, полистал. Нажал кнопку на столе.

— Смирнов!

— Я, товарищ капитан! — Коротконогий сержант вырос как из-под земли, козырнул.

— Эти двое из «Радуги»...

— Сидят, товарищ капитан. В предварительной.

— Оформить по декабрьскому.

— Слушаюсь.

— На всю катушку чтобы. По пятнадцать суток.

Поедешь с ними... в «Радугу». Пусть там отрабатывают, а по ночам будешь в баню сажать. Алёу, девушка? Что там у вас с телефоном? Уснули, что ли? На всю катушку!

— Ясно, товарищ капитан. Разрешите идти?

— Да. Постой, постой, этот отпускник из Мурманска акт не подписал? Пусть здесь в поселке сортиры полмесяца чистит. Все ясно?

Коротконогий сержант козырнул и вышел, а капитан выдрал из папки несколько бумаг, медленно разорвал, бросил в корзину и только тут взглянул на Ивана Африкановича:

— Ну, что там у вас?

Иван Африканович замялся:

— Тут у вас Митька. Поляков фамилия. Значит, это самое сидит...

— Есть такой. Ну так что?

— Митька. Поляков.

— Ну Поляков, ну Митька, дальше-то что!

— Я, значит, узнать... передачу и как что.

— Скажи спасибо своему председателю. Легко отделался твой Митька. Кто он тебе?

— Шурин.

— Можешь отнести передачу своему шурину, вон Смирнов туда пошел.

Капитан начал опять звонить, и Ивану Африкановичу ничего не оставалось делать, как выйти.

КПЗ была тут же, во дворе милиции. Иван Африканович с почтением поглядел на ворота, на окованные маленькие окошки, на собачью конуру. Дежурный взял пирог с рыбой и полдесятка яиц, сказал, что передаст, а сам опять равнодушно начал листать замусоленный журнал. Иван Африканович не уходил.

— Ну что? — спросил дежурный.
— Да это... поглядеть бы его.
— Не положено.
— Мне бы только на пару слов... это, значит... как он.
— Вот на работу их сейчас поведем, гляди сколько хочешь.
— Всех поведут?
— Всех, всех.

Иван Африканович сел на чурбашек, стал ждать, когда поведут Митьку на работу. Вскоре «декабристов» и правда вывели. Их вышло человек с десяток, все молодые ребята, а Митьки среди них не было, и Мишку, видимо, уже отправили, пока Иван Африканович перекладывался. Был один знакомый парень из Сосновки. Иван Африканович долго шел следом за ними. Куда же девался Митька? Он еще раз сходил к дежурному, тот сказал, что в камерах нет ни одного человека и что все ушли, а камеры сейчас проветриваются, и что разговорчиков хватит, и что ему, Ивану Африкановичу, давно пора от него отвязаться. Ворота в КПЗ были распахнуты, дежурный ушел, пришлось уходить и Ивану Африкановичу.

В недоумении он приблизился к остановке грузотакси. Где же Митька? Ну ладно, Мишку в колхоз отправят, а Митька? Иван Африканович затужил еще больше. Когда думал, что Митька в определенном месте и под охраной, что никуда не девается, ну отсидит пятнадцать суток — не беда, пока оставались эти твердые мысли, было вроде бы спокойнее. Теперь же Иван Африканович расстроился по-настоящему. Что же он, Иван Африканович, бабам-то скажет?

Домой приехал в полной растерянности, без ап-

петита попил чаю, Евстолье ничего про Митьку не сказал.

Почти в одно время с Иваном Африкановичем домой приехал Мишка с коротконогим сержантом. Сержант хотел запереть Мишку на ночь в Дашкину баню и уже наладил большой амбарный замок, Мишка и сам не отказывался. Но за чаем они выпили бутылку, потом еще, и, когда пришли коровы, Мишка уже обнимался с этим сержантом. Они хлопали друг дружку по плечам. Сержанта повалили спать на поветь... Дашка устроила ему полог от комаров, и он уснул как убитый. А Мишка и рассказал Ивану Африкановичу, что получилось с Митькой.

В милицию они приехали вместе. Митька еще в деревне отказался подписать акт об увезенном сене, но, когда ему вручили повестку явиться в милицию, задумался. В милиции они часа два ждали в коридоре. Был там и сосновский парень Колька Поляков, которого Мишка хорошо знал. Митькин однофамилец, в Сосновке почти вся деревня одни Поляковы. Этот Колька накануне подрался с кем-то, а в тот день зашел в милицию вместе с Мишкой. Просто так зашел, ради интереса, вместе с Мишкой. Пришел дежурный — коротконогий сержант со списком — и начал выкрикивать фамилии. Выкрикнул Мишку Петрова: «Становись в этот угол!» Мишка встал. Выкрикнул еще одного, и тот встал, потом дежурный выкрикивает: «Поляков!» И вот вместо Митьки тот сосновский парень сдуру кричит: «Я!» — «Становись к этим двум!» — это дежурный говорит. Парень встал к тем двум, а Митька сидит на полу да покуривает. Дежурный подошел к тем троим: «Шагом марш!» Ну те и пошли, в том числе и Мишка, а Митька посидел,

видать, еще, никто его не вызывает, пошел в чайную. Больше Мишка про Митьку ничего не знал.

Сержант, что по ошибке увел в КПЗ не того Полякова, видать, попозднее смикитил, но было уже поздно, а Митькин и след уже простыл. Всем троим, в том числе и сосновскому парню, оптом дали по пятнадцать суток ареста. Даже и в суд не водили, и все трое, четвертый — сержант, остались довольнехоньки, что так дело кончилось. Мишку в сопровождении сержанта послали отрабатывать пятнадцать суток в свой же колхоз, а сосновский парень долго гадал, кто ему принес передачу, пирог с рыбой и пять яиц,— рыбу в Сосновке не ловили, там и озера нету, куриц у парня в хозяйстве тоже не было. Думал, думал, гадал, гадал, но голод не тетка, передачу Ивана Африкановича съели одним махом. Сосновский парень сидел в КПЗ первый раз, и гордился, и всё рассказывал, как он подрался на днях. И драка-то была плевая, а он гордился, что попал в КПЗ...

Коротконогий сержант уехал из деревни через два дня, и Мишка оказался на свободе.

Митька между тем дождался, когда уехал из деревни Мишкин конвой — этот коротконогий сержант, и объявился дома цел и невредим, веселый и быстрый, будто заводной:

— Привет, архаровцы!

Уже потом «архаровцы» узнали, что он все эти дни жил в Сосновке у Степановны, пережидал, пока все успокоится. Вот только врозь Митька спал с Нюшкой или вместе — этого никто не знал, и бабы гадали и на все лады обсуждали этот вопрос.

Сам же Митька ничего не рассказывал.



ГЛАВА ПЯТАЯ

1. ВОЛЬНЫЙ КАЗАК

Тебе соха и борона,
А мне чужая сторона.
(Из частушек)

У Митьки еще были деньги. Много денег, рублей шестьдесят, а то все восемьдесят, но он перестал пить, когда узнал, чем кончилась история с сеном.

Иван Африканович отвез сено на общественное гумно и вскоре забыл об этом, дело привычное. Митька же вернулся из Сосновки, забрел на поветь по нужде и увидел пустой перевал. Митька даже ремень не застегнул, забыл, зачем пришел на поветь. Вбежал в избу:

— Сено где?

Мать Евстолья, укачивая последнего «клиента» Ивана Африкановича, даже не повернулась, она ти-

хо, по-колыбельному пела коротушки для засыпающего младенца. Митькин вопрос вызвал в ее памяти еще одну песенку:

Ты не блей-ко, баран,
Сена волоти не дам.
Летом жарко косить,
Зимой холодно возить.

— Сено где, спрашиваю? — Митька весь побелел и остановил зыбку.

Старуха спокойно встала, поглядела загнетку, ухватом выставила чугунок.

— Чего ты, Митька, кричишь? Парень-то усыпать начал, а ты как с цепи сорвался. А сено свозили. Все свезли, у кого не из своей загороды, вся деревня.

— Как свезли?

— Так и свезли, на телегах.

Митька вскочил как с горячей сковороды. Даже заикаться начал:

— В-в-ввы это чего, дд-дураки, что ли?

— А ты у нас умник,— улыбнулась бабка.— В Нюшкином-то сеннике кто три дни отсиживался?

Митька выскочил из избы, забежал опять:

— Он где сегодня? Пашут, что ли?

— Пашут...

Дверь хлопнула так, что зазвенела в шкафу пустая посуда.

...Иван Африканович действительно пахал с Мишкой на тракторе под озимовой сев на том самом дрыновском отрубе, где когда-то стояла отцова ветрянка: жернова еще и сейчас валялись на горушке.

Пахать выехали поздно, дело чего-то не клеилось,

а раскиданный бабами навоз еще вчера весь пересох. Сухая серая земля туго поддавалась плугам, лемеха тупились быстро. У Ивана Африкановича болела душа при виде пыльного, поросшего молочником поля, вспаханные места были не намного черней невспаханных.

Когда объезжали телеграфный столб, то передний плуг скользнул и за ним весь прицеп выскочил на поверхность, потащился, царапая землю.

— Стой! стой! — закричал Иван Африканович, но Мишка тарахтел дальше, словно бы и не слышал.— Стой, говорят! — Иван Африканович вне себя спрыгнул с прицепа, схватил комок земли и бросил в кабину.— Оглох, что ли?

Мишка нехотя остановился:

— А-а, подумаешь! Все равно ничего не вырастет.

— Это... это... это как не вырастет?

— И чего ты, Африканович... Везде тебе больше всех надо.

— Да ты погляди! Ты погляди, что мы с тобой творим-то?

— Ну и что? — Мишка скорчил шутовскую рожу.— Три к носу...

В бешенстве Иван Африканович уже замахнулся на эту шутовскую рожу, но в этот момент увидел идущего от деревни шурина. Повезло Мишке.

Митька шел по полю сутулой, какой-то дергающейся походкой, и Мишка с хитрым прищуром следил за ним. Митька не поздоровался, сел на плуг.

Иван Африканович покосился:

— Ты это что? Вроде не с той ноги встал.

Митька сплюнул и презрительно, долго глядел на зятя.

Ивану Африкановичу стало не по себе, он растерялся.

— Сено где? — резко обернулся шурин.

— Да где... в гумне вроде.

— А чего ж оно в гумне-то?

— Дак ведь...

— Дак, дак! —Митька вскочил на косолапые, сильные пожищи.— Лопухи чертовы! В гумне, да? Свез, да? А чего ж ты свез-то? Расстреляли бы тебя, если б не свез? Пентюхи вы все, пыль на ушах... и...— Митька горько выругался, ехидно потрепал пальцем свое же ухо, словно бы стряхивая с него пыль.

Он ушел сутулой, какой-то скорбной походкой (до этого ходил по-другому), не напился, а пришел к реке и сел под свежим, еще не осевшим стогом. Иван Африканович не видел его до завтрашнего вечера.

...Однажды раным-рано Иван Африканович зашел в огород, чтобы перед работой обрыть грядку картофеля. Он только хотел воткнуть в землю лопату, как увидел Митьку. Тот сидел на камне и глядел на еще сонную, но уже без тумана реку, в зубах у него торчала травинка. Сидел босиком и глядел на реку. Что-то не замечал Иван Африканович, чтобы Митька вставал с восходом,— всегда парень спал до обеда.

Митька услышал кашель и, ополоснув лицо, поднялся к Ивану Африкановичу:

— Ну, Африканович, хватит.

— Чего хватит?

— А маячить хватит.

— Поедешь, что ли?

— Ну! И ты тоже поедешь.

— Я-то поеду,— улыбнулся Иван Африканович.— С печки на полати.

— А я говорю, поедешь!

— Это куда я поеду?

— Со мной! —Митька решительно пнул ботинком ком земли.— На Север поедешь, я всерьез говорю. Ты сколько отхватил вчера? В получку-то? У вас ведь вчера получка была?

— Была.

— Ну и сколько тебе шарахнули?

— Восемнадцать рублей дали.

— За месяц?

— За месяц.

— Отхватил... Ну а зимой ты и того не заработаешь. А если корову не прокормишь? У тебя этих... архаровцев-то сколько, девять?

— Оно конешно...— Иван Африканович подзамялся, но вдруг обозлился: — Ты с кем думал? Я с тобой поеду? Нет, брат, мое дело дома сиди, не ерепенься. А кто меня отпустит? Ты об этом, видать, и забыл, что у меня вся документация — одна молошная книжка. Где бабам молоко записывают, сколько сдадено. Нет, Митя, друг мой... Ты это перемудрил. Некуда мне ехать, надо было раньше думать, после армии. Дело привычное.

Иван Африканович отмахнулся и взялся за лопату, а Митька отнял у него эту лопату и опять:

— Ты меня послушай. Сена у тебя пшик, с одной загороды, так? Так! Рыба да охота тоже не доход, так? Так! А в Заполярье ты полтораста рублей левой ногой заработаешь. Ну, а с документами на меня положись. В тех местах законы не писаны. Теперь

за деньги все можно сделать. Вон живых баб на ночь покупают, купим и паспорт.

— Иди ты... покупщик! — огрызнулся Иван Африканович.— Привыкли все покупать, все у тебя стало продажное. А ежели мне не надо продажного? Ежели я непокупного хочу?

Иван Африканович даже сам удивился, откуда взялась какая-то злость в душе. Никогда он с Митькой не ругался. А Митька не обращал внимания на эту злость и все говорил, и получалось так, что прав он, а не Иван Африканович, и от этого Ивану Африкановичу было еще обидней.

— Непокупного он захотел! — Митька вдавил окурок в чистую влажную землю.— Ну и давай! Вот сена ты накосил непокупного. Тебе хоть за косьбу заплатили? Гы! Смех на палочке. У тебя и сейчас одни ребятишки непокупные, хрен моржовый.

— Оно верно. Все покупное стало. Дошло... Только я, Митя, никуда с тобой не поеду. Жила не та стала.

— Да почему не та? Ты же и плотник, и печник, и ведра вон гнешь.

— Гну. А на чужой стороне меня самого это... в дугу.

— А-а, ну тебя!

Митька плюнул и ушел. Но не отступился, мазурик, и вечером опять пристал как банный лист к заднице, и у Ивана Африкановича что-то надломилось, треснуло в сердце, не стал спать по ночам.

Куда ни кинь, везде клин, все выходило по Митькиному. Задумал, затужил, будто задолжал кому, а долг не отдал. Будто потерялось в жизни что-то самое нужное, без чего жить нельзя и что теперь

вроде бы и не нужным стало, а глупым и пустым, даже обманным оказалось.

По вечерам они скрывались от баб у реки за кустами и курили. Иван Африканович весь прокоптел даже и больше молчал, а Митька агитировал его и тоже все дымил в горячке.

— Вот ты, Африканович, говоришь — город как нетопленная печь, не греет, не тешит. А тут у тебя греет? Тешит?

— Тут, Митя, тоже не греет. Дело привычное.

— Ну вот.

— Только ведь я уже не молоденький вроде, по баракам-то ошиваться.

— Первое время, может, и по баракам. Так ведь ты живой человек, мы ж не будем сложа руки сидеть, а будем дела делать.

— Это какие дела? Вроде таких, когда баб-то на ночь покупают? — съязвил Иван Африканович, а Митька рассердился взаправду:

— Вот прицепился к слову! Да что я тебе, худа хочу, что ли?

— Какое худа, знаю, что не худа. Только ты и сам, может, не знаешь, где мое худо, где добро.

— У всех людей и худо и добро одни и те же!

— Разные, паря.

— Хм...

И вот однажды Митька закусил губу,— видать, лопнуло у него терпенье.

— Ну и х... с тобой! Вкалывай тут! За так. Добрё-худё!

Митька вытянул губы, передразнивая Ивана Африкановича.

— Ты хоть бы о ребятах подумал, деятель! Ты

думаешь, они тебя добром помянут, ежели ты их в колхозе оставишь, когда это... в Могилевскую-то?

Иван Африканович побледнел, засуетился, этот Митькин довод подействовал сильнее всех других. А Митька, видя, что зять уступает и сейчас вовсе сдается, старался закрепить победу:

— Бабам скажем, что временно, недели на три. Слышь?.. А сейчас пойдем, пиши заявление на правление колхоза. Дадут справку, так дадут, а не дадут, так в рыло не поддадут. Уедем и так.

Иван Африканович почувствовал, как где-то под ложечкой сладко, как в юности перед дракой, защемилась тревога. А вечером, после очередного разговора вдруг сразу отчаянная решимость преобразила Ивана Африкановича, он подошел к шкафу, вынул трешник и подал Митьке:

— Беги!

Митька отмахнулся, говоря:

— Что у меня, нет, что ли? Спрячь, не показывай.

— А я говорю, беги! — Иван Африканович так страшно, так небывало взглянул, что Митька заткнулся, взял деньги и пошел за водкой.

А Иван Африканович сел писать заявление на справку.

* * *

Правление в колхозе собиралось чуть ли не каждую неделю, и ждать пришлось недолго. В новой еловой конторе, в председательской половине, собрались правленцы; приглашенные и просители ждали кто на крыльце, кто у счетоводов. Подходили еще.

— Мужиков-то, мужиков-то, как у конторы!

— Сидим, ждем у моря погоды.

— Возьми да походи.

— Мне ходить нечего, я не начальство.

— Оно конешно.

— Ночевали здорово! — сказал Иван Африканович.

— Ивану Африкановичу наше с кисточкой.

— Нынче палку брось наугад, как раз в начальника попадаешь.

— Иначе-то, вишь, нельзя.

— Почему?

— А потому, что борьба с вином.

— Здря.

— Чего здря?

— Да эта... борьба-та.

— С вином-то?

— Ну.

— Оно конешно, не углядишь. Вон я вчера иду, а Юрко сосновский пьяный идет и вот хохочет, вот заливается. Чего, говорю, тебе весело стало? А он хохочет. «Я, говорит, выпил, вот и хохочу. А что, говорит, ты мне хохотать запретишь? Не запретишь». Я говорю: ты трезвый-то больше в землю быком глядишь, слова от тебя не учуешь. «А мы, говорит, и в коммунизм пьяненькие зайдем». Я говорю: куда тебя в коммунизм, такого теплого. «А что, не гож?» Это он кричит, а сам на меня. Ну, я от его задом да боком, думаю, отряховку даст ни за что ни про что.

— Здря.

— Чего?

— Да задом-то.

— Ну?

— Отряховка каждому дело пользительное, и мозгам просветленье и шевелишься быстрей.

— Оно конешно... Только сгубит, ребята, нас это вино.

Иван Африканович, слушая, присел на приступок, закурил,— стал ждать, когда его вызовут.

Вызова же пришлось ждать до самого вечера. Сперва слушали отчеты бригадиров «О ходе и продвижении заготовки кормов и выполнении озимового сева», потом был вопрос о готовности техники к уборке. И лишь после этого начался разбор заявлений.

Заявлений же было шесть. Иван Африканович вошел, оглянулся: правленцы сидели уже потные, иные перемогали сон. Все знали друг дружку, все перебывали в гостях друг у дружки, а тут были словно чужие друг дружке. Председатель взял первое заявление, оно было написано от имени одной одинокой бабки, которая просила выделить пенсию. Выделили четыре рубля в месяц. Второе заявление написал Пятак, просил разрешения пустить в зиму нетель в дополнение к корове, это ему единогласно не разрешили. В третьем заявлении говорилось о продаже старого колхозного амбара для единоличной бани, в четвертом была просьба послать на какие-то курсы, в пятом просили отпустить с должности доярки. Последнее...

Иван Африканович сидел на скамье с виду спокойно. Только никто не знал, что творилось у него внутри. Он сам дивился, откуда взялось у него такое упрямство, чувствовал, что эту справку он зубами сейчас выгрызет, а пустым из конторы не выйдет. Митька ждал его на крыльце.

Председатель зачитал заявление и пришлепнул его волосатым кулаком:

— Товарищ Дрынов?

— Дрынов. Он самый, вся фамилия верная,— сказал Иван Африканович.

Сонливость у дремунов как рукой сняло, скамьи заскрипели, кто-то высморкался.

— Объясните по существу,— сказал председатель.

— Там написано. Все и по существу.

Председатель крикнул:

— Ничего тут не по существу! Тут все не по существу! Ты просишь дать справку, чтобы тебе дали справку по десятой форме. Правильно?

— Точно.

— А десятая форма нужна для получения паспорта, верно? А паспорт тебе нужен для чего?

— Ясное дело, для чего, уехать хочу.

— Вы же, товарищ Дрынов, депутат! Что это такое? Куда вы собрались уезжать?

— Вам-то что за дело, куда я вздумал уезжать? Я не привязанный вам.

— Никуда вы не поедете. Все! Возьмите заявление.

Иван Африканович встал. У него вдруг, как тогда, на фронте, когда прижимался перед атакой к глинистой бровке, как тогда, застыли, онемели глаза и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе мускулы, когда враз исчезал и страх и все мысли исчезали, кроме одной: «Вот сейчас, сейчас!» Что это такое «сейчас», он не знал и тогда, но теперь вернулось то самое ощущение спокойного веселого безрассудства, и он, дивясь самому себе, ступил на середину конторы и закричал:

— Справку давай! На моих глазах пиши справку!!

Иван Африканович почти завизжал на последнем слове. Бешено обвел глазами всех правленцев. И вдруг волчком подскочил к печке, обеими руками сгреб длинную согнутую из железного прута кочергу:

— Ну?

В конторе стало тихо-тихо. Председатель тоже побелел, у него тоже, как тогда, на фронте, остеклenели зрачки, и, сжимая кулаки, он уставился на Ивана Африкановича. Они глядели друг на друга... Потом председатель с усилием погасил злобу и сник. Устало зажал ладонью лысеющий лоб.

— Ладно... Я бы тебе показал кузькину мать... ладно. Пусть катится к е... матери. Хоть все разбегитесь...

Он со злом и страдальческой гримасой вынул печать, стукнул ею по чистому листу в школьной тетради, выдрал этот листок и швырнул бухгалтеру:

— Пиши!

Рука бухгалтера тряслась. Иван Африканович поставил кочергу на обычное место, взял справку и прежним, смирным, как облегченный бык-трехлеток, тяжело и понуро направился к двери.

Ему было жалко председателя.

* * *

За три дня Иван Африканович затащил на чердак лодку, насадил новые черенки к ухватам, связал помело, наточил пилу-поперешку, поправил крыльцо и вместе с Митькой испилил на дрова бревна.

Так и не подвел три новых ряда под избу, так и не срубил новый хлев. А, пропадай все... У него словно что-то запеклось внутри, ходил молча, не брился.

Катерине же некогда было плакать, домой приходила редко. Бабка Евстолья все время только и знала, что костила Митьку. Митька же только зубы скалил да торопил Ивана Африкановича.

И вот на пятый день собрались.

По колхозной справке Ивану Африкановичу выписали в сельсовете справку на получение паспорта. Иван Африканович вышел от секретаря, долго читал и крутил эту бумажку, даже не верилось, что в сереньком этом листочке скопилась такая сила: поезжай теперь куда хочешь, хоть на все четыре стороны поезжай, вольный теперь казак. Только, странное дело, никакого облегчения от этой вольности Иван Африканович не почувствовал...

Паспорт надо было получать в своем районе, а Митька сказал, что наплевать, получишь прямо на месте, в Мурманской области, у него, мол, у Митьки, там все кругом знакомые, дружки-приятели, они для Митьки все сделают.

И вот Иван Африканович с Митькой совсем собрался уезжать. Утром пошел прощаться с деревней, за ручку со всеми бабами, которые дома были. Зашел он и к Мишке Петрову: Мишка жил теперь у Дашки в дому. Он сидел за столом и пил чай со свежими пирогами, Дашка только что истопила печь.

Иван Африканович посидел с минуту, неловко заговорил:

— Ну так, Миша, пока, значит... это самое, уезжаю. Выходит, пока...

Мишка важно потискал поданную руку:

— А что, я вот тоже возьму да уеду. У меня в Воркуте божат управдом.

— Седе! — Дашка замахала на Мишку полотен-

цем. — Седе! Ездок выискался, так тебя и ждут в этой Воркуте!

После Мишки Иван Африканович зашел в избу Курова. Старик сидел на лавке, старуха на стуле, они спорили, у кого из них урчит в животе. С приходом Ивана Африкановича старики прикрыли этот интересный спор, к тому же зашел Федор, и Иван Африканович заодно попрощался с ним:

— Ежели что, худом не поминайте... Это... пока, значит.

— Счастливо, Африканович, — Федор встал с лавки, — может, и не увижу тебя больше, умру, здоровье-то стало не то.

А Куров поглядел в окошко и сказал:

— Нет, Федор, я скорее тебя умру, вон уж давно повестка пришла, туда требуют.

— Да ты, Куров, всех переживешь, — не уступал Федор,— вон у тебя загривок-то как у борова.

— Ну, счастливо, Африканович, с богом.

— До свиданьица, ежели...

— Пока...

— Письмо-то напиши, как что.

— С квартерой, работа какая будет.

— В час добрый...

Поклажу и два мешка луку послали до сельсовета на изладившейся подводе, сами отправились пешком, и Катерина пошла хоть немного проводить мужиков.

До этого Иван Африканович подержал на руках самого младшего, кому-то утер нос, по голове погладил Марусю. Сели на лавку. Катерина заплакала, так и пошла провожать, с голосом. Евстолья промолчала и, лишь когда спустились с крыльца, сказала:

— Ну, со Христом, со великим...

По ржаному полю гулял волнами серебряный ветер. Облака копились над лесом, далекий гром урчал там, вдалеке, и исчезнувшие за последние сутки оводы опять яростно налетали из травы.

Катерина успокоилась у сосновского родничка. Уже розовел у родничка набирающий силу кипрей, желтели поздние лютики. Сосны, просвеченные солнцем, бросали зыбкую пятнистую тень и еле слышно нашептывали что-то, синело небо, верещала в кустах дроздиха.

Сидели у родничка, ни слова не говоря. Иван Африканович взглянул на жену и вдруг весь сжался от боли, жалости и любви к ней: он только теперь заметил, как она похудела, как изменилась за это лето. Хотел сказать Митьке: иди на машину один, никуда не поеду. Хотел сказать Катерине: пойдем обратно, будем жить как жили. Но ничего не сказал, обнял, оттолкнул, будто с берега в омут оттолкнул, пошел от родничка: Митька уже кричал издалека, чтобы Иван Африканович поторапливался...

Катерина глядела на них, пока оба не исчезли за кустиками. Ей стало трудно дышать, слабость и тошнота опять усадили ее у родничка. Хватаясь руками за траву, она еле дотянулась до холодной, обжигающей родничковой воды, глотнула, откинулась на спину и долго лежала не двигаясь, приходила в себя. Приступ понемногу проходил, она прояснила, осмыслила взгляд и первый раз в жизни удивилась: такое глубокое, бездонное открывалось небо за клубящимся облаком.

«Куда поехал? Пошто? Господи, царица небесная, будто в тумане катится солнышко. За одну не-

делю мужик переменился, как подменили, глаза стеклянные стали, говорил мало, ночами только вздыхал да палил табак. Когда сказал, не поверила, еще засмеялась: куда тебе из дому, сроду, кроме войны, нигде не бывал. А через день — суши, говорит матке, сухари. Обмерло сердце,— видать, задумал всерьез. Сказала добром: Иван, отступись, нету моего согласия,— он и не слушает, как воды в рот набрал, ходит по дому топором стукает, к ребятишкам начал приглядываться, задумчивый стал. Тогда уж всерьез заругала, со слезами: не отпущу! А он зубом скыркнул, замахнулся. Не было еще такого, чтобы замахивался, ни разу пальцем не трагивал, а тут замахнулся...»

У Катерины опять слезы подкатились комом к самому горлу. Она шла домой напрямки от родника. Высокой травой заслоненная тропа была влажна и холодила ноги. Сосущая боль в боку отходила медленно.

«...А все Митька, братец пустоголовый,— он сманил, из-за него попала Ивану вожжа под хвост. Кабы не приехал, жили бы да жили. Что теперь, чего заводить? Говорит, устроюсь, денег посылать буду, ребят одеть-обуть, а где, что? Как жить один будет? Оборвется, обносится. Да еще, гляди, и стрясется чего. Либо в тюрьму попадет, либо зарежут где, выпивать-то любит... А и тут — чего я одна? Сена не накосить на корову, а без коровы что с экой оравушкой? Как зародилась бессчастной, так и живи бессчастной, господи, унеси лешой и жизнь!»

Она не помнила, как поднялась от речки в гору, как вошла в осиротевший дом, как присела на повети. Надо было уже идти на ферму, а сил у нее не хватало, чтобы встать с порога да переодеть одежду.

Призрачные, слышались на улице голоса ребятишек: им что, ничего не смыслят, сыты, и все ладно. Катерина очнулась от забытья, над ней стояла мать — Евстолья.

— И наплюнь,— спокойно заговорила старуха,— наплюнь и не реви, никуда он не девается. Нараз домой прикатит, скоро наездится!

В избе заплакал маленький, Катерина встала с порожка. Слабость в ногах и боль в левом боку словно бы приутихли, Катерина осушила лицо клетчатым головным платком и подошла к сыну. Она знала, что он теперь слышит ее уже по шагам. Она, чувствуя, как он успокаивается при ее приближении, тоже чуть успокоилась. Мальчик улыбался ей во весь розовый ротик. Два молочных зуба уже белели в десенках. Он весело колотил по одеяльцу узловатыми кулачками. Катерина взяла его на руки и, ощущая пеленочное, одинаковое у всех ребятишек тепло, тихонько заприговаривала: «А вот мы с Ванюшком и пробудилися, вот мы с миленьким проголодалися, а где-то сейчас папка-то наш? Оставил нас наш папка, на машине уехал, куда уехал, и сам не знает...»

2. ПОСЛЕДНИЙ ПРОКОС

Матушка родимая,
Свеча неугасимая.
Горела да растаяла,
Любила да оставила.
(Из частушек)

Делать нечего, надо было жить.

Иван Африканович с Митькой уехали утром в субботу, а вечером того же дня бригадиры объявили,

что завтра, в воскресенье, разрешено покосить для своих коров. Один день, заместо выходного... Как только эта радость облетела подворья, бабы еще с вечера бросились топить печи, а ночью с фонарями кинулись на лесные покосы.

Катерина убежала в лес еще с вечера. Она выкосила за ночь с фонарем пригожую пустовинку. Утром обрядила на скорую руку телят с коровами и опять в лес, уже втроем: бабка разбудила Гришку и Катюшку. Анатошку оставили дома, чтобы сходил в обед на двор, помог обрядить бабке колхозную скотину.

Только что поднималось солнышко. В поле слезяная роса и глубокое небо сулили ведренный день. А в лесу еще пахло вчерашним зноем. Катерина босиком бежала с косами по лесной дорожке и все оглядывалась, Катюшка с Гришкой еле за ней успевали. Катюшка несла корзину с едой, Гришка волок чайник с водой.

— Гриша, Гриша, ты водицу-то не пролей.— Катерина сорвала ему земляничный кустик.— А ты, Катя, гляди за ним.

Катюшка по-взрослому затолкала выехавшую из Гришкиных штанов рубаху, сказала:

— Ой, ты.

Гришка сопел, недовольный, видно было, что ему давно надоела эта бабья опека. Так и хотелось стукнуть по этой Катьке, да надо бежать, торопиться. Ему все казалось, что вон за этой горушкой и будет покос, а за горушкой опять был лес и никакого просвета.

Дорожка то и дело виляла промеж сосен, то опускалась в болотце, то взбегала на брусничные хол-

мики. Гришкины кожаные сапоги иногда скользили на иголках. Слышались голоски лесных синичек, а лес еще не шумел, потому что было очень рано и ветер еще только-только нарождался вдали.

Устал Гришка, но терпел. Ему и реветь хотелось, и не реветь хотелось, и было отчего-то обидно и горько. Втайне от самого себя Гришка хотел, чтобы его сейчас пожалели, но, если б его пожалели, Гришка бы разревелся от злости, и вот он не знал, кто и что виноват во всем этом.

Дорожка вдруг вынырнула из леса на полянку. Катерина взяла у Гришки чайник с водой, подвесила на еловый сучок.

— Вот ты, Гришенька, огонь разводи да посиди, а то пойди ягодок пощипли.

От материнских слов Гришкины слезы рассосались где-то в носу.

Катерина наставила косу себе и Катюшке:

— Не торопись, маши-то не широко и ногами переступай по капельке.

Катюшка слушала, сдвинув бровки.

— Носок-то у косы поднимай, а жми на пятку, вот и пойдет дело.

Катюшка взяла косу. Коса была ей велика. Выбрала поровнее лужайку, тюкнула раз, другой... Мать уже не смотрела на дочку, и Катюшка, слушая, как хрустит срезанная трава и как вжикала мамина коса, тюкнула еще, потом еще.

Гришка, с закушенным в зубах языком, стоял рядом и смотрел, как учится Катюшка косить.

— Не гляди! — сказала Катюшка, но Гришка не уходил и, наслаждаясь Катюшкиным неумением косить, закричал:

— Вот и не умеешь, вот и не умеешь!

— А вот и умею, вот и умею!

Катюшка собрала все силенки, взмахнула косой. Неожиданно для нее самой получилось очень хорошо, трава с белыми ромашками, с розовым клевером легла ровным полукругом. А Катюшка, обрадованная, повторила движение, и опять легла таким же полукругом новая трава, а ту, что была свалена предыдущим взмахом, сгрудило косой в один бок. И вот Катюшка, чтобы не забыть рисунок движения, заторопилась и взмахнула в третий раз. Носок косы воткнулся глубоко в землю. Еле-еле вытащила косу, растерянно обернулась к матери. Гришка не видел этого позора, он давно убежал в смородник. Катерина тут же, одним затылком, почувствовала взгляд дочери, остановилась:

— Ты разве не запомнила, чего я тебе говорила-то? Жми, доченька, на пятку, носок-то должен поверху ходить. Да не торопись, да захватывай-то понемножку.

...И Катюшка прошла свой первый в жизни прокос. Оглянулась радостная, усталая и, не веря глазам, пошла обратно, разбила косьевищем нетолстый валок. Стерня была неровная, кое-где торчали бороды непрокошенной травы, но Катюшкино сердечко прыгало, как воробей. Она сильно устала, но тут же начала новый прокос. Катерина, остановившись, чтобы наставить косу, улыбаясь, радостно и беззвучно плача, долго глядела на дочку...

Они косили до полдня, потом пили заваренный смородиновым листом кипяток. Катерине почему-то не хотелось есть, ее слегка тошнило. Она пожевала показавшийся безвкусным кусочек пирога, голова

опять закружилась, как тогда. Отмахнулась, тяжело встала на ноги, видно, сказывалась бессонная ночь. «Вот еще бы эту полянку, как раз бы тут на стожок было. Надо ведь. Вот солнышко еще высоко, все люди косят, напаило крещеным, разрешили покосить для своих коров. Вот Ивана-то нет, с ним-то полдела бы...» Так думала Катерина.

Жара не могла погасить озноба, что затаился где-то на спине. Катерина повесила на кустик клетчатый свой платок и начала от этого кустика новый прокос. Катюшка тюкала неподалеку. Гришка залез на лесную черемуху и раскачивался на ней. «Не упал бы хоть»,— мельком подумала Катерина, махая косой. Коса ритмично мелькала в глазах. Сочно хрустела лесная трава, Катерина будто не чувствовала ни усталости, ни тошноты, косила и косила. До лесных кустов, до конца прокоса оставалось взмахов десяток, а она нечаянно, непроизвольно остановилась и выронила косу. Ослабевшие колени сами согнулись, и Катерина, недоумевая и ругая себя, что остановилась, присела, пошарила рукой по траве. И бессильная опустилась на пахучий травяной валок. «Гриша, Катюшенька!» — хотела крикнуть она, но губы только чуть пошевелились. Розовые круги пошли перед глазами, тошнотворная слабость охватила всю Катерину. Схватилась за левый бок, судорожно, царапая лицо о колючую стерню, дважды перевернулась на скошенной луговине...

Гришка сверху первый заметил, что мать перевернулась на траве и затихла. Он чуть не упал с черемухи, заплакал, ободрал до крови живот, слез на землю. Подбежала Катюшка, и они с Гришкой заревели в голос, заревели на весь лес.

Мишка с Дашкой Путанкой косили неподалеку. Они услышали этот двойной плач ребятишек и прибежали на полянку. Катерина лежала на земле ничком и, только слабо шевеля головой, шептала: «Ой, матушки, ой, не могу, ой, матушки...»

Мишка бросился в деревню, отнял у кого-то подводу, приехал в лес. Катерину еле живую привезли домой, уклали на кровать, а наутро пришла из больницы врачиха и сказала, что у Катерины опять был удар и что в больницу везти в таком состоянии нельзя, растрясут и живую до больницы не довезут.

3. ТРИ ЧАСА СРОКУ

Долгий был сенокос.

На бабьих плечах сгорела не одна кожа, пока потемнели последние июльские ночи. Но еще и после этого с неделю вспыхивали жаркие, словно пороховые дни и красноватые, с медным отливом, облака подолгу громоздились в дымчатой мгле. Иногда громыхали тяжкие, никого не облегчающие грозы. Найдет, навалится густого замесу надменная туча, ошпарит землю дымящимся ливнем, вымечет свои красные клинья, и снова гудут всесветные оводы.

Жара, духотища.

Дома и строения потрескивали своими насквозь просохшими скелетами, коробилась дранка на крышах. В белой пыли большой дороги захлебывались, пышкали машинные скаты: отпускники валили гужом. С богатыми чемоданами, с похожими друг на дружку, по-сиротски отрешенными ребятишками. Приедут, отоспятся, пропьют отложенные от дорож-

ных денег пятерки и бродят с прямыми, как дверные косяки, спинами.

К трезвому не подступишься, с пьяного мигом осыплется вся городская укрепа...

Те, что поспокойнее, часами высиживают на омутах, с фальшивым азартом дергают сонливых малявок. Считают, сколько осталось дней отпуска. Все больше с Севера: из Мурманска, из Воркуты, вроде Митьки.

Колесная жизнь давно вошла в моду.

Об этой непонятной, невесть откуда объявившейся жизни и думал Иван Африканович, возвращаясь домой со станции. Потому что по дороге от Сосновки действительно шел Иван Африканович. Не долго он наездил по белому свету, права оказалась теща Евстолья...

У родничка, где еще зимой сидели они с Катериной, Иван Африканович решил переобуться. Пока шел от сельсовета, успел-таки натоптать две водянистые мозоли, ноги в яловых сапогах взмокли, рубаха хоть выжми. Да и грязная вся, рубаха-то. Стыд, ежели кто знакомый встретится. И правда, стыд: Иван Африканович почувствовал, как у него краснеют и наливаются жаром и без того жаркие от солнышка уши. Впору головой в омут, такие случились дела за последнюю неделю...

Иван Африканович поглядел вокруг, на эту родную землю, и у него заныло сердце. Самолучшее сосновское поле, засеянное кукурузой, было сплошь затянуто желтым молочником. Чахоточные, на три-четыре вершка кукурузные стебли надо было долго искать глазами, пока не наткнешься на один-другой бескровный кустик. «Вот тебе и королева,— горько

подумалось Ивану Африкановичу.— Привезли ее не спросясь колхозников и увезут не спросясь, дело привычное».

Дорогу без него всю искорежили какой-то дорожной машиной, то ли грейдером, то ли грязнухой, как называют бабы канавокопатель. Строят, скоблят каждое лето, правда и не без пользы, вон уже до Сосновки на «козле» ездят.

Иван Африканович решил, как всегда, отдохнуть у родничка, попить воды. И не нашел родничка. Там, где был пригорочек с чистым песчаным колодчиком, громоздилась черная искореженная земля, вывороченные корни, каменья. Даже сесть было некуда. Уселся на свой пустой мешок,— не пустой, в мешке был еще такой же мешок — оба из-под лука. «Бурлак,— опять с горечью и стыдом подумал Иван Африканович,— ни пуговицы, ни кренделька, одну грязную рубаху несу из заработка. Стыд, срам, дело привычное...»

Хотелось пить, а родничка не было.

Иван Африканович поглядел, поискал. Метрах в трех от заваленного колодчика, где теперь громоздилась земля и камни, он разглядел мокрые комья. Шагнул еще, поднагнулся: далеко от прежнего места под глыбами глины светилась на солнце прозрачная холодная вода. Жив, значит, родничок, не умер. Попробуй-ка завали его. Хоть гору земли нагреби, все равно, видно, наверх пробьется...

Вот так и душа: чем ни заманивай, куда ни завлекай, а она один бес домой просачивается. В родные места, к ольховому полю. Дело привычное.

Иван Африканович только хотел попить, как на дороге к сельсовету появился прохожий с чемоданом.

Это был один из отпускников, чуть знакомый Ивану Африкановичу парень из дальней заозерной деревни. Хотя парень плохо знал Дрынова, они поздоровались. Иван Африканович закурил у парня (свое курево кончилось еще позавчера), весело спросил:

— Что, друг мой, опять к нам приезжал? Значит, влекет родимая-то сторонушка, ежели в году не по одному разу ездишь.

— Влекет, брат,— горестно согласился парень.

— Влекет. Да ты притулись, покури. Что, все учишься? На кого эдак долго тебя и учат? Шесть годов, кроме десятилетки. Всю молодость проучишься, а жить-то когда? Небось, наверно, уже четвертый десяток разменял?

— Разменял.

— И в холостяках все аль обзавелся?

Парень с сожалением и улыбкой развел руками: мол, что поделаешь, женился. А Иван Африканович удовлетворенно закивал:

— Успел, значит. Ну, это ладно. Только врозь не живи с бабой, пустое это дело, врозь молодым людям. Я вот постарше тебя, да и то, когда на лесозаготовках был в сорок пятом году, так вот настрадался без женки. А нынче я, друг мой, тоже тряхнул костями, съездил в одно место.

— В какое место?

— И не говори, друг мой, такая была фильма. Нонче меня Митька и смутил. Знаешь, наверно, Митьку-то? Должен знать, вы с ним одного сроку.

Однако Митьку собеседник не знал. Ивану Африкановичу хотелось поговорить, излить душу, он рассказывал парню про свою поездку:

— Вот, значит, Митька приехал да и говорит: по-

едем, дескать, плотничать, хватит из кулька в рогожку перекладывать. Деньжонок, говорит, подзаработаешь, а то и насовсем в город из колхоза переберешься. Ну, я, друг мой, и вбил это мечтанье в свою голову. Думаю, ребятишек полный комплект, и все в школу ходят, кормить-поить надо, а дома какой заработок? Спать по ночам перестал, все думаю: ехать или не ехать? Бабе не говорю, а сам планты строю. А Митька отпетый парень, и голова работает, как хороший сельсовет,— все ему нипочем. Поджимает меня. Ежели, говорит, так, дак так, а не так, дак и робенка об пол. Уговаривать, говорит, не буду, уеду и один. Ну, я один раз плюнул и говорю: давай по рукам, будь что будет.

— На Север, что ли?

— В Мурманск.

— От меня сто двадцать километров этот Мурманск.— Парень слушал с интересом.

— Ну вот, плюнул, да и говорю — будь что будет. Баба моя в слезы, рев подняла. Теперь, значит, ехать на что. Митька говорит: «У меня на дорогу есть, я тебе, говорит, на билет дам, а ты воротишь после!» Ладно. Взял я в сельсовете справку, струмент наточил. А Митька говорит: «На кой шут тебе струмент, струменту казенного хватит, а возьми ты, говорит, луку. В Мурманске лук дорог, весь путь окупится». А луку еще прошлогоднего у меня было с двух грядок, полати от него прогибались. Натребли мы два мешка. Да. А бабу мою Митька успокоил, насулил всего, она и смякла, баба-то, поревела, да и смякла, а мы и качнулись бурлачить. Машины на станцию часто ходят, корье возят. Митька в кабине сидит, я на самом верху мотаюсь, того и гляди в канаву спикирую.

А шофер такая шельма попался, газует напропалую, ни страху, ни совести. Уступи, кричу, на дырочку, вся машина ходуном ходит. Нет, прохиндей, жмет и жмет. Ну, все ж таки проехали эдаким манером половину. Остановились у чайной, гляжу, Митька в магазин с ходу, воротился с бутылкой. «Слезай, говорит, вся слобода теперь наша, на простор выехали». Я и говорю: «Не дело, робята, в дороге выпивать, не доехать нам живыми», а шофер уж стакан достал из ящичка, что бардачком-то прозывается. И вот, друг мой, чего я тут натерпелся — про то век не забуду. Сижу на корье, за веревку держусь, а у самого сердце в пятку ушло, чует моя душа, что неладно дело кончится. Так оно и вышло, как по-писаному. Выскочили мы на угор из поскотины, как на ракете, а впереди старушонка бредет с котомкой, глухая вся, не чует, как шофер дудит. Ну, думаю, капут сейчас этой старухе, машина прямо на ее. Только так подумал, как мотанет меня, ничего больше не помню, очухался на земле, гляжу, машина вверх колесами, никого нету. Одна старушонка сзади топает.

— Перевернулись?

— С ходу! Я, значит, встал на ноги, гляжу — вылезают. Один, другой. У Митьки вся харя красная, крови как из барана, а шофер ничего, вылез, обошел вокруг машины. Ширинку расстегивает по малой нужде. Обмыли мы Митьку, вроде ничего, только зуб шатается да губа нижняя пополам лопнула. Шофер говорит: «Уходите, робята, а начальство будет спрашивать, не говорите, что со мной ехали». Сгребли мы свои манатки, мешки с луком, чемоданишко да пешедралом до станции. Митька, тот хоть бы что, идет да губу облизывает, а я затужил. Пошто, думаю, с

тобой связался, с мазуриком, доведешь ты меня до казенного дома с даровыми харчами. Ну, а сам все ж таки иду, была, думаю, не была, а повидалася, все одно нехорошо. Пришли на станцию. Темнотища, как в овине,— у вокзала два фонаря горят, еле живые, да у магазина один. Зашли на вокзал, сижу я на мешках с луком, до того мне стало на сердце неловко, что прямо беда. Куда, думаю, на склоне годов ударился, где, какого лешева забыл? А Митька чемоданишко поставил. «Сиди, говорит, я сейчас». Побежал. Воротился, гляжу, опять карман оттопырен. «Вот, говорит, антигрустину принес, распечатывай, Африканович». Отвинтил казенную кружку от бачка, пирог вынул, наливает мне первому. Я было заотказывался, а потом думаю — один хрен, так с маху полкружки и дерябнул. Митька ржет, сукин кот. «Поглядел бы я, говорит, как ты, Африканович, с возу касманавтом летел». Я говорю: «Тебе, парень, больше досталось: вишь, губа-то как морковина стала».

Иван Африканович взял еще папироску, прижег, затянулся.

— Допили, значит, и эту, дело привычное. Пошел он про поезд узнавать. Захорошило у меня, вроде все и ладно, и небо теперь с овчинку, готов ехать везде, в самую что ни на есть Алма-Ату. Взял Митька билеты. А ты, друг мой, сам понимаешь, что первая колом, вторая соколом, а потом уж летят мелкими пташками. Я говорю, что надо бы еще. «Да вот, Африканович,— это Митька мне на ответ,— вот, Африканович, у нас, говорит, финансы кончились, давай мешок с луком, обменю ежели».— «Бери, говорю, шут с ним и с луком, все легче с одним мешком по вагонам валандаться». Взял он мешок и убежал, а

поезд вот-вот, гляжу — люди, какие были, зашевелились. А Митьки нет и нет, как в воду канул. Гляжу, бежит. «Давай,— кричит,— остатний мешок, а ты бери чемодан да полезай». Только успел я закарабкаться, поезд взял да и пошел, проводница подножкой хлоп, а Митька орет мать-перемать, бежит за вагоном без всякого результату. Ну, думаю, крышка. Отстал Митька от поезда. И билеты у него, и вино, и лук, у меня в кармане пусто, как весной на гумне. Весь хмель будто рукой сняло. Как делу быть? Сижу на Митькином чемодане, а потом, значит, к проводнице: так и так, товарищ с билетами остался, а я, мол, еду. Спасибо, девка хорошая попалась. «Ты, говорит, дяденька, спи пока, а утром я тебя, как только остановка будет, высажу». Залез я на самый верх, к трубе притулился, да и уснул. Пробудился я утром, слез. Гляжу, проводница-то новая. Ходит, а на меня ноль внимания. Я и так, я и эдак. Хожу за ей, головой о железяки стукаюсь. Только заикнусь, значит, насчет моей высадки, а она уже в другом конце; вроде мне и совестно ей надоедать, а сам думаю: должны они меня высадить, раз посулили, должны — и вся недолга. Не высаживают.

— Тебе надо было до Обозерской ехать.— Парень еле сдерживал улыбку.

— Да. Вдруг, значит, идет контроль. А поезд жмет, только столбы мелькают. «Ваш билет?» Я говорю: так и так, Митька, то есть и лук и билет у Митьки. «Какой Митька? Билет ваш покажите!» Я говорю, нету билета, лук и билет при Митьке, а Митька... «Какой лук? Где садились?» Сгребли меня, ясна сокола, да вдоль всего поезда как на позор, только я успел фуфайку с Митькиным чемоданом

прихватить. На остановке сдали меня в милицию, ну, думаю, каюк, сроду в тюрьме не бывал, а под старость лет достукался. Да. «Ваши документы!» Вынул я справку. «Куда едете?» Так и так, в Мурманск ехал. «Почему без билета?» Объяснил я все дело: и как билет покупали, и как Митька остался. «Вот, говорят, сроку тебе три часа, чтобы ехал домой, а штраф, дескать, через колхоз вытребуем». Я говорю, ехать-то мне не на что. А это, говорят, наше дело пятое, три часа тебе сроку. Да. Вышел я из милиции, сперва-то обрадовался, хоть отпустили, думаю, хорошие робята попались. А время уже к вечеру клонит, и в зобу у меня маковой росинки не было со вчерашнего. Митькин чемодан раскрыть посовестился, попил водицы на вокзале. Сижу, Митьку ругаю да на часы гляжу, а милиционер ходит, на меня поглядывает. Пуговицы светлые, штаны новые, как делу быть? Поезд обратный прошел, а кто мне билет даст? Пословица говорит: без денег везде худенек,— а у меня три часа сроку.

— Какая была остановка-то? — спросил парень, улыбаясь.— Наверно, Обозерская и была.

— А и не знаю, друг мой, ничего я в тот момент не видел, до того перепугался. Да. А рядом со мной дамочка сидит, не то чтобы больно молодая, экая востроносенькая; что это, говорит, вы, дяденька, невеселый такой, аль заболели? Да нет, говорю, не заболел, а попал, говорю, в непромокаемую. Так и так, рассказал ей все, а она говорит: один тебе выход, иди в город к самому главному начальству, должны они тебе помощь оказать. Адрес на бумажке написала. Я бумажку эту спрятал, спасибо, говорю, а сам думаю: куда я пойду, некуда идти; пока до бога добе-

решься, апостолы голову оторвут. Дело привычное. Вышел из вокзала, гляжу — поезд подошел. Мать честная, Митька! Кинулся я к нему, обрадел как ребенок маленький, а он хохочет, бери, говорит, лук да пойдем на квартиру, у меня тут знакомые. А я говорю: не надо мне ничего, отпусти ты меня только домой. Продали мы лук, купили обратный билет, посадил Митька меня на поезд, обматюкал да сунул на дорогу буфетных пирожонков. И не помню я, как на свою станцию примахал, гляжу на два фонаря, гляжу на них, и до того мне от ихнего свету тепло стало, что лучше не говори, друг мой! С лесозаготовки так не бегал, за одну ночь вот домой припер, как сто пудов с плеч скинул! Вот, друг мой, какие дела. Обсыпь теперь золотом — никуда больше не поеду.

Парень ухмыльнулся и закурил снова.

— Вот, брат, как на чужой-то стороне нашего брата принимают.— Иван Африканович высморкался.— Не больно-то рады.

— Да-а.

— А ты-то долго ли жил дома?

— Недели две.

— При мне еще приехал. А я три дня и ездил-то всего, а показалось, что года два дома не бывал. Чего тут у нас нового-то есть?

— Да ничего вроде.— Парень взял чемодан, чтобы идти дальше.— Только вон, говорят, баба чья-то умерла в вашей деревне. Ребятишек много осталось...

Парень перекинул чемодан и пошел. Вскоре он исчез за кустами. Иван Африканович тоже встал, прошел метров двести, остановился. И вдруг затряс-

ся, замотал головой, побежал, остановился опять. Потом ноги у него подкосились, он хряснулся на дорогу, зажал руками голову, перекатился в придорожную траву. Кулаком бухал в луговину, грыз землю... И пустой мешок долго белел на пыльной дороге.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

РОГУЛИНА ЖИЗНЬ

Она спала с открытыми глазами. Вдыхала травяные запахи леса, по ее мягкому длинному горлу прокатывался утробный катыш, и опять лениво двигались ее широкие косицы: хруп-хруп.

По-родному, уютно пахло дымом близкого пожога. Шевеля во сне большими добрыми ушами, Рогуля чуяла звуки дальней деревни и спала спокойно, и ей снились отрывочные легкие сны. Она не знала, когда это было, время не двигалось для нее.

Может быть, это было, а может, все это уже есть или будет — ей все равно. Потому что она не знала, что такое время.

Наверно, это была весна.

Кукушка куковала в ближнем березняке. Еще не народились оводы, а комаров относило свежим дыханием ветра, листва на березах только что вылезала из почек. Лес еще не обсох, и кое-где в чапыжниках с трудом исходили на нет грязные островки устаревшего снега. Но здесь, на широкой прогалине, на только что обросшей травою горушке, было тепло, отрадно и сонно.

Рогуля чуяла, как нагревалась земля под обширным, заполнившим луговые неровности брюхом. Прилетевшая из деревни неопрятная галка смятенно и суматошно скакала на коровьем хребте. То и дело оглядываясь и суетясь, она тыкала в шерсть бесцветным клювом, дергала хвостом и вертела головенкой.

Струилось вверху бесформенное, без очертаний солнце. Везде угадывался нетерпеливый рост первозданной листвы. Возились в ивах дрозды-свистуны, пищали синички, и недальняя сосна наращивала к полудню свой шум.

Рогулины товарки лениво бродили в ольховых кустах, звенели колокольцами. Иная, с травиной в мягких губах, вдруг надолго задумывалась. Забыв даже поудобнее переставить ногу, глядела куда-то сама в себя. Другие трудолюбиво и нежадно поглощали молодую траву.

Рогуле не хотелось вставать и идти с коровами. Сквозь дрему накатывались к ней видения прошедших весен, лет, осеней и зим, но она тут же забывала эти видения.

Рогулина трава вырастала на земле в четвертый раз. Каждый раз Рогуля как будто бы удивлялась этой траве, косматому солнцу, теплу, и удивление до

половины лета хранилось в сизой глубине недоуменных коровьих глаз.

Рогуля видела траву, белый березняк за травой, и ей снились отрывочные сны. То коричневое ноябрьское небо с полосами сухого, косо несущегося снега, то темнота хлева с заиндевелыми бревнами и скользкими воротами, то деревенская знойная улица с прилетевшими из леса оводами, то родная поскотина в пору последнего, тихо умирающего сентябрьского тепла.

Но она не знала, что спит и что все это, кроме теперешней травы, солнышка и березняка, только сон. Ей казалось, что все, что ей снится, вовсе не сон, и прошлое было для нее настоящим, потому что она никогда не ощущала времени.

Над ней вздыхала ветром голубая ласковая весна, и в снах к ней возвращалось только то, что повторялось не однажды и что запоминалось, а то, что было однажды, ей почти никогда не снилось. Она не помнила краткую, словно августовская зарница, пору начала, когда в глухую предвесеннюю ночь, в темном хлеву, ее облизала мать и руки человека очистили ноздри новорожденной, вызывая первое дыхание. Те же руки бережно обтерли соломой ее плоское тельце и подхватили, легкую, долгоногую, чтобы унести в избу.

Человеческое жилье просто и нехитро отдало ей все, что у него было хорошего. За печью, на длинной соломе, было очень тепло, сухо. Скамейка загораживала проход между печью и стеной. Утром, только проснувшись, Рогулю обступали ребятишки, и старая женщина, ее хозяйка, светила им лампой. Они восторженно гладили Рогулю по скользкой сухой

спине и повизгивали от радости, а она долго не могла встать на разъезжавшиеся копытца и тыкалась мокрыми губами в ладони.

Почему-то ей тотчас же навязали на шею красную тесемку.

Потом хозяйка принесла широкое блюдо с молозивом, просунула палец в беспомощные губы телочки и вместе с ними опустила кисть руки в молоко. Так Рогулю научили есть, и она впервые, суетливо теряя пищу, утолила голод, который начался еще в материнской утробе.

— Мам! Бабуска! — закричал один из ребят. — Гляди, она ус ластет, ластет!

Но Рогуля еще не росла. Просто это наполнялись молозивом брюшные провалы у крестцов, и от этого ее плоское тело слегка округлялось прямо на глазах ребятишек. Их было много, этих маленьких человечков, они каждое утро просыпались еще затемно и неодетые бежали к Рогуле, и каждый из них первый хотел погладить ее по шерстке. А она, тоже радостная, заражалась их детским восторгом, взбрыкивала, то совала мокрые губы прямо в голые пупки и ладошки.

За печкой ее держали до самой весны. Скамейка уже не могла удержать Рогулю, хозяин сделал барьерчик из трех еловых поперечин. Пока он примерял поперечины, Рогуля стучала копытцами по избе, бочилась и прыгала, не слушая дружного визга. Она уже не была такой беспомощной, когда падала от своих же движений; теперь у нее подсохла и отвалилась от живота ниточка пуповины, копытца и круглые коленца окрепли, уши научились шеве-

литься. Ей очень хотелось бегать, она бросилась вперед, потом вбок, наскочила на шкаф и упала, и от этого заплакал один, почти самый маленький из ребят. Ему показалось, что она ушиблась и сейчас умрет, ему было еще горше оттого, что никто не понимал этого и все смеялись. Тогда почти самого маленького взяли на руки и поднесли к Рогуле, говоря, чтобы он подул на ее ушибленное место. Он долго, старательно дул, и телочка ожила и вскочила, и почти самый маленький счастливо смеялся на материнских руках.

Рогуля была черненькая, с белыми заливами на боках, белыми получились и передние бабки, и еще на лбу, где завивалась воронкою шерсть, белая же светилась звездка. К этой самой звездке уже к весне тянулся ручонкой самый маленький, а тот, что был почти самый маленький, уже не ревел от обиды за Рогулю и часто носил ей хлебного мякиша.

И вот сейчас Рогуле снилась такая же весна, какая была тогда, с сизой росой на траве, с запахом дымов и отрешенными криками бесшабашных петухов. Ее выпустили на улицу утром, и она растерялась от непонятного восторга, задние ноги сами взметнулись и быстро распрямились во взлете, она подпрыгнула и, изогнувшись в воздухе, упала на копытца. Так она прыгала на дымной от росы траве, мелькая своей красной тесемкой, а старуха хозяйка стояла на крыльце с пойлом и приговаривала:

— Ну Рогуля и разбойница, ну и охальница.

Корова — Рогулина мать — тихо и ревниво мычала, шла за нею, воскрешая в памяти материнскую

тревогу за свое почти забытое родимое существо. Но Рогуля забыла свою мать, вернее, она никогда и не знала матери. Мелькая красной тесемкой, она ускакала от нее. Копытца побелели, промытые росой, мякоть земли ласкала их, а каждую шерстинку в избытке поило светлым теплом громадное в своей щедрости и оттого никем не замечаемое солнце.

В ту же весну она вышла со стадом в поскотину. Легкая приятная боль в темени, боль от начинающих прорезаться рогов, томила ее в тот день. Стадо разбредалось по кустам, в лесу сухая дробь барабанки сливалась с собственным эхом и замирала, погашенная ветром.

И дни для Рогули словно стояли на одном месте. По утрам ее первую выпускали со двора, она нежилась, ленилась, пока хозяйка не выносила ей пойла из простокваши и раздавленного картофеля. И вновь она шла со стадом в поскотину, шла, не слушая пастуха, который самоуверенно думал, что это по его приказу стадо идет в поскотину. На самом же деле стадо шло в поскотину потому, что ему было все равно куда идти, и получалось так, что оно шло туда по приказу пастуха. Коровы, равнодушные к шлепкам погонялки, тут же забывали об этих ударах и, добродушные, безразличные к боли, шли дальше.

Однажды под осень, когда Рогуля уже не прыгала напрасно и не дурачила пастуха, к ней почему-то весь день ласкалась рыжая, с неприятно звучащим колокольцем корова. Она то лизала Рогулю, то терлась головой, и Рогуле было неприятно от этого назойливого внимания. Рыжая до полдня с непо-

пятной нежностью преследовала Рогулю и вдруг, когда Рогуля щипала траву, ни с того ни с сего прыгнула на нее сзади. Рогуля от обиды бросилась прочь, и пастух видел все это. Он сбегал в деревню, пришли люди и рыжую на веревке увели из поскотины.

После этого что-то изменилось в Рогуле, она словно ждала чего-то и иногда без причины глядела на кусты своими сизыми глазищами.

Прошла осень и зима, выросла другая трава, в поскотине вновь обсохли брусничные горушки. Перед самым выгоном на подножный корм Рогулю три дня сжигала какая-то новая тревога, хотелось мычать, но хозяйка ничего не заметила, и все прошло через три дня. По утрам Рогуля спокойно выпивала ведро теплой воды, заправленной брюквенной ботвой, зарывала морду в последнее, пыльное от старости сено.

Но вскоре, уже на лугу, Рогулю вновь охватило неясное беспокойство. Она весь день не ела траву, не лежала на горушке и даже не замечала злой ругани пастуха, который до ручки изломал об нее толстую ольховую палку. Рогуля металась в кустах и помыркивала от какой-то страшной, никогда еще не испытанной ею жажды, наполнившей все ее существо от задних копыт и до кончиков великолепных, словно бы отшлифованных ветром рогов.

Она упиралась и раздвигала копыта, когда пришедшая в лес хозяйка намотала на ее рога веревку и повела из поскотины. Рогулю привели в большое колхозное стадо. Чужие тощие коровы, недовольные ею и все-таки равнодушные, бродили кругом, но она

не замечала этого недовольства. Люди отпустили ее и ушли, и вдруг Рогуля услышала призывный утробный рев. Этот рев проникал в нее всю, властно завладевал ее движениями, она пошла на него, отрешенная от всего окружающего. Большое, во многом не похожее ни на кого из коров, но все же понятное Рогуле существо тоже шло к ней, они сблизились, и бык, напрягая мускулы, осторожно коснулся кольцом Рогулиной шеи. Потом он ласково положил ей на спину толсторогую голову. Рогуля же зачем-то увернулась и в ту же минуту ощутила радостную облегчающую тяжесть. Солнце на голубом небе стремительно выросло, ослепило и заполнило весь зеленый широкий мир, тот мир, в котором, будто снежинка в глазу, тотчас же растаяла вся Рогуля.

Так и кончилась ранняя безбедная пора. К обновленной Рогуле сразу же после того дня пришло ровное спокойствие. В то лето она еще не раз слышала жалобный сиротливый рев, доносившийся из чужого стада. Но этот рев уже не трогал ее, она была равнодушна. Теперь она стала осторожна в движениях. Сонная глубина ее глаз таила в себе отрешенность никому не заметного достоинства, и Рогуля вся жила в своем, образовавшемся в ней самой мире. Даже обжигающий удар пастушьего бича не мог ни разу вывести ее из состояния отрешенности. К этому времени пришла изнуряющая летняя жара. Смешанная с гулом оводов, слепней, мух, комаров, жара эта давила на весь белый свет, на всю бесконечно терпеливую землю. Пожухли и очерствели изросшие к исходу лета молчаливые травы. Пересохли и умерли когда-то ясные лесные

ручьи, даже пастушье эхо еле звучало в лесах. Рогуля была по-прежнему равнодушна. Иногда, повернув голову на шорох в кустах, она забывала выпрямить шею, так и стояла с повернутой головой. Только однажды в полдень, когда оводы и слепни облепили ее всю и предельная боль стала невыносимой, Рогуля взбесилась, обезумела и со стоном кинулась из лесу в деревню, к людям. За ней, закинув хвосты на спину, бросилось все стадо. Лишь в прохладной темноте двора Рогуля пришла в себя.

После этого пастух пас коров по ночам. Серая невидимая мошка забиралась глубоко в шерсть и пила кровь. Кожа у Рогули зудела и ныла. Однако ничто не могло разбудить Рогулю. Она была равнодушна к своим страданиям и жила своей жизнью, внутренней, сонной и сосредоточенной на чем-то даже ей самой неизвестном. Тихие дожди августа отрадной завесой заслонили пастбища и поля от многомиллионной летучей твари: остались только одни комары и лесные клещи — кукушкины вошки. Сама кукушка замолкла еще в середине лета, видно подавилась ячменным колосом...

В ту пору Рогулю часто встречали у дома дети. Они кормили ее пучками зеленой, нарванной в поле травы и выдирали из Рогулиной кожи разбухших клещей. Хозяйка выносила Рогуле ведро пойла, щупала у Рогули начинающиеся соски, и Рогуля снисходительно жевала у крылечка траву. Для нее не было большой разницы между страданием и лаской, и то и другое она воспринимала только лишь внешне, и ничто не могло нарушить ее равнодушия к окружающему.

Это длилось до самой вьюжной зимы. Темный сырой хлев заиндевел изнутри, Рогуля согревала свое жилье собственным теплом. За бревенчатой стеной шуршали снежные ветры, они еще больше оттеняли глубокую зимнюю тишину. Однажды ночью Рогуля учуяла за хлевом волка. Но он ушел до того, как она разбудила в себе тревогу, и опять темная тишина охватила и хлев, и Рогулю, и всю безбрежную зиму. Вскоре у нее сперва означилось, потом набухло вымя, и она еще сильнее ощутила приближение того события, для которого она и жила. Правда, она не знала, что жила только для этого. Но, ощущая толчки в животе, Рогуля все чаще начала беспокоиться. Теперь она боялась хозяйки и не доверяла ее рукам. Рогулю тревожил даже запах снега, исходивший от этих рук, она долгим предупреждающим мычанием встречала человека.

В ту ночь, уже под утро, когда хозяйка спала, Рогуля после недолгой муки облизала теленка. Она будто раздвоилась, словно стало в ту ночь две Рогули: она сама и это теплое существо. Но его унесли от нее утром. Полная тревоги и тоски, она мычала, будто плакала всем своим опустевшим нутром. Но люди унесли его, вернее, половину ее самой, отчаяние и боль заполнили весь хлев и ее самое. Но это отчаяние вскоре высохло, как детская пуповина, перешло в еще большее равнодушие к себе.

...Ветер не спеша обласкал пригорок, захолонул в широких ноздрях коровы. Рогуля дремала, но в ее сон закралась давнишняя-давнишняя боль, боль потери. Рогуля остановила жвачку и, не вспомнив

причину этой боли, дремала и плакала от этой давнишней неясной боли, и горошины слез одна за другой выкатывались из ее безучастных ко всему глаз.

Но она всю жизнь была равнодушна к себе, и ей плохо помнились те редкие случаи, когда нарушалась ее вневременная необъятная созерцательность. Ей плохо помнилась и та весна, больше, чем другие весны, сдобренная страхом. Она лежала тогда тут же, на этой горушке, в первые зеленые дни, и однажды ее мохнатое ухо вздрогнуло, изловив незнакомое движение в чапыжнике. Ветер в то утро тянул к чапыжнику, и Рогуля, ничего не почуяв, опять успокоилась. Там, в зарослях, зеленела хилая, выросшая на несчастливом месте береза. У этой березы лежала большая тощая медведица. Припав к еще не прогретой земле, медведица сонливо шевелила узко поставленными ноздрями, но была вся напряжена и готовилась к прыжку. Ее тощие бока нервно вздрагивали. Голодная еще после зимней спячки, она тоже была матерью и потому смела и сильна. Медведица лежала в чапыжнике и знала, что ей не удастся в одно усилие допрыгнуть до жертвы, для этого нужна осенняя крепкая сытость. Надо было подкрасться еще на добрую половину прыжка, в то же время она чувствовала, что корова сейчас встанет, и тогда будет еще труднее запрыгнуть ей на спину. И медведица, не дождавшись очередного ветряного вздоха, забыв осторожность, продвинулась вперед. Тотчас же, ощутив беду, часто забилось от страха Рогулино сердце, она вскочила и с жалобным ревом метнулась в сторону. В то же время медведица двумя тяжкими, но быстрыми прыжками на-

стигла Рогулю и бросилась на нее, слепая и яростная от страха нападения. Потому что нападающий всегда ощущает страх, ощущает раньше своей жертвы.

Рогуля метнулась в сторону, и медведица, метившая разорвать сонную артерию, лишь скользнула лапой по шее коровы.

Рогуле надо было бежать, а она металась по лесной полянке, все другие коровы тоже бестолково метались и трубили. Медведица в отчаянии бросилась на Рогулю еще раз, но тут прибежал пастух, закричал, заколотил в барабанку, и медведица, плача, ломая сучья, исчезла в чапыжнике.

После этого Рогулю три дня держали во дворе, дети носили ей самую лучшую траву, а хозяйка делала ей примочки. Три глубокие раны на шее быстро затянуло коростой.

* * *

Прошла еще одна осень и долгая зима, еще одна весна отшумела, но Рогуле было все равно, она жила в своем, созданном ею самой и никому не известном мире.

Опять быстро шло на закат короткое лето. Темные низкие тучи уже летели над пустыми гулкими поскотинами, потом они стали желто-серыми, сплошными и однажды обсыпали стадо белой снежной крупой.

Рогуля дремала, в большой ее голове чередовались дремы-сны.

Однажды утром ее не выпустили из двора, ста-

руха хозяйка пришла доить корову в необычное, более позднее время.

Рогуля дремала.

Старуха села на скамеечку, струи молока звякнули об цинковую бадью. Бадья наполнилась на две трети молоком. Рогуля спокойно жевала жвачку, она дремала и думала что-то свое, чего никогда никому не узнать.

А старуха подоила Рогулю, прислонилась головой к большому коровьему брюху и с причетом, тонко, тихо завыла:

— Рогулюшка ты моя-а-а! Ой, да ты моя ведерница-а-а! Ой, да что это будет-то-о-о!

Хозяйка затихла как-то враз. Встала, суровая и деловитая, крикнула в сени:

— Гришка! Дьяволенок, беги зови Марусю-то. Да Ваське скажи с Катюшкой, пусть обуваются. И Мишка пусть идет, да Анатошку с Володей ведите. Гришка!

Гришка убежал, топая сапожонками. Старуха унесла молоко, а вскоре вернулась в стойло вместе с кучей ребятишек. Она за рукав подвела к Рогулиной морде старшего, Анатошку:

— Иди, Анатоша, ты первой. Да погладь, обними Рогулю-то! Потом ты, Катюшка, а после Ваське с Гришкой дайте!

Дети по очереди подходили к Рогуле и гладили ее большую звездчатую голову. В самую последнюю очередь к ней поднесли маленькую Марусю, девочка ладошкой испуганно коснулась Рогулиной звездочки и сморщила бровки, и все тихо постояли с минуту.

— Ну, бегите в избу теперече, — сказала бабка

Евстолья. Зажимая рот концом платка, она вместе с ребятишками ушла со двора.

В это время появился чуть прихрамывающий Иван Африканович, открыл дворные ворота.

Во дворе стало светло от первого холодного снега, и сквозняк начал сочиться в щели. Хозяин привязал Рогулю веревкой за рога к столбу. Подошел другой, знакомый Рогуле мужик, пахнущий трактором и табачным дымом, сел на стелюгу.

— Так ты что, Африканович, — заговорил он, — сам-то не попробуешь?

— Нет, брат Миша, уйду в избу. Давай уж ты, ежели...

Иван Африканович подал Мишке большой острый нож.

— Топор-то вон тут, ежели, — добавил он, махнул рукой и, сгорбившись, ушел.

Рогуля не знала, зачем привязали ее к столбу. Она в ноздри, не открывая рта, тихо мыркнула, доверчиво поглядела на улыбающегося Мишку. Сильный глухой удар в лоб, прямо в белую звездочку, оглушил ее. Она качнулась и упала на колени, в глазах завертелся белый от снега проем ворот. Второй, еще более сильный удар свалил ее на солому, и Рогуля выдавила из себя стон. Мишка взял из паза нож и не спеша полоснул по мягкому Рогулиному горлу. Она захрапела, задергалась и навсегда замерла на соломе.

Через полчаса Рогулю было уже не узнать. Ее чернопестрая шкура висела на коромысле внутрь шерстью, Мишка и Иван Африканович раскладывали теплые потроха. Иван Африканович держал

в ладонях и разглядывал еще горячий Рогулин плод.

— Двойнички были... заметно уж, — сказал Иван Африканович и выбросил плод в снег за ворота, а куровский кобель Серко, облизываясь, побежал к тому месту.

А на четырехногой деревянной стелюге, на которой пилят дрова, лежала и остывала большая Рогулина голова. Светилась на лбу белоснежная звездочка, и в круглых, все еще сизых глазах так и осталось недоумение. Глаза отражали холодное, рябое от первого снега, уходящее к поскотине поле, баню, косую изгородь и копошащегося в снегу куровского кобеля. Только все это было маленьким, крохотным и перевернутым с ног на голову.

— Чего с мясом-то будешь делать? — спросил Мишка.

— Свезу в райсоюз, сулили принять в столовую, — сказал Иван Африканович.

Было слышно, как в избе взахлеб, горько плакал кто-то из сыновей; глядя на него, заплакал еще один, потом третий...

— Поди ведь жениться придется, Африканович,— сказал Мишка.

Иван Африканович вяло и скорбно махнул узловатой рукой:

— Не знаю, брат Миша, что теперь и заводить... Хоть в петлю... Глаза ни на что не глядят...

Мишка промолчал. Он видел, как на кровяные пальцы, перебиравшие Рогулины потроха, одна за другой, капали соседские слезы. И Мишка промолчал, ничего больше не сказал.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. ВЕТРЕНО, ТАК ВЕТРЕНО...

Первый снег, как и всегда почти бывает, растаял.

Степановна — Нюшкина мать — шла из Сосновки навестить Евстолью. Ступала по одорожной тропе да хлопала по бедру: охти мнешеньки, охти мнешеньки! Благодать-то... погодушка-то... Другая рука не свободна — в большущей корзине два пирога с гостинцами для Катерининых ребятишек, да шаль на случай дорожной стужи, да топор без топорища,— может, насадит Африканович.

Степановне стало жарко в еще девичьем с борами казачке. А все везде было тихо и отрадно, ровная отава в лугах как расчесанная, застыли, не шевельнутся на бровках сухие былиночки. Воздух остановился. Темные елки берегли зеленую свою глубину: глядишь, как в омут. У сосен зелень сизая, не-

густая, тоже не двинут ни одной иглой, а такие высокие. И сквозь них голубенькое, почти белое небо без облаков. Тишина. Если остановиться, то за сотню саженей слышно, как попискивает в ржаной стерне одинокая мышка. Там, дальше, еще ясней каждый ольховый куст. Составленные в бабки бурые льняные снопы словно братание устроили на широком отлогом поле. Обнялись, склонили кудрявые головы друг к дружке да так и остались...

На крутолобом взгорке, над речкой, Степановна остановилась, чтобы перевязать платок. Послушала, как свистит щекастая синица, поглядела на кустики. Ягоды давно облетевшего шиповника горели в ольшанике красными огоньками. Внизу за кустами почуялось какое-то булькапье.

— Там это кто в воде-то булькается?

Бульканье остановилось, никто не отозвался. Степановна терпеливо подождала. Наконец послышался нерешительный детский голос:

— Это я, Гришка...

— Дак ты чей парень-то, не Ивана Африкановича?

Гришка вылез наполовину из своего укрытия. По тому, как он молчал, было ясно, что он Ивана Африкановича.

— Дак ты, Григорей, чево тамотко делаешь-то?

— Да рыбу сушу.

— А где рыба-то, ну-ко покажи!

— Так ведь нету еще.

Степановна засмеялась:

— Гляди не простудись. Баушка-то дома?

Но Гришка уже не слушал Степановну, буровил батогом речную воду.

Степановна промокнула глаза концом платка: «Сирота. С эдаких-то годков да без матки...»

У самой деревни в безветрии пахло печеным тестом. Топились субботние бани, кто-то рубил на грядке скрипучую, как бы резиновую капусту, и валек очень звучно шлепал у портомоя. Стайка сейгодных телят стабунилась у изгороди на придорожном пригорке, телятам лень щипать траву, одни лежали на траве, другие дурачились вокруг Катерининой Катюшки.

Девочка, выросшая за лето из пальтишка, в красных шароварах и резиновых сапожках, сделала на лужке «избу» из досок и четырех кирпичей, раскладывала фарфоровые черепки и напевала. Обернулась, начала стыдить провинившегося теленка:

— Бессовестный! Вчера лепешку съел, сегодня фартук жуешь. Бессовестный, пустые глаза!

И замахнулась на теленка изжеванным фартуком. Теленок, не чувствуя вины, глядел на Катюшку дымчато-фиолетовыми глазами, белобрысые его ресницы моргали потешно и удивленно.

— Не стыдно?.. Называют меня некрасивою, так зачем же... я вот тебе!.. он ходит за мной.

Катюшка увидела Степановну, застеснялась, затихла.

— В школу-то нонче ходила? — спросила Степановна.

— Ходила, — Катюшка стыдливо заулыбалась, — сегодня только два урока было.

— Ну и ладно, коли два.

Степановна, глубоко вздохнув, направилась в деревню. Ворота Ивана Африкановича были не заперты. Степановна взялась за скобу. Евстолья сидела

и качала зыбку, старухи, как увидели друг дружку, так обе сразу и заплакали. Они говорили обе сразу и сквозь слезы, и Вовка, сидевший за столом с картофелиной в руке, озадаченно глядел на них, тоже готовый вот-вот зареветь. Он и заревел. Тогда Евстолья сразу перестала плакать, вытерла ему нос и прикрикнула:

— Я вот тебе! Это еще что за моду взял!.. Все-то, матушка Степановна, горе, горе одно, ведь где тонко, там и рвется. Сколько раз я ей говорила: уходи, девка, со двора, вытянет он из тебя все жилушки, этот двор. Дак нет, все за рублями, бедная, гонилась, а ведь и как, Степановна, сама посуди, семеро ребят и барана съедят, их поить-кормить надо.

— Да... да... как жо, милая, как не кормить... да...

— ...Встанет-то в третьем часу, да и придет уж вечером в одиннадцатом, каждой-то божий день эдак, ни выходного, ни отпуску много годов подряд, а робетешка-ти? Ведь их тоже — надо родить, погодки, все погодки, ведь это тоже на организм отраженье давало, а она как родит, так сразу и бежит на работу, никогда-то не отдохнет ни денька, а когда заболела первой-от раз, так и врачиха ей говорила, что не надо больше ребят рожать; скажу, бывало, остановитесь, и так много, дак она только захохочет, помню; ну вот, опять, глядишь, родить надо-тко, один по-за одному...

— Дак в приют-от взяли ково?

— Красные солнышки, поехали, дак ручками-то и машут и машут, а я стою на крылечке-то, не могу и слова выговорить, взяли в приют двойников-то, мясо возил в район да Мишку с Васькой увез на разу, да Анатошку в училище сдал, а Катюшку-то,

Митька пишет, чтобы посылали, ежели кто в Мурманское-то поедет, дак вот и жалко, матушка, до того жалко робят-то, что я уж и ночами-то не сплю, не сплю, Степановна, хоть и глаза зашивай.

— Как, милая, не жалко, как не жалко...

— Танюшка-то там, с Митькой, теперече живет, паспорт, пишет, выдали и на работу на хорошую устроил Митька-то, а ежели и Катюшку опять туда, дак на еённое на старое-то место, говорит, и возьмут, только ведь мала-то еще, больно мала-то, вот ежели Катюшку-то отправим, дак и останутся только Гришка да Маруся да в зыбке два санапала. А и с этим, Степановна, разве мало заботушки, руки-то у меня стали худые, худые, матушка. У тебя теперь каково со здоровьем-то?

— А лучше теперече, Евстольюшка, лучше.

— Дак покосила-то каково, добро?

— И покосили дородно. Нюшка, когда день-то давали, на два стога пахрястала, и управили вовремя; ежели прикупим пудов с десяток, дак и прокормим корову-то.

— Вот и наша-то, как дали день-то, так и убежала в ночь косить-то, да всю ночку и прокосила, да и надсадилась, утром и не поела, опеть убежала, а в обед вдруг Мишка Петров и бежит: «Евстолья, давай скорей за фершалом посылай!» У меня, матушка, так сердце и обмерло. Привезли ее на телеге, Катерину-то, да подрастрясли, видать, дорогой-то, повалили мы ее на кровать, а она, сердешная, только глотает горлом, только глотает да все руками у постели шарит, зовет робетешок, а уж сама и говорит еле-елешеньки и белая вся как полотенышко...

Евстолья опять заплакала, потом заткнула за ухо морозную прядь, утерла глаза.

— Вот фершалица-то пришла да уколов поделала, говорит, пусть лежит, чтобы не шевелилась, не тревожилась, да и ушла, а я ночью-то от постели не отходила, все караулила, она, Катерина-то, уж в первом часу глаза-ти открыла, да и говорит: «Мама, это ты сидишь-то?» — «Я, я, милая, лежи ты спокойно, лежи ради Христа».— «Ну вот, говорит, мне, мама, и лучше стало. Гришка-то, спрашивает, с Катюшкой пришли домой?» — «Я гу, пришли, пришли». А сама вот плачу, вот плачу. «Мама, говорит, нет от Ивана-то письма?» Я говорю — нет, нету, а сама думаю: наплюнула бы ты на него, на пустоголового, — ишь, в самой сенокос в бурлаки уехал, все бросил, а тут и майся. Вот поговорили мы с ней, я и говорю: может, самовар поставить, кипяточку бы попила, может, и лучше будет. Она мне и говорит: «Поставь, мама, самовар-от». Я только лучинок нащепала да углей наклала, чую, она меня и зовет... Ой, матушка, Степановна, подошла я это ко кровати-то, села у изголовья, а она за руку, за руку меня ловит да воздухом-то ухлебывает. «Мамушка, говорит, розбуди ребят-то, ведь я умираю...» Я-то, милая, сижу плачу, не знаю, чего делать, а она только после и сказала, уж без памяти, видно, сказала: «Иван, ветрено, говорит, ой, Иван, ветрено как» — да тут и вытянулась, чую, затихла вся...

— Не много и помучилась, сердешная.

— Не много, не много, а у меня, Степановна, зажало все вот тут, зажало как тут-то, я, милая, и встать не могу, самовар-от согрела да обмыла ее, голубушку, обрядила ее уж утром и робетишечек

не будила... Как оне у меня пробудились да матку-то увидели... Ой, господи, царица небесная, матушка, Маруся-то глядит на меня и спрашивает: «Баба, баба, а мама-то пошто не встает, она спит, наверно?» Я говорю: «Спит, милая, спит, уснула твоя мама...»

— Царство небесное, светлое ей место, — сказала Степановна и перекрестилась.

— Будто у ее сердце чуяло, все невеселая была накануне-то, Танюшку вспомянула, маленького в тазу вымыла, а гли-ко, Степановна, как она ночью-то косить ушла, у меня ровно сердце-то не на месте, вот болит, вот болит; как сейчас помню, легла это я на печь, робетешек уклала, да и легла, только забылась маленько, а ночь темная и тихо до того, что в ушах так и звенит. Вот, милая, только я задремала на пече-то, чую, в куте половица скрипнула, думаю, кот ходит, кот-от у нас тяжелой на ногу, думаю, кот ходит, а как рукой-то повела, а кот-от рядом со мной спит у самой трубы. Ну, думаю, это изба садится, половица-то скрипнула; полежала я, да и вдругорядь забылась. Только чую, опять скрип, скрип в куте-то, а я вот хочу пробудиться и никак не могу пробудиться-то, и чую, будто бы голос, до того явственный, тихой такой голос, вроде как баушка-покойница говорит: «Евстолья, Евстолья, где ты живешь-то, девка? В Сосновке живи». Это голос-то, а мне вот уж так тяжело, будто утюг на грудину положен, а пробудиться-то не могу никак, уж пробудилась-то под утро, гляжу, а бадья на лавке вся в воде, вода из бадьи вся вытекла, поглядела, а бадья-то целехонька, да и ложка одна на пороге лежит. Вот слезы-ти и пришли того же дни, да и ложка лишняя стала. Вот, матушка.

— Дак положили-то Катерину во что? — спросила Степановна.

— А положили-то, матушка, в это шерстяное платье, что отрез-от ей о прошлом годе выдали, да в боты в светлые, а на голову-то косынку плетеную, кружевную-то, что в девках-то, красное солнышко, ходила, а домовину-то Федор строгал, я угольков-то разожгла в чугунке да обнесла, обкурила гроб-от, только бы из избы выносить, Мишка мерина в телегу запряг и могилу один выкопал, вот только бы ее выносить, а Иван-от в избу да с порога на гроб-от хлесть, еле мы его водой отлили. Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял, как неумной сделался, все сидит, все сидит, а слезы-ти так у его и катятся, оброс, на себя стал не похож. «Мне, говорит, матка, все равно не жить теперече». Вот один раз, гляжу, вызнялся да побежал, как не в себе, я за им кинулась, вижу, сейчас чего да нибудь с собой сделает, вот догонила, да и кричу: что тебя, леший! Что ты бегаешь-то! Ведь не один, вот у тебя робята малые, кто их поить-кормить будет, что ты, водяной с тобой, чего задумал-то! Иди, говорю, домой, чтобы и разговору не было, чтобы сейчас же домой хожено! А он это на лужок-от рядом-то со мной опустился да ноги-ти мои обхватил, вот плачет: «Матка, матка, чево мне теперече, что я теперь без Катерины, куда...» И я-то с им плачу, сели на землю-то, да и ревим оба, как маленькие... Вот ввечеру гляжу, лопату взял да и пошел в загородку картошку копать, накопал корзину, на траву сушить высыпает, другую накопал, ну, думаю, даст бог, направится, отойдет, а тут корову надо резать да робят повез, вроде у его и отошло от сердца ма-

ленько. Только по ночам-то тоже не спит, сердешной, все, чую, табак палит да по избе ходит по ночам-то. Не знаю, матушка, как и жить будем, не знаю...

— Дак корову-то почем за килограмму-то сдали?

— По два рубля припяли корову-то, а уж говорила: может, не надо бы нарушать, может, и прокормили бы как-нибудь, — ну, думаю, ладно, может, телушечку к зиме купим, вон у Мишки больно добра телушка-то, на государство ладят сдавать.

Тем временем вскипел поставленный между разговорами самовар, Евстолья выставила чайные приборы, а Степановна вынула два пирога. Старухи попили чаю, немного поуспокоились, ребятишки уснули в зыбке, и очеп скрипел, Степановна качала люльку.

— Вон топор-от бы насадил мне, уж до чего дожили, что чурку исколоть нечем стало.

— Как не насадит, насадит.— Евстолья мыла чашки.— Приди уж, Степановна, в сорочины-ти, приди, шестая нидилькя ведь пошла, шестая... Нюшка-то все на дворе али как?

— На дворе, Евстольюшка, все на дворе. — Степановна перешла на шепот: — Иди-ко, чего скажу-то, девушка, насчет Нюшки-то...

Евстолья подставила к Степановне обрамленное сединой ухо, и Степановна шепнула ей что-то.

— Ой, не знаю, матушка. — Евстолья закачала головой. — Не знаю. Кабы... Уж что... не вернешь теперече Катерину-то, а и я какая жилица на белом свете? С самим уж говори...

Степановна опять пошептала, Евстолья тоже шепотом, хотя в избе никого не было, проговорила в ответ:

— На что бы лучше, на что бы... Нюшка... Робята малы еще... А и мне бы умереть спокойно... Ой, матушка...

Евстолья все вздыхала, а Степановна нашептывала ей какие-то слова и очеп скрипел в осиротевшей избе Ивана Африкановича.

— Да сам-то он где? — вдруг громко спросила Степановна.

Но Ивана Африкановича близко не оказалось. Он еще с утра ушел на ферму копать новый колодец.

Уж так повелось, что всю его судьбу решали всегда без него, и через день вся деревня говорила, что дело это верно и что никого нет лучше Нюшки, заменить Катерининым ребятишкам родную мать, да и коровам прежнюю обряжуху...

Только Иван Африканович ничего не знал об этом и ходил обросший, страшный и все молчал да курил горький сельповский табак.

2. ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Он не спал этими долгими осенними ночами. Редко-редко забывался на полчаса. Смыкались жесткие, словно жестяные веки, и тогда горе отходило, растворялось в темноте. Но с пробуждением оно было еще острее, еще свежей и явственней. Иван Африканович переживал тогда все сначала...

Однажды он очнулся под утро, мигом все вспомнил и скрипнул зубами, уткнулся в подушку. Прислушался — тишина. Только посапывают ребята да, равнодушные, постукивают на стене часы. И вдруг он услышал тещин глухой голос, она молилась в темноте. Никогда она раньше не молилась, не слы-

хал, не видел Иван Африканович, изредка лишь перекрестится, а тут молилась. Речитативом, вполголоса Евстолья выводила незнакомые слова:

— «Возоплю в скорби моей к господу богу моему, и услышит меня. Из чрева адова вопль мой, услышит голос мой. Ввергнет меня в глубины сердца морского, и все реки обнимут меня. Все высоты твои и волны твои на меня падут...»

Ивану Африкановичу стало еще горше от никогда не слышанных этих слов. Тикали на стене часы, посапывали ребятишки, а Евстолья глуховато, спокойно продолжала молиться:

— «Возольется вода до души моей, бездна обымет меня последняя... Остынет глава моя в расселинах гор, сойду в землю, под вечные вереи и заклёпы, и да уйдет от тления жизнь моя к тебе, господи, боже мой...»

Старуха затихла.

«Худая стала Евстолья, — подумал Иван Африканович, — вон и молиться начала. Никогда не молилась. А ежели и она умрет, что тогда? Совсем будет каюк, совсем крышка».

Он незаметно встал, надел сапоги. Не умывшись, не сказав ничего, взял топор и сумку еще со вчерашней горбушкой. Вышел на улицу.

Ночью, во время краткого забытья, ему уже много раз приходила почему-то на память старая его лодка, что лежала у озера. Все время думал о лодке. Он давно уже хотел сделать новую лодку.

И вот сегодня, чтобы хоть немного забыться, Иван Африканович решил сходить в лес, к примеченной еще в прошлом году осине для новой лодки.

Он шел колесной дорогой, проложенной им самим же через кошенину и старые клеверища, и все время думал про осину. Ежели здоровье будет, к санной дороге можно срубить, обтесать нос и корму, насверлить дырки для сторожков[1] и вытесать ей нутро. А с первым заморозком, когда установится дорога, вывезти лодку из лесу в деревню. Полежала бы до весны в сарае, подзадубела, чтобы весной развести и доделать, поспеть к водополью и щучьему нересту.

Деревня осталась километрах в трех позади. Он, не оглядываясь, вошел в лесную поскотину, перешел раздобревший было от снега и теперь опять успокоившийся ручеек. Увидел примерно двухнедельный медвежий след на глинистом взлобке, и вспомнилась прошлогодняя медведица, что ободрала Рогулино плечо. «Она, наверно, косолапая,— подумал Иван Африканович.— Знамо, она, вон и муравейник распотрошила. Может, и сейчас где-нибудь близко. Дело привычное».

Поскотина была широка, безмолвна, только ветер иной раз дул по сосновым верхам и сосны возмущенно и сонно отзывались в ответ. Опять выглянуло ненадолго спокойное, усталое к осени солнышко, но тучи сразу же сомкнулись.

Ивану Африкановичу было тепло, он шел по лесу, как по деревенской улице. За жизнь каждое дерево вызнато-перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана любая подсека. Вон маленькое, не больше пятачка, болотце: еще в детстве около него проколол

[1] **Сторожки** — цилиндрические одинаковой длины палочки, вставляемые в поверхность осины. При выдалбливании служат для того, чтобы знать толщину стенок будущей лодки и не передолбить лишнее.

сучком босую ногу; вон виланки корявой сосенки: отдыхал под ней сколько раз; вон брусничный бугор: ставил силки и прыгуны на тетер; тут в прошлом году вырубал вязы для дровней, там заготавливал драночные баланы, здесь тесал хвою для коровьей подстилки. Везде свое государство, куда ни ступишь...

На старой куровской подсеке Иван Африканович увидел давнишнюю кошенину. Срезанная трава лежала под ногами, выцветшая от многих дождей, промытая почти добела. «Вот, — подумал Иван Африканович, — кто-то покосил да так и оставил неуправленным».

Обходя ивовый куст, он вдруг увидел висевший на ветке бумажный женский платок. Остановился, взял платок, сел на жердину. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры, а соль, завязанная в кончике, так и не растаяла от дождей... Иван Африканович зажал платком обросшее похудевшее лицо, вдыхал запах Катерининых волос, такой знакомый, давно не слышанный, горький, родимый запах. Глотал слезы перехваченным горлом, и ему думалось: вот сейчас выйдет из-за кустов Катерина, сядет рядом на березовой жерди...

Сидел, ждал. И хотя знал, что никто не выйдет, никто не окликнет, все равно ждал, и было сладко, больно, тревожно ждать. И никто не вышел. Шумел вокруг дремотный лесной гул, белела на пустовине сенокосная лога [1].

Ветрено, так ветрено на опустелой земле... Уже поредели, стали прозрачнее расцвеченные умираю-

---

[1] **Лога** — скошенная, предназначенная на сено трава.

щей листвой леса, гулкие прогалины стали шире, затихло птичье многоголосье.

Надо идти. Идти надо, а куда бы, для чего теперь и идти? Кажись, и некуда больше идти, все пройдено, все прожито. И некуда ему без нее идти, да и непошто. Никого больше не будет, ничего не будет, потому что нет Катерины. Все осталось, ее одной нет, и ничего нет без нее...

Не думая ни о чем, Иван Африканович встал с жердины. Сунул платок в сумку, бесцельно ступил на тропу, побрел, снова равнодушный к себе и всему миру.

Из-под самых ног взлетела и даже не напугала его лесная тетерка. Запнулся за корень, чуть не упал и даже не выматюкался, как сделал бы раньше.

Из-за колдобины вспомнилось, как позавчера, когда приходила Степановна, прибежал домой Гришка, весь в слезах, с кровяной пяткой, наступил где-то на доску с гвоздем; вспомнил Гришку, вспомнил тихую, с удивленными глазами Марусю, и жалость к себе, пересиленная жалостью к ребятишкам, затихла, обсохла вместе с недавними слезами.

Надо идти.

Иван Африканович шел долго, тропа стала у́же. Остановился, срезал острием топора гроздь изумрудной княжицы — гостинцем будет от лисоньки для Маруси. Потом сорвал шляпку ядреного боровичка, это для Гришки, для Кати взял с дерева янтарной живицы. Все клал в сумку — радостей дома не оберешься от этих лесных гостинцев.

Сквозь утихающую, рассасывающуюся боль он думал еще об осине, о будущей лодке. Может, сегодня и срубить осину да обкорнать сучья, наплевать,

что баню затопят? Ежели дождя не будет, надо сегодня и срубить дотемна. Пятнадцать — двадцать километров до деревни можно пройти и ночью, дело привычное. Иван Африканович пошел быстрее и припомнил долгоногого кузнеца Митрошу, умершего лет шесть тому назад и не дожившего до девяноста всего трех с половиной недель. Тот, бывало, рассказывал, как шел однажды домой: «Иду с озера, спереди ноша, пуда два корзина с рыбой, да сзади пуда три. До того мне, парень, хорошо идти, птица по лесу поет всякая, солнышко теплое, садиться начало, а встал еще до зари, а надо было еще в тот день сруб окатать да лопату старухе насадить. Иду ходко вроде, устал, ноша тяжелая, да водяной с ней, все равно иду. Иду, да и думаю: больно тихо я иду. Дай-ко я побегу».

Иван Африканович грустно улыбнулся сам себе. «Вот и я вроде того Митроши, — подумал он. — Побежал, Митроша долгоногий, на плечах пять пудов, за плечами девятый десяток».

С травянистой тропы опять шумно снялась тетера. Здесь поскотина кончилась, до Черной речки оставалось километров семь, не больше, и Иван Африканович прибавил шагу. По тому, как сохла трава на горушках, как вздыхали вершины сосен, он определил, что времени примерно полдень. Присел на знакомую колодину около крохотного болотного родничка, разрубил кору на молодой березе, содрал бересту и сделал из нее ковшик-воронку, скрепил ее расщепленной черемуховой веткой. Неторопливо жевал посоленный хлеб и пил берестяным ковшиком из болотного родничка. Этот родничок Иван Африканович сам выкопал еще с весны, уж больно удоб-

ное было место, как раз между ручьем и Черной речкой. До ручья километров семь и до речки около этого, на привалах не надо искать воду.

Холодная светлая вода напомнила ему сосновский родник, где видел он в последний раз Катерину, и опять зашаялась в сердце скорбная горечь. «Ветрено, так ветрено... Надо идти. Идти».

Иван Африканович уложил недоеденный хлеб и встал с кочки. В ногах после отдыха чувствовалась усталость. Сухие горушки то и дело перемежали топкие болотца, заросшие зеленой плесенью ряски, осокой, а то и просто голые, черные, с глубокими следами лосиных копыт.

Иван Африканович сделал затес на молодой елке, что стояла у тропы, и повернул вправо, к Черной речке. Пройдя шагов сорок, опять сделал затес: он всегда делал затесы, чтобы не сбиться с дороги на обратном пути. Вот и Черная речка. Заросшая мхом, заваленная деревами, вода в ней и взаправду была черная словно деготь. Где-то невдалеке отсюда она ныряла под землю, и километра два текла под землей, потом опять появилась наверху и текла по-людски, уже до самого озера. Это была интересная и странная речка. Говорили, что в ней жила какая-то нездешняя краснобрюхая рыба, которую не мог ловить даже долгоногий Митроша.

Такие текли мысли. Иван Африканович зорко глядел кругом, но осины не было. Неужели ударился не туда? Давным-давно исчезла тропа, и лес был незнакомый, дикий, старые гари, обросшие двадцатилетней лиственной порослью. Иногда сапог уходил глубоко в жидкую землю, — значит, рядом где-то была Черная речка. Иван Африканович забеспо-

коился, место было чужое. Под ногами захлюпала вода, везде лежали и гнили упавшие деревья, скользкие, обросшие мхом, с еще крепкими острыми сучками под этим мхом. Того и гляди, проткнешь ладонь. Иван Африканович сломал сухую прошлогоднюю трубочку дягиля и сквозь Катеринин платок пососал болотной пахнущей папоротником воды. Куда это занесло? Он пошел обратно, намереваясь по затесам выйти на знакомое место, но последний затес исчез, как в воду канул. «Тьфу! — плюнул Иван Африканович. — Видно, надо по Черной речке выбираться». Теперь уж было не до того, чтобы осину рубить, — изломался, промок. Хоть бы найти ее да дорогу запомнить засветло. Выбираясь на сухое место, Иван Африканович опять увидел свежий медвежий помет: «Вот, косолапая, и тут она бродит. Вишь, малины объелась». Но большой медвежий след на бестравяной земле переменил догадку: «Нет, это не она. У нее следок-то поменьше, поаккуратней, это медведь бродил, след большой, не закрыть шапкой. И свежий, вчера прокостылял, а может, и сегодня утром».

Черной речки не было. Иван Африканович взял левее, в надежде опять выбраться на тропу. Мшистый колодник не давал идти, сучья древних сушин дергали за фуфайку. Нога то и дело проваливалась в черную жидкую землю. Лес надвинулся глухой, незнакомый, ни пня, ни старого затеса.

Иван Африканович понял, что заблудился. Он сел на мох, огляделся, хотел выбрать направление по солнышку, но тучи плотно обложили серое небо и тихонько накрапывал дождь; казалось, что день кончился и уже сумерки. Но Иван Африканович

знал: времени должно быть немногим больше полудня. Это от дождя, от лесной глухоты тряслись эти тусклые сумерки.

Он огляделся еще и невдалеке увидел еле заметный просвет. Может быть, там была какая-нибудь полянка либо подсека, по которой можно понять, куда забрался? Он пошел на этот просвет. Лес поредел, сильно и остро запахло дурман-травой, от которой ломило виски и кружило голову. Сумерки словно чуть рассеялись. Иван Африканович взглянул в просвет, и ему стало жутко: такое мертвое, гиблое раскинулось вокруг место. Лесной пожар, видимо, разбойничал тут года два-три тому назад: тут и там торчали обгорелые ели. Дальше, как свечи, стояли высокие черные стволы опаленных осин, высоко вверху торчали большие уродливые сучья. Внизу — обгоревшие мхи, еще не обновленные ни единой живой травинкой. Ни птицы, ни кустика. Только дождь сеял с низкого неба, и Иван Африканович повернул назад...

Он не знал, сколько часов брел по лесу. Старался идти в одну сторону. Ноги уже еле слушались, руки отчего-то сводило в локтях, все суставы ныли от усталости. Теперь начало темнеть взаправду.

Иван Африканович давно понял, что заблудился накрепко, и все-таки шел куда-то, и страх смешался в нем с издевкой над самим собой: «Капут будет тебе, Африканович, капут. Ежели и верно пойдешь, все равно напрямую без дороги тебе без хлеба не выбраться. На второй версте из сил выбьешься. Тропу, дорожку эту? Ищи ее теперь свищи. Туда, в другую сторону, лес тянется километров на сто, сто двадцать до леспромхозовской узкоколейки, в бо-

ка туда и сюда одни сухие да дикие болотины. Капут, ей-богу, капут». Ему стало даже чуть смешно от этого рассуждения. И вдруг осмыслил все, сердце забилось: «А ведь и правда, не выбраться. Вон и в сумке всего недоеденная горбушка, ни ружья, ни харчей не взял, один топор. Нет, надо очухаться, одуматься».

Он взглянул на небо, вверху была сплошная мокрая темень. На лицо сыпанул беззвучный прилипчивый дождь. «Надо собраться с мыслями, отдохнуть. Ночевать под елкой, отдышаться, а там, завтра будет видно...»

* * *

Он выбрал мохнатую, в полтора обхвата ель, снял сумку. Под елью было сухо, спички и курево тоже оказались сухими. Иван Африканович приметил смоляную сушину, с трудом, не торопясь срубил ее и подтащил к ели. Долго перерубал сушину на чурки. Деревина была до того смолиста, что натесанная щепа занялась от одной спички. Костер загорелся, и темнота сразу сдавила Ивана Африкановича, лес похмурел и сделался жутким.

Иван Африканович погрелся, съел полгорбушки, закурил. Нет, с таким хлебом не выбраться. Пять, шесть дней прожить можно, потом ослабнешь, сунешься носом в мох. Конечно, в деревне хватятся мужика. Дня через два пойдут искать. Иголку в стогу искать. Километров на двадцать ушел, не меньше, где найдешь? А ежели и найдут, то ничего от него уж не останется, одно пустое место. Рысь либо росомаха выгрызут у мертвого щеки, обгложут

кисти рук. Домой принесут легкого, чужого, а то и тут зароют, прямо в лесу... Да и не пойдут искать, дня три не пойдут, уходил много раз из дому с ночлегом... У Ивана Африкановича прошел по спине озноб, на лбу выступил холодный пот.

Он старался вспомнить свой путь от Черной речки шаг за шагом, где куда поворачивал, что видел. Пустое дело... В лесу, в таком лесу все меняется, думаешь, что идешь вправо, а сам прямо шпаришь, думаешь, что повернул обратно, а сам лишь легонько изменил направление.

Ночь опустилась быстро, за полчаса.

Костер горел ярко, бесшумно, смоляные чурки будто всю жизнь только и ждали огня. Иван Африканович, чтобы отвлечь себя от мыслей, срубил еще одну сушину, стеснул с ели несколько еловых лап. Он пристроился на хвое у ствола, нахлобучил фуфайку на уши и хотел так полежать, может быть уснуть. Однако он не мог уснуть, лишь сознание изредка затягивало сонной пеленой, на полминуты он забывал иногда, где он и что это шумит вокруг.

А лес и взаправду возмущенно, таинственно обволакивал своим шумом светлую каплю костра и маленькую фигуру человека. Издалека, очень издалека катился вал лесного шума. Ивану Африкановичу в полузабытьи чудилось, что это катится на него широкий, безбрежный водяной вал, выламывающий подряд многие дерева и смывающий все на своей дороге. Вот он, этот вал, схлынул и захлебнулся сам в себе, где-то далеко-далеко отсюда. И все тихо, все темно. Но через минуту вдруг опять ощущается вдали неясная смятенная пустота. Медленно, долго нарождается глухая тревога, она по-

немногу переходит во всесветный и еще призрачный шум, но вот шум нарастает, ширится, потом катится ближе, и топит все на свете темный поток, и хочется крикнуть, остановить, но ничто не сможет остановить его, и сейчас он поглотит весь мир...

Иван Африканович вздрогнул; вал безбрежного шума замирал неохотно, возмущенно стихал в другой стороне. Мокрая, темная тишина давила сердце, никогда Иван Африканович не был таким одиноким. Он опять забылся необлегчающим забытьем, и водяной вал, этот страшный потоп, опять раз за разом топил и топил его, но никак не мог утопить совсем. В этом забытьи время то останавливалось, то и вовсе шло взапятки, образы последнего лета перемежались и путались: то вдруг Ивану Африкановичу снился какой-нибудь уже виденный однажды сон, то он смотрел новый сон, и в этом сне ему снился третий сон — сон во сне. Но все было неясно, путано, тревожно...

Ночью он долго, напряженно старался очнуться. Сквозь мглу из темных вершин колола прямо в лоб острая холодная звездочка. Она была одна, ее тут же затянуло тучей, и Иван Африканович забыл про нее, и она стала деталью его сна. Но где-то в подсознании она оставила свой след, что-то помешало утопить ее в кошмаре бестолковых видений и образов.

Звездочка. Да, звездочка, и небо, и лес. И он, Иван Африканович, заблудился в лесу. И надо выйти из леса. Звезда, она одна звезда-то. А ведь есть еще звезды, и по ним, по многим, можно выбрать, куда идти...

Эта мысль, пришедшая еще во сне, мигом встряхнула Ивана Африкановича. Он сел, зябко вздрогнул,

сознание быстро прояснилось. Костер прогорел. Дождя не было, но темнота и лесной шум оставались прежние. Темень мельтешила в глазах бесплотными хлопьями. Но вот звезда опять показалась в небе, тусклая, синеватая. Он пощупал мох под ногами, мох как будто был не так влажен, как с вечера.

«Может, вызвездит к утру, облака ветром разгонит. Был бы морозный утренник, по звездам можно узнать дорогу». Иван Африканович вновь прислонился к еловому боку.

* * *

Медленно, неохотно прояснялись в небе очертания еловых верхов. Ветер был тише, но шум леса не стихал, он лишь терял с рассветом свою таинственность.

Иван Африканович отдохнул и опять почувствовал в ногах силы для ходьбы. Но он не знал, куда идти. Правда, ему казалось, что дом остался там, за стволом приютившей его ели, но он знал по опыту, что это только так думается, и стоит лишь убедить себя идти в противоположную сторону, и снова будет думаться, что деревня в той, в другой стороне. Ступай в любую сторону — все будет казаться, что идешь правильно.

Вот если бы солнце... По солнышку можно бы выбрать, куда брести. Но солнца не было, небо давило на ели сплошными серыми облаками. Теперь Иван Африканович сообразил, почему он заблудился. Беда в том, что он все время, когда искал осину держал в уме Черную речку, надеялся на нее. Но, видимо, он пересек ее в том месте, где она текла

под землей, и теперь ушел бог знает куда, может километров за тридцать от поскотины. Он вспомнил все известные ему приметы: и то, что будто бы хвоя на елях с южной стороны гуще, и про мох, и то, как размещены на срезе ствола годичные кольца. Ох, все только одни пустые слова. Ни хвоя, ни мох, ни кольца не скажут верно, где север, где юг, каждое дерево растет на своем месте, а все места разные. То пригорок, то сухое место, то соседство такое, то другое; то ветер, то безветренно. Какой уж там юг, какая хвоя, все по-разному, у каждой елки...

Иван Африканович все еще не чувствовал голода. Хотя последний раз чай пил вчера утром, а кроме пирога и горбушки хлеба, ничего больше не ел. И было странно, что есть все еще не хотелось и лишь сосало что-то в середине груди и около желудка.

Он встал, надел почти пустую свою сумку и с топором в руках пошел, делая затесы, чтобы не кружиться вокруг одного места. Хотелось пить, воды нигде не было.

Густой, строевой ельник кончился, и началось сухое с маленькими, словно чахоточными сосенками болото, идти стало чуть легче. Но свежая, уже дневная тоска быстро копилась под сердцем, Иван Африканович теперь ясно ощутил, в какую попал беду, и его охватил новый, ровный и постоянный страх:

«Нет, не выбраться. Каюк. Силы ногам хватит до полдня, может, до ночи, а потом каюк. Ослабну, задрожат коленки. Ткнешься, забудешься... Дней пять-шесть проживешь на ягодах, потом не смочь будет и ползать. Крышка. А что там-то, на той-то

стороне? Может, и нет ничего, одна чернота, одна пустота?»

Иван Африканович раньше никогда не боялся смерти. Думал: не может быть так, что ничего не остается от человека. Душа ли там какая, либо еще что, но должно ведь оставаться, не может случиться, что исчезнет все, до капельки. Бог ли там или не бог, а должно же что-то быть, на той стороне...

Теперь же он вдруг ощутил страх перед смертью, и в отчаянии приходили обрывочные жестокие мысли:

«Нет, ничего, наверно, там нету. Ничего. Все уйдет, все кончится. И тебя не будет, дело привычное... Вот ведь нет, не стало Катерины, где она? Ничего от нее не осталось, и от тебя ничего не останется, был и нет. Как в воду канул, пусто, ничего... А кто, для чего все это и выдумал? Жись-то эту, лес вот, мох всякий, сапоги, клюкву? С чего началось, чем кончится, пошто все это? Ну вот, родился он, Иван Африканович...»

И вдруг Иван Африканович удивился, сел прямо на мох. Его как-то поразила простая, никогда не приходившая в голову мысль: вот, родился для чего-то он, Иван Африканович, а ведь до этого-то его тоже не было... И лес был, и мох, а его не было, ни разу не было, никогда совсем не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет? В ту сторону его никогда не было и в эту сторону никогда не будет. И в ту сторону пусто и в эту. И ни туда ни сюда нету конца-края... А ежели так, ежели ни в ту, ни в другую сторону ничего, так пошто родиться-то было? Вон теща Евстолья молилась вчера, думает,

что будет что-нибудь и после смерти. А чего ждать? Нечего, видно, ждать, пустое дело, ничего не будет. Она-то думает, что будет, ей полдела... Да, ей полдела. Вон и он, Иван Африканович, думал раньше, что что-то будет, и жил спокойно, будет что-то, и ладно. А вот умерла Катерина, и стало понятно, что ничего после смерти и не будет, одна чернота, ночь, пустое место, ничего. Да. Ну, а другие-то, живые-то люди? Гришка, Анатошка воп? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и косить опять побегут. Тут-то как? Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет, как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться. Выходит...

Иван Африканович заплакал, уткнувшись носом в промокшие свои колени. Пальцы сами влепились в холодный мох и сжались в кулаки, и он вскочил на слабеющие ноги: «Нет, надо идти. Идти, выбраться... А куда идти?»

Лесной шум затихал вдали, в сером небе намечались кое-где медленно светлеющие отдушины. Где-то далеко-далеко чуялись бравурно-печальные возгласы изнемогающей в полете журавлиной стаи.

Понемногу небо в одном месте совсем посветлело.

Там заспнело белесое разводье, и солнечный свет с трудом пробился на землю.

И было странно, что солнце оказалось не на своем месте, совсем в другой стороне...

Земля под ногами Ивана Африкановича будто развернулась и встала на свое место: теперь он знал, куда надо идти.

И он пошел, хотя знал, что без хлеба все равно далеко не уйдешь: напрасно измотанные за вчерашний день силы покидали Ивана Африкановича. Он брел на солнышко весь день. А вечером, совсем изнемогший, запнулся за колдобину и упал и не знал, сколько пролежал на мху.

В ночь небо вызвездило, и под утро пал на землю колючий иней. Иван Африканович лежал на спине и тупо глядел на близкие, будто пришпиленные к небу звезды. Он с натугой перевернулся на брюхо, встал на руки и на колени. На карачках, по-медвежьи пополз, и прихваченный морозом мох ломался и хрустел под его локтями, и сквозь туман забытья ему чудилась кругом ехидная мудрость затихших елей. Краем сознания он ощутил тихий, спокойный восход. Солнце поднималось в небо, оно отогрело к полудню залубеневшие мхи. От земли, еще хранящей ночной сумрак, вздымалось золотистое вверху воспарение, но Иван Африканович скорее чувствовал это усталым своим телом, чем видел глазами. Ему иногда казалось, что он идет по лесу, а он лежал с закрытыми глазами, сладкая слабость уже не ощущалась в ногах и руках, и ему ничего не хотелось.

Сквозь широкую, бесконечную, отрадную дремоту он вдруг услышал дальний тракторный гул и всеми силами заставил себя открыть глаза. В глазах стыло на солнце пятнистое, сиренево-оранжевое облако. Осина стояла невдалеке, застывшая, светлая. Та самая осина, которую он искал. Бескровные, словно прозрачные листья не двигались и светились каждой своей жилкой; стройный, белый, чуть зеленоватый ствол уходил высоко-высоко и, казалось, кренился и падал

и все никак не мог упасть на Ивана Африкановича. У него опять прояснилось сознание.

Он глядел на свою осину, такую красавицу, глядел и вспоминал, какая связь между нею и тем дальним тракторным гулом. Вспомнил и, дрожа мускулами, собрав последнее упрямство, опять встал на четвереньки, пополз...

От этой осины он знал, как выползти сперва на тропу, потом на дорогу.

* * *

Мишка Петров, ездивший с санями за лесом для новой бани, гусеницей чуть не раздавил Ивана Африкановича. Он остановил трактор, выскочил из кабины.

— Хо! Кажись, Иван Африканович! Ты чего тут? Брюхо, что ли, болит?

Иван Африканович долго старался сесть. Сел на земле, слабо махнул рукой, хотел чего-то сказать, но не мог и лишь улыбнулся, а Мишка видел, как он рукавом вытирал осунувшееся лицо.

— Пьяной, что ли? — спросил Мишка.

— Не пьяной, парень... Голодной... — еле вымолвил Иван Африканович.

— Да ну? — Мишка захохотал, помогая Ивану Африкановичу залезть на сани.— А я думал, пьяной Африканович.

— Дело привычное... — опять отмахнулся Иван Африканович и бессильно откинулся на сосновые кряжи.

Мишка так ничего и не понял. Он крякнул, застегнул штаны и прыгнул на гусеницу. Трактор взре-

вел, сани дернулись, и дробное, раскатистое эхо слилось в лесу с тракторным гулом.

Дело привычное...

3. СОРОЧИНЫ

Через два дня, в субботу, исполнилось сорок дней после Катерининой смерти. Евстолья пекла пироги, варила студень из Рогулиной головы, а Иван Африканович пошел на озеро проведать старую лодку.

В болоте он медленно, не как раньше, перешагивал через валежины, а у озера долго сидел, глядя на воду.

В пяти метрах от берега со скромным достоинством проплыла утиная пара. Птицы, сберегшие любовь до самой осени, плыли как завороженные, и верность их друг другу сказывалась даже в одновременных, одинаковых движениях. Уплыли, оставляя на воде замирающий двойной клин.

Иван Африканович следил, как исчезал на воде утиный след. Он вспомнил, что сказала Евстолья о последнем Катерининем часе. Его звала, ему говорила: ветрено, Иван, ой ветрено, не езди никуда. Ветрено, ветрено...

Нет, сегодня было на озере тихо, не ветрено, тростники не шевелятся, вода сонная, как масляная, лежала у ног. И хвощи стояли в ней словно впаянные. Светлым пластом лежало у ног родимое озеро, молчаливое, понятное каждой своей капелькой, каждой клюквинкой на лывистых берегах. Спокойные островерхие ели густо обступили ровное озерное плесо, перемежаясь то с начинающими желтеть березами, то с редкими огневыми рябинами. А вон

осень выдохнула за ночь прозрачные бледные клубы сиренево-желтоватых осинок, и многие листья попадали на воду, лежат и не мокнут, словно и не мокрая совсем эта вода.

Вот эдак и пойдет жизнь: однажды с полночи растает лесное болотное тепло и солнечный колкий мороз утром опустится на воду. Улетит последний гусь, остынет последняя кочка с вечнозеленой брусникой, и осоку на лыве ознобит инеем, а подо льдом сгрудятся в сонные артели сороги и окуни. Потом пойдут серые теплые тучи, осыпая светлый лед белым снегом, ветер подует с берега, зашуршат метелками промороженные тростники. И долго, очень долго будет зима. А там, глядишь, опять отогреются апрельские сосны и щука в глуби шевельнет широким хвостом, давая первое движение мертвой воде. Опять набухнет метровая пластушина зеленого льда, просочится в протоку живая струя, первая лягушка откроет перепончатое веко, и в болоте впервые крякнет отощавший глухарь...

И нет конца этому круговороту.

Ветрено, опять будет ветрено на лесном озере: голубые валы покатятся в одну сторону, и тревожно заорут на воде толстухи гагары. За две недели на полметра вымахают из воды хвощи, солнце до дна проколет лучами озерную воду, а лесной гребень целыми днями будет прочесывать синюю небесную лысину.

Потом смолистые дерева вытопят в прошлогодние раны затесов ясную, густую свою смолу, запахнет зеленым. Сквозь белые космы умершей травы вылезут на свет молодые ростки, закопошится все, заворочается, вода зацветет, будто засыпанная ман-

ной крупой; яро и бесстрашно затрубит в осиннике, задрожит мышастыми боками гуляка лось, все еще не успокоившийся после осеннего гульбища.

Конца нет и не будет.

Там, в июле, зацветут в заливах белые лилии, не расхлебать никаким веслом. Кулики долгоносые будут реже кричать своими переливистыми, похожими на пастушью свирель голосами, опять запахнет из леса сенокосным костром... Жизнь. Такая жизнь.

Здесь, у озера, нечаянно пришел к Ивану Африкановичу ровный душевный покой. Первый раз за последние шесть недель по-человечески высморкался, переобулся, заметил, что написано на свернутой для курева областной газете. Закурил. «Жись. Жись, она и есть жись, — думал он, — надо, видно, жить, деваться некуда».

Он приглядел ятву сороги, но рыбачить не стал, а выметал сети на самолов, вытащил на берег лодку и еще до обеда пришел в деревню.

Было тихо, свежо, солнечно.

Иван Африканович, не заходя домой, завернул в лавку. Он взял выпивки и несколько пачек пластилину, чтобы обмазать стекла в рамах. Увидел на улице председателя с бригадиром. Оба начальника слезли с лошадей и обтирали о траву сапоги, намереваясь зайти в магазин. Председатель за руку поздоровался с Иваном Африкановичем.

— Что это ты, Дрынов, — спросил он, — с утра запасаешься? Головки-то льняные сушишь?

— Сушу, как не сушу, — сказал Иван Африканович. — А это... Сегодня сорок ден, как женка... Ну в земле то есть. Значит, по обычаю...

— А-а, ну, ну.

— Может, зашли бы на полчасика, — сказал Иван Африканович, — самовар греется, пироги напечены.

— Да нет, брат, спасибо. Времени-то нет, надо ехать.

— Ну, и тут можно, ежели...

Председатель с бригадиром переглянулись. Иван Африканович проворно сбегал к продавщице, принес три стакана, хлеба и банку болгарских голубцов. Завернули за угол.

— Там на тебя бумага пришла, — сказал председатель, весело подмигивая бригадиру и макая хлебом в консервную банку.

— Какая бумага? — испугался Иван Африканович.

— Да эта... Штраф за безбилетный проезд. Припасай пять рублей.

— Ну, это еще ничего. — Иван Африканович успокоился. — Я думал, много сгребут.

Больше председатель ничего не сказал, заторопился. Сел на лошадь и уехал.

У своего крылечка Иван Африканович старательно вытер ноги о веник и услышал доносившийся из избы голос Степановны:

— ...Вот пришел этот Колька домой да еще и хвастает, что пятнадцать дён в тюрьме сидел; я говорю, ой ты дурак, ой дурак...

Иван Африканович вошел в избу, поздоровался с гостьями. Степановна замолчала, а Нюшка, качавшая зыбку, одернула новую шерстяную юбку.

— Рыбы-то не принес? — громко спросила Степановна.

— Нет, поставил мерёжи на самолов.

Евстолья наливала в кути самовар. В это время ребенок в зыбке проснулся, заплакал. Нюшка ласково, но неловко начала его утешать, а Степановна искоса наблюдала за Иваном Африкановичем, приговаривала:

— Ты его на руки возьми-то, на руки, да за подмышки бери-то. Гли-ко, ручищи-то у парня, гли-ко, у ево ручищи-то...

Иван Иванович запрыгал в Нюшкиных руках и пустил губами радужный от солнца пузырь...

Иван же Африканович поставил бутылки на стол, отдал образцы пластилиновых петушков и медведей Марусе, а коробки с пластилином положил в шкаф. Гришка просил пластилину и хныкал. Бабка Евстолья вместе со Степановной развязали ему проколотую ногу. Она лечила Гришкину пятку сварцем, сваренным из еловой смолы, коровьего масла и серы.

— Вот тебе, вот, — приговаривала она, — так и надо, ежели больно. Не будешь больше босиком взлягивать.

— Пойду я, матка, схожу... — сказал Иван Африканович.

Евстолья пошла к шестку, дунула в самовар.

— Надолго ли уйдешь-то? Вон Федор с Мишкой сейчас придут, сулились. Самовар нараз вскипит.

— Приду... скоро...

Иван Африканович вышел в огород. Сорвал несколько гроздьев красной, уцелевшей от дроздов рябины. Тихонько закрыл отводок, пошел за деревню.

Горький отрадный дым от костров тут и там таял в ясном неощущаемом воздухе: копали везде картошку. Стая прилетевших из леса и готовящихся в

путь скворцов опустилась в поле; за речкой, за желтым березнячком кричали ребятишки. Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зябкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась, и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего, верхнего неба.

На кладбище, в старых вербах, тенькали синички.

Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали. Думал, курил свой мелкослойный «Байкал».

«Грех один, а не папиросы. Спичек одних не напасешься, разок затянись, глядишь, опять и погасло. Ты уж, Катерина, не обижайся... Не бывал, не проведал тебя, все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябину-то рвать. Как без тебя живу? Так и живу, стал, видно, привыкать... Я ведь, Катя, и не пью теперече, постарел, да и неохота стало. Ты, бывало, ругала меня... Ребята все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили, Анатошка в строительном — этот уж скоро на свои ноги встанет... Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют, уж ты меня не ругай... Не управиться бы матке со всеми-то. Худая стала, все говорит, что руки болят, да ведь и годы уж, ты, Катя, знаешь сама... Да ведь они санапалы у нас, двойники-то. Остались там, хоть бы им что. Картошку выкопал. Корову заведем новую, телушка у Мишки Петрова обошлась нынче, куплю телушку-то. Да. Вот, девка, вишь как все обернулось-то... Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь сама... Вот один теперь... Как по огню ступаю, по тебе хожу, прости.

Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал за тобой следом... А вот оклемался... А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что... Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит... такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж... да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда... Катя... Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то... Мне-то чего... Ну... что теперече... вон рябины тебе принес... Катя, голубушка...»

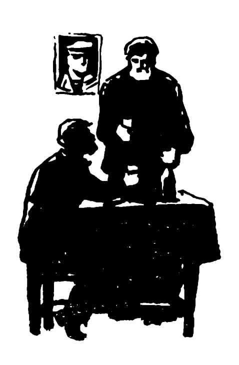
Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, еще не обросшей травой земле, — никто этого не видел.

Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая. Горько, по-древнему пахло дымом костров. Синело небо. Где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая зимка.





ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ



ВЕСНА

Александру Романову

1

К полночи шибануло откуда-то звонким, ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Иван Тимофеевич поднялся с печи, прямо поверх белья надел тулуп и вышел до ветру. Промерзшие половицы заскрипели под ним, в сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно.

На полевых задах, ближе к болоту, явственно и печально завыл волк, ему тонким долгим криком отозвалась волчица.

«Ишь, проклятые, — подумал старик, — чтобы вы сдохли, вторую ночь воют и воют». Он закрыл ворота на засов.

В избе было тепло, пахло хомутом и просыхающими валенками. На кровати за шкапом похрапыва-

ла старуха. Иван Тимофеевич зажег лучину и вставил ее в старинный, оплывший нагаром светец: керосина не было с самой почти осени.

— Хоть бы ночью-то передышку себе делал, не курил! — заворчала Михайловна.

Иван Тимофеевич молчал, глядя, как бьет из сучка огненный фонтанчик, как, остывая, подергивался пухом потрескивающий уголек.

В эту зиму Ивана Тимофеевича все чаще прихватывала тоска. Началось это после того, как пришла вторая похоронная — похоронная на младшего, Колюху. Только успели опомниться от горя после первого извещения — извещения на старшего, как опять принесли бумажку из сельсовета. В ней писалось, что сын геройски погиб при выполнении задания, что похоронен там-то и там-то. Два года — две головы...

Иван Тимофеевич крякнул и зажег новую лучину. Осветился неоклеенный простенок с зеркалом и фотографиями. Старик достал из-за зеркала письмо, откинул бородатую голову, стал читать. Письмо было от среднего, от Леонида, пришло оно третьего дня. Иван Тимофеевич, шевеля губами, снова его перечитал:

«...Шлю я вам свой боевой гвардейский привет. Дорогой тятя Иван Тимофеевич, дорогая мама Надежда Михайловна, мы теперь уж идем по чужой земле. Маршрут нам один — до самого Берлина, а фрицы бегут на чем попало...»

В тишине снова громко треснул мороз. Иван Тимофеевич дочитал письмо, положил его опять за зеркало. «Эх, Ленька, Ленька! Один ты теперь у нас остался, лежат оба твои братана в земле, не встанут

никогда, и некому теперь, кроме тебя, играть на гармоньe». Иван Тимофеевич покосился на шкап, где внизу лежала давно никем не троганная гармонь. Потом подождал, пока догорела лучинка, и залез на печь. Однако сна так и не было, и вскоре старик опять поднялся, собираясь ехать затемно за дровами.

Михайловна канителилась около печи.

Иван Тимофеевич с истертым дубленым тулупом на плече, в большущих валенках и с топором за ремнем подошел к воротам колхозной конюшни. Мороз ярился, как стоялый откормленный овсом жеребец, ночь была на избыве. Как мелкие битые стекляшки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже обозначилась лиловая заря.

В конюшне было теплее. Сивая лошадь Свербеха глубоко всхрапнула, когда старик подошел к стойлу. Свербеха никому, кроме Ивана Тимофеевича, не давала себя обратывать: она по-крысиному вытягивала шею и прижимала уши, норовя укусить. Бабы всегда ловили ее граблями за спутанную гриву или же звали на помощь Ивана Тимофеевича.

Старик ласково обротал Свербеху и вывел в коридор. Чуть не упал, наступив на мерзлый кругляк конского помета. Уже брезжило. Кое-где из труб забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма: мороз не собирался уступать.

Иван Тимофеевич надел на Свербеху хомут, седелку. Потом завел в оглобли, расправил затвердевший гуж и начал запрягать. Он с наслаждением через ногу стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал и завожжал.

Скрипнули промерзшие дровни. Иван Тимофеевич сидел в тулупе на полудугах, которые кладутся на дровни, чтобы не раскатывались дровяные кряжи.

«Эх, жизнь бекова!.. — подумал старик и выехал из деревни. — Хоть бы скорей война кончилась, приехал бы Ленька, завернули бы ему свадьбу...»

Снег скрипел под полозьями, словно шла по дороге тысяча женихов, обутых в сапоги со скрипом, — в таких сапогах, какие шьет хромой сапожник Ярыка. Ярыка умел класть в задник сапога такую бересту, что при ходьбе и пляске они скрипели на всю волость, на весь сельсовет.

Светало. Снежное поле с застывшими волнами наста вдруг порозовело от холодного солнца, и Иван Тимофеевич подхлестнул Свербеху. Она мотнула в ответ сивой репицей и запереступала скорее. Вся кобыла да и сам старик давно заиндевели до последнего волоска. Дровни стонали и пели, и под это пение накатывались хорошие думы о прежних годах.

— Ох-оох, обоих укокало! — вслух подумал Иван Тимофеевич. — За что такая беда, за что?..

Дрова — мелкий ельник с кривоногим ольшаником и белобокий березняк — были еще с осени нарублены в болоте и стояли костром. Иван Тимофеевич обмял снег вокруг костра, объехал его и не торопясь начал складывать. Он только наложил воз и завязал его веревкой, как вдруг Свербеха беспокойно метнулась, чуть не сломала оглоблю и вся задрожала, всхрапывая.

Иван Тимофеевич оглянулся и обомлел: два тощих волка, поджав хвосты, прыгнули в сторону. Они остановились и, сонно щуря холодные бессмысленные глаза, трепетно шевеля ноздрями, вытянули мор-

ды. Иван Тимофеевич увидел даже седину на нижней челюсти одного волка.

Свербеха, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге, и старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь. «Только бы не лопнула завертка», — мелькнуло в голове. Все это произошло за несколько секунд и плохо запомнилось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу Свербехи и каждый раз, кувыркаясь, отлетал, отброшенный запрягом. В это время второй волк, видимо, трусил. Но вдруг на какой-то миг Иван Тимофеевич увидел рядом тонкие лапы и звериную морду и ударил по этой морде обухом. Зверь взвизгнул и отскочил. Первый еще несколько раз прыгал к лошади, но Свербеха галопом неслась уже по полю, и невдалеке белели высокие столбы печного дыма.

2

Весна была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. В колхозе началась бескормица. Как-то Михайловна прибежала сама не своя из хлева, с плачем заметалась по избе:

— Ой, Иван, ой, корова-то!..

Иван Тимофеевич бросился в хлев. Корова лежала на боку, дрыгала ногами, большой коровий глаз уже закатился. Иван Тимофеевич побежал в избу за ножом, чтобы прирезать животину, долго искал

нож. Но было уже поздно. Корова сдохла, и мясо пришлось зарыть.

После этого Михайловна осунулась еще больше и начала заговариваться. А тут еще у Ивана Тимофеевича кончилось курево. Он дергал из паза коричневый спрессованный мох, но дым только расстраивал. Сапожник Ярыка тоже маялся из-за табаку, но ему изредка носили махорки за шитье, и Иван Тимофеевич по воскресеньям ходил курить к Ярыке.

Сено в колхозе кончилось еще до весны, и половина лошадей передохла, коровы держались кое-как на соломе, снятой с крыш.

Однажды Иван Тимофеевич вышел утром на крыльцо: бригадир распорядился съездить на Сверрбехе по старым вытаивающим остожьям пособирать остатки сена.

Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Со всех сторон на деревню летели знойные песни тетеревиных токов. Косачи булькали, казалось, во всем мире, небо нежно синело над крышами, и река разлилась и ровно шумела внизу, за деревней.

Иван Тимофеевич в первый раз за всю весну надел сапоги. Накануне он промазал их дегтем, просушил портянки, и сегодня легко и радостно было освобожденной от валеночной тяжести ноге: запах талой воды и дегтя напоминал о прежних веснах.

С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней, на припеках, кое-где проклевывалась первая травка. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, смоляные белоносые грачи бродили по пашне, пахло солнцем, навозом и весенней водой.

Чисто и беззаботно пропел над головой скворушка. Иван Тимофеевич задрал бороду и долго глядел

на птаху. В сквозной синеве не было ни одного облака, и скворечня, еще до войны поставленная у рассадника Леонидом, плыла в той синеве.

Иван Тимофеевич, пробуя, не текут ли сапоги, прямо по лужам прошел на конюшню. Свербеха в этот день еле встала. Несколько раз пыталась она выбросить из-под себя передние ноги, но усилия были слабы, и старику пришлось помогать ей. Наконец она встала, сперва на передние, потом на задние ноги, благодарно прислонила длинную сивую голову к плечу Ивана Тимофеевича. Старик пошебаршил у нее за ухом, поглядел в пустую кормушку.

— Что, брат, нету сенца-то? Нету, девка, сам вижу, что нету. Ну, потерпи, потерпи.

Он с веревкой пошел в поле, к одному, потом к другому остожью. Около стожаров вытаяли промытые, бескровные волоти сена. Иван Тимофеевич насобирал целую ношу такого сена и на себе принес в конюшню. После солнечного поля в конюшне показалось темно, как ночью. Свербеха радостно и тихо заржала. Иван Тимофеевич кинул ей охапку, он только хотел поделить остаток между другими уцелевшими лошадьми, как вдруг в просвете ворот появилась доярка Полька Балашова.

— Да ты что, Иван, делаешь-то? — плачуще заговорила она. — Ведь еще вчерась бригадир говорил, что сено для коров на остожьях, а ты его лошадям. О господи!

От голода большие Полькины глаза стали еще больше, от горя печальнее. В первый же день войны Алешка Балашов ушел на фронт, не прожив с женой и медового месяца. А уже под весну, в феврале, Польке принесли похоронную. Полька зашлась без

памяти в беззвучном плаче, два дня прокаталась по полу, а на третий родила сына-недоноска. Витьке все пророчили близкий конец, а он взял да и выжил. С той поры Полька переменилась начисто, словно родился не Витька, а она сама, и всю войну работала на ферме.

Сама не своя, кинулась Полька собирать остатки сена.

— Ты, Полинарья, погоди, ну... вишь ты. Давай пойдем-ка в поле-то пособираем еще, от ей-богу! — Иван Тимофеевич взял веревку.

Они вместе с дояркой долго ходили в поле, кое-как наскребли две ноши сена и с трудом притащили на ферму. Полька, обрадованная, лихорадочно бегала вдоль кормушек: коровы тыкались мордами ей в бок и трубили наперебой.

Иван Тимофеевич зашел в водогрейку. Большая закопченная водогрейка была пуста. Пахло плесенью и креолином, на полу валялся разряженный ржавый огнетушитель, на раме изумрудная отогревшаяся к весне муха слабо перебирала лапками.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал, что в малом котле что-то шебаршит. Старик глянул. В котле сидел Витька и ел глиняную обмазку. Кривые, тощие ножонки он сложил калачиком, все лицо было в глине, как в шоколаде.

Витька перестал жевать глину, восхищенно уставился на Ивана Тимофеевича и улыбнулся. Старик утер ему нос, сделал «козу» в животик.

— Ну что, енерал, в котле сидишь? Ешь, ешь глинку-то, ешь.

Иван Тимофеевич вышел на солнышко. Его ослепило синевой и золотом яркого весеннего дня, оглу-

шило птичьими криками и шумом водополицы. Полька, навалившись на барьер кормушки, судорожно тряслась плечами, выламывала руки и сдерживала тяжкие частые вздохи. Старик, чувствуя тревогу, подошел поближе:

— Полинарья, ты что?

Полька отшатнулась от кормушки. Глотая слезы и улыбаясь, проговорила:

— В-в-в-войне конец. Кончилась, война кончилась!

В теплушке из котла ревом отозвался Витька.

3

Ярыка тачал скрипучее голенище и говорил сам с собой. Когда Иван Тимофеевич сообщил ему новость, сапожник сначала не поверил, потом обвел глазами свою избу и со всего маху швырнул голенище под лавку.

— Эх, маткин берег, да неужто?!

Он, как молоденький, подскочил к подполью, дернул крышку за колечко и исчез под полом. Вскоре он вылез обратно, держа в кулаке пыльную четвертинку.

— Во! Два года берег! Думаю, не я буду, ежели не доживу до такого момента!

Он достал из комода две чашки, а Ярыкина баба принесла на сковороде лепешку из соломенной муки. Разрезали луковицу. Ярыка полосатой от дратвы рукой взял чашку, чокнулся и выпил, двигая тощим кадыком. Крякнул. Иван Тимофеевич давно не пил водки. Его обожгло, теплой волной пошла по телу давно не испытанная истома.

— Вот и дождались, Иван, светлого часу, — заговорил Ярыка, разливая остатки из четвертинки. — Дождались... А как жить будем? Колхоз стал не колхоз, а одна беда. Мужиков осталось в деревне только мы с тобой — куда девалась вся сок-сила? Всех побили до единого. Один твой Левонид... — Ярыка надолго закашлялся, показывая язык и качаясь. — Мишуху Смирнова... Помню, сапоги ему шил на самую большую колодку, и то малы оказались. Такого мужика залобанили... Коля Мокрынин... тот, бывало, все ко мне ходил... Ванюха Варза, Петька Марьин, Олешка Балашов, твоих двое... Эх, маткин берег, оскоблили деревню подчистую.

Иван Тимофеевич долго сидел у Ярыки. Под конец они оба совсем охмелели, сапожник начал свежую осьмушку махорки, и в избе плавал сизый слоистый дым. В это время на улице заколотили зубом от бороны по отвалу.

— Выходи на собранье! На собранье!.. Бабы, на собранье!.. — кричала бригадирка.

Общее бригадное собрание было в зимовке Ивана Тимофеевича. До самых сумерек говорили насчет весеннего сева, а когда расходились, то над деревней легонько и умиротворенно шел первый теплый дождь.

Земля, словно невеста в разлуке, томилась за всеми околицами, готовя себя к счастливому обновлению. За гумном, как и всегда по весне, шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей. Что-то радостно и тревожно всю ночь пробуждалось в теплом тумане.

Утром Иван Тимофеевич надел новую рубаху, обулся и примерил холщовые рукавицы-однорядки, сметанные Михайловной еще в зимнюю пору. На

душе было и горько и празднично. Опять вспомнилась предвоенная весна, когда вот в такую же пору он вместе с двумя старшими сыновьями выехал на старый Тимохин отруб. Младший был тогда еще подростком, и его учили пахать. В крепких промазанных сапогах, с деревянными лопатками для очистки отвалов, все ядреные, сыновья настраивали плуги, подгоняли упряжь и походя прихватывали за бока девок-бороновальщиц. А какие были кони в бригаде! Как ровно шла в борозде раскормленная Свербеха!..

С такими думами Иван Тимофеевич вывел Свербеху из конюшни. Она еле переставляла свои громадные копыта с мохнатыми щетками: только и остались от Свербехи что эти громадные, как блюда, копыта.

Пахать всегда начинали с Тимохина отруба. Здесь раньше всего сходил снег и подсыхали загоны. Иван Тимофеевич с трудом, но радуясь выкатил из гумна плуг, своим еще довоенным ключом прикрутил лемех с коляской и запряг. Грачи, чувствуя новизну, уже нетерпеливо прыгали невдалеке.

— Ну-ко, милая! Ну-ко!.. — ласково сказал Иван Тимофеевич, втыкая лемех в закраину борозды.

Свербеха умно и умело встала в борозду. Она, слегка косясь назад, ожидающе навострила сивые уши.

— Ну, начали, благословясь...

Свербеха дернула, прицеп напрягся, и лемех покато вполз в глубь влажной земли. Но лошадь тут же остановилась. Снова дернула и опять встала. Дрожа мускулами тощих ляжек, она с тихим ржанием оглянулась на Ивана Тимофеевича. Он подошел к

ней, поправил седелку, погладил печальную лошадиную морду:

— Давай, матушка, давай, надо ведь...

Она, качаясь из стороны в сторону, прошла шагов десять, потом еще десять, потом еще... Темная полоса земли тянулась все дальше, и первый грач уже слетел на эту полосу, ткнул в нее белым костяным носом.

К обеду они вспахали один загон, соток пять. Когда Иван Тимофеевич почувствовал, что Свербеха сейчас упадет, он распряг ее. Возвращаясь из конюшни, он все думал, где бы еще понаскрести сена, ему было отрадно, и перед глазами все темнел вспаханный загон.

Над полем и деревнями светилось в синем просторе теплое, доброе солнце, в канавах шумели вешние ручьи. Ярыкина баба выставляла в избе зимние рамы.

Ярыка сидел на крыльце и издалека просил у почтальонки газетку сначала поглядеть, а потом на курево. Почтальонка как-то боком подошла к крыльцу вместе с Иваном Тимофеевичем, не поздоровалась почему-то и торопливо ушла, сунув ему в руки какую-то бумагу. У Ивана Тимофеевича затряслись руки, когда он начал читать. Солнце покатилось и перевернулось вместе с небом, деревня перевернулась крышами вниз, и Иван Тимофеевич в беспамятстве опустился на Ярыкино крыльцо.

— Левонида! Левонида убило! — закричал Ярыка, и вся деревня сбежалась к этому крыльцу.

Плакали все до одного, плакали навзрыд о последнем мужчине, погибшем на чужой стороне за три дня до конца войны.

Не было тут только Михайловны, матери этого последнего. Когда ей сказали о Леониде, она встала из-за стола и, безумно кидаясь взглядами, прошла к шестку, взяла зачем-то пустой чугунок, начала старательно складывать в него клубки, ложки, облигации, тряпки...

Через неделю она тихо умерла в своей бане, пахнущей плесенью и остывшими головешками.

4

Кое-как прошла неделя.

Неожиданно переменилась погода: вдруг из-за леса нахально подул пронзительный сиверко, стремительно понес белые потоки тяжелых снежных хлопьев. Исчезли куда-то скворцы с грачами, солнце потухло и скрылось, и даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с неба, а с горизонта, хлестал откуда-то сбоку.

Морозно было даже днями, и могила Михайловны долго не опадала: мерзлая земля так все и бугрилась над приютом солдатской матери. Иван Тимофеевич через день с лопатой ходил на погост, пробуя окидать холмик, но земля не оттаивала.

На седьмые сутки опять хлестал снег. Иван Тимофеевич, опираясь на лопату, шел домой. В поле он остановился и долго глядел на свой дом. Хлопья снега шмякались в бороду и в глаза, таяли, и капли стекали за ворот. Иван Тимофеевич глядел на дом, а дом глядел на него: четыре передних окна желтели крашеными рамами и были похожи на тонконо-

сые лики иконописных угодников. У черемухи тоскливо торчала скворечня.

В деревне было пусто и холодно. Иван Тимофеевич приставил лопату к воротам и пошел на конюшню проведать Свербеху. После того раза они уже не ездили пахать: погода переменилась, да и Свербеха уже третий день сама не вставала на ноги и висела на веревках, привязанных к стропилам.

Еще из ворот Иван Тимофеевич увидел, что веревки от стропил отвязаны. Он подошел к стойлу, дважды тихонько взыкнул, но не услыхал обычного ответного ржания. Свербеха лежала на левом боку и не двигалась. Иван Тимофеевич кинулся к ней, дернул за холку, но тяжелая оскаленная голова была холодна и неподвижна, большие копыта откинуты.

Иван Тимофеевич медленно опустился на холодный лошадиный круп. Из ворот в стойло дунул ветер, шевеля сивые космы Свербехиной гривы, жалобно засвистел в пазах и загулял в холодных стропилах.

Иван Тимофеевич долго сидел на мертвой Свербехе. Потом он встал, смотал на руку вожжи, на которых подвешена была Свербеха, и пошел домой.

В небе над полем шла полоса снежной белой крупы.

Старик поднялся по давно не метенной лесенке в сенцы, открыл двери, растерянно, как чужой, оглядел избу. Печь была не топлена, и от этого запах жилья уже уступал неприютному запаху холода и пустоты. С потолка свисала отклеившаяся газетка. У порога валялись стружки и пустая кошкина черепеня: сама кошка еще на той неделе ушла и больше не показывалась.

Иван Тимофеевич, не снимая фуфайку, сел на лавке, сгорбившись, глядел на сучок в половице. Он старался вспомнить всю свою жизнь с того лета, как начал сознавать сам себя, и до теперешней весны, но память путала и переставляла годы, выхватывая из прошлого то одно, то другое. Вот вспомнилось, как родился Ленька, потом вдруг навернулась в памяти та ночь, когда цвел горох за баней, когда из светлых ночных полей долетали голоса девок, потом неожиданно всплыла волчья морда, скрипучий зимник, и вновь замелькали в глазах фиолетовые и белые гороховые лепестки, потом представилось предосеннее поле и Свербеха — молодой игривый жеребенок с круглым задком, с тонкими ножками и с мягкими ласковыми губами...

— Ооо-ох!..

В рамы хлестала свинцовой дробью снежная крупа.

Иван Тимофеевич подошел к комоду, ничего не думая, открыл нижнюю дверку, вытащил пыльную, пять лет никем не троганную гармонь. Он отстегнул ремешки, схватывающие мехи, поставил гармонь на колено. Печальный рокочущий звук баса родился и растаял в холодной пустой избе. Иван Тимофеевич закрыл глаза, но слезы все равно катились в бороду, большие узловатые пальцы перебирали кнопочки ладов, с тихим потрескиванием раздвинулись склеившиеся мехи.

Шевеля ртом, Иван Тимофеевич заиграл.

Старинная русская игра была нежна и печальна: перебор «Камаринской» угадывался в ней за тоскливым зовом ладов, густые хрипловатые вздохи басов протяжно оттеняли ладовую перекличку, щемящие пе-

реходы были целомудренно чисты, и от всего веяло неведомой силой, неведомой горечью.

Иван Тимофеевич играл и играл с закрытыми глазами, положив ухом на гармонь свою бородатую голову, и мутные слезы редкими капельками катились по лицу.

Никого у него не осталось, только гармонь играла, как живая.

* * *

Вожжи в бригаде всегда крутили тонкие, ровные. Иван Тимофеевич взял принесенный с конюшни моток и повесил его в темноте за печку. На другой день он вновь был на могиле Михайловны, окопал бугорок — погода чуть потеплела.

На душе было тихо и спокойно. Он знал теперь, что надо делать, и с тайной грустной лаской смотрел на оттаивающий весенний мир. Водополье, поддержанное снегопадом, опять набирало силу. Снова появились грачи и скворцы. Бабы во главе с Полькой боронили вспаханный Иваном Тимофеевичем участок. Они впряглись в борону — восемь баб — и на веревках таскали борону по влажной земле. У конюшни сапожник Ярыка шкурал Свербеху, и ребятишки с корзинками терпеливо стояли рядом. Иван Тимофеевич тоже сходил туда, и Ярыка отрубил ему большой кусок Свербёхиного бедра. Иван Тимофеевич знал, что идет по улице в последний раз, что больше никто его не увидит живым, и был спокоен. Он растопил печь и сварил два куска дохлой конины, но есть не стал, начал собираться. Еще со вчерашнего вечера его просили высушить овин прошлогодней, вытаявшей из-под снега тресты.

Иван Тимофеевич взял большую корзину, положил туда чугунок с кониной, спички, вожжи, лучину и вновь вышел из дома.

Уже вечерело. Он пришел на гумно, натолкал дров в окошечко овина, растопил теплину, большую глинобитную печь.

Иван Тимофеевич всегда был мастер сушить овины.

В большой овинной печи затрещали сосновые чурки, овин медленно наполнялся жаром. Пришла редкозвездная майская ночь.

Иван Тимофеевич чувствовал, как за овинной стеной затихали последние отголоски зимы, как шумел уже стихающий Ярыкин ручей, чуял вешние запахи, и все это пеленалось безбрежной и мудрой тайной, тайной смерти.

Он ни о чем сейчас не думал, горя как будто не было, но не было и ничего другого.

В ушах у него звенело.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал скрип воротницы. Он открыл дощатое полотенышко выхода в гумно и услышал Полькин голос. Она стояла с пестерем на плече и окликнула Ивана Тимофеевича:

— Думаю, наскребу немножко коглины[1] на гумне, две коровы лежат врастяжку.

Иван Тимофеевич ничего не ответил. Полька пошебаршила на перевале и зашла погреться. Она встала напротив теплинки. Заслонив красные сполохи огня, погрелась с минуту и вышла.

---

[1] Коглина (отходы от обмолота льна) — сыпучая масса раздавленных, без семян головок от льна. *Прим. автора.*

Иван Тимофеевич подождал, пока не стих стук ее сапог, потом взял из корзины вожжи и сделал петлю. Он вышел из овина, нащупал лестницу, по которой поднимались на овин, приставил ее и с веревкой полез наверх. Он привязал веревку к балке, спустился до середины лестницы, поймал в темноте петлю, дрожащими руками раздвинул ее, надел на шею и приноровился вытолкнуть из-под ног лесенку.

На секунду запечатлелись в голове багровый овинный отблеск и шум полевого ручья. Вдруг истошный женский крик послышался из темноты, и Иван Тимофеевич, каясь в чем-то, толкнул лестницу. Больше он ничего не помнил, зеленые нимбы расплылись вокруг затуманенной враз головы.

— Ой, Иван! Ой, что ты наделал-то, ой! — металась в овине Полька, ища топор. Она нашла топор, скорехонько приставила лестницу, торопливо залезла наверх и наугад, плача, долго тюкала по веревке, пока на подошву гумна не упало грузное тело Ивана Тимофеевича.

Она еле стянула с него врезавшуюся в шею веревку, подтащила его на свет. Иван Тимофеевич не двигался. Она суетилась около, плакала, охала, не зная, что делать. Вдруг кадык у него дрогнул, дернулся один раз, другой, и Полька, улыбаясь и плача, с маху кинула веревку в огонь.

— Полинарья, ты?

— Я, Иван, я...

— Не говори, ради Христа, никому...

Полька, вся в слезах, села рядом, положила голову Ивана Тимофеевича на свои колени, и все горе, что накопилось у них обоих, слилось в одно горе, и от этого стало вдруг легче. Чугунок с кониной пере-

катывался на земляном полу, за овином шумел неутомимый Ярыкин ручей, посинели звезды над гумном, и земля вокруг тихо дышала, дожидаясь человеческих рук.

С ночного юга катилось вал за валом густое, как сусло, вешнее тепло, в темноте у гумна пробивались на свет новые травяные ростки, гуляла везде весна. Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это.



ПОД ИЗВОЗ

Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень — женился как раз перед войной. Был он хоть и порядочный ростом, но жидкий: мослы на спине торчали даже через ватник и штаны висели на Сеньке как на колу. А девку прибрал к рукам красавицу — Тайка, Таиска была у него дородная, волоокая и ходила всегда будто со сна, с тайной полуулыбкой и будто о чем задумавшись. Хотя работала она весело и с товарками щебетала не хуже других.

Сенька по простоте своей хвалил жену всем вместе и каждому в отдельности: «А вот у меня Тайка! А вот моя Таиска, нет лучше бабы!» И с восторженным откровением выкладывал ночные подробности. Может быть, зря хвалил, на свою шею выкладывал...

Да, Сенька Груздев был взаправду веселый, ходил он быстро, не ходил, а бегал. Про таких у нас

говорят, что «вот эта мелея на месте не усидит». Называют торопыгой, вертуном либо удваивают собственное имя обязательной добавкой, и получается что-нибудь вроде Степы-суеты, либо Ромы-егозы, либо Егора-трясунчика.

Груздев почти всегда улыбался. А о себе говорил обычно в третьем лице: «Сеньку Груздева знаете? Сенька Груздев хороший парень! Ты Сеньку не обидь, а уж он тебя век не обидит».

Сенька был прав: до войны он никого не обижал, хотя самого его обижали сплошь да рядом. Кого в первую очередь посылать на сплав леса? Сеньку Груздева. Кто в разгар праздника должен сидеть в сельсовете и караулить у телефона? Сенька. Лошадь, пахать свой огород, кому в последнюю очередь? Опять же Груздеву в последнюю очередь. И так всю жизнь. Сенька же будто и не замечал этого. Он говорил со всеми громко, прибаутничал, и лишь мелькал его добрый, загнутый чуть вправо, вздернутый, но остроконечный нос. Любила ли Тайка своего Груздева — не поймешь. Наверно, любила сколько-то, потому что перед самой мобилизацией родился у них первый ребенок. А когда началась отправка, Тайка, как и все бабы, ревела в голос и хрясталась на котомки, сложенные оптом на двуколой телеге. Другие повозки, негруженые, стояли запряженные, готовые. Сенька же плясал в это время у своего же дома, и гармонь едва успевала за частым, словно горох сыпался, стуком стоптанных Сенькиных каблуков. Плясал Сенька удивительно. Не глядя под ноги, а глядя куда-то в небо, шел-строчил, описывал большой круг, и все его естество ходило как на шарнирах. Не увидишь ни одного ненужного

движения, и все движения к месту, как тут и были. Нет, плясал Сенька хорошо, ничего не скажешь. Только частушки, как назло, вылетели из головы подчистую. Он не мог вспомнить частушку вовремя и мотал от этого головой, и приходилось петь одно и то же.

Уехали на войну со звоном гармони, многие поперек тарантасов. Уехал и веселый Сенька Груздев.

* * *

Прошло полтора года, и вдруг Сенька явился домой: его ранило в руку. Рука — правая, как на грех, — совсем не действовала и была похожа на какой-то корявый сучок: вместо пальцев торчали в разные стороны какие-то розовые соски и калачики, и между ними все время сочилась сукровица.

Однако Сенька не унывал. Хотя в его отсутствие в кособоком доме прибавилось ни много ни мало двое жильцов (Тайка гульнула слегка с одним из уполномоченных), он ничуть не обиделся на судьбу. Груздев сперва только удивился, но особо не расстроился и через неделю совсем привык. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила!»

Тайка отмалчивалась, притворяясь и делая вид, что у нее есть какое-то оправдание, только, мол, она, Тайка, никому об этом оправдании не рассказывает. Потом она и сама поверила в это несуществующее оправдание, а Сенька еще больше привык, когда зимой родился еще один, уже наверняка свой, кровный. Сенька бегал по деревне гоголем, и все встало на

свое место. Лишь иногда пожилые мужики, не ушедшие на войну по возрасту, подначивали Сеньку: «Худо ты, Груздев, работаешь, не то что уполномоченной. Мужик один сенокос и в деревне-то пожил, а вишь, сразу оба-два! Тебя когда отпустили? Ведь два года скоро, а ты только одного смастерил».

Сенька не оставался в долгу. Он шумно, почти всерьез, оправдывался госпиталем и худыми теперешними харчами, смеялся вместе с мужиками. Впрочем, Сенька зря оправдывался, потому что вскоре Тайка родила опять и, что всего удивительнее, опять двойню. Один ребенок из этой новой двойни сразу же умер, и Сенька в ящике из-под колхозных гвоздей отнес его к церкви и зарыл. Но все равно семья была большая. Сенька изворачивался как только мог: пятерых ребятишек и в мирное время поднять на ноги не шутка. Но Груздев был по-прежнему весел и любил всех людей, не считая бригадира.

Бригадира же, двоюродного Илюху, Груздев не любил по многим причинам. Первая причина та, что он бригадир, вторая — что хоть и двоюродный, а прижимка, к нему, к Груздеву, словно бы к пленнику: то упряжь худую даст, то за овец оштрафует. Хотя его, Илюхины, овцы щипали озимь на паях с остальными. А однажды в сенокос Илюха кровно обидел Тайку. Илюха вместе с председателем и счетоводом объявили бесплатный воскресник в счет помощи фронту. Дело не в том, что бесплатный, все равно и другие дни также бесплатные, да и Тайка пошла бы работать не позже других баб. Пришла установка, чтобы утром печей не топить и всем поголовно выйти косить. Сеньки дома не было, он уезжал под извоз.

Легко сказать — не топить, ежели и в топленую печь ставить нечего! Картошка еще только что отцвела, летом ни мяса, ни редьки, а ребятишки, они ведь не спрашивают, где взять, каждый есть просит. И жена — Тайка — печь затопила. Хотела она сварить крапивной похлебки, а после поставить к загнете ставец козьего молока. А уж потом и идти на воскресник. Утром, часов в пять, она затопила. Дрова были гнилые и не горели, а только шаяли: словно медведь сидел в Тайкиной печке. Тайка сбегала на поветь и разломала пустую кадушку. Подкинула на огонь сухую клепку, и в печи сразу стало весело как на празднике. И вдруг Тайка в окно увидела председателя, счетовода и бригадира Илюху. Все они с Илюхиной бадьей ходили по деревне и заливали водой печи. Не успела Тайка опомниться, как Илюха с председателем были уже в избе. Они подняли крик будто на пожаре, разбудили всех ребятишек. «Лей!» — крикнул председатель, и бригадир Илюха два раза плеснул из полной бадьи в Тайкину печь. У Тайки зашлось сердце при виде белого пара, повалившего из погашенной печи. Так хорошо, ясно топились дрова... Она, в слезах, схватила с лавки ведро своей воды и с ног до головы окатила Илюху. Хотела вторым ведром окатить и тех двоих, но они из избы выскочили. После этого зуб у Илюхи против Груздевых стал еще больше, бригадир обижал Сеньку на каждом шагу.

Как-то ночью Сенька назло Илюхе уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтобы пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал. Сенька уволок сноп на пред-

банник и забыл про него. Вспомнил только тогда, когда Тайка обмолотила сноп колотушкой, провеяла на ветру зерно, высушила в печи и велела Сеньке смолоть на ручных жерновах. Дней пять она кормила ребятишек ячменной кашей. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два... После этого у Груздева дело пошло быстро: он навострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина,— начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, ему везло, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик.

Его все время посылали под извоз. Он быстро научился одной рукой запрягать лошадь, помогая то зубом, то коленом, ловко накидывал гуж, засупонивал хомут и привязывал к удилам вожжи. С любым возом, в любую погоду он ехал на станцию, за семьдесят километров, ехал на три-четыре дня. И никогда не возвращался без добычи. Однажды привез для колхоза новехонький с гужами из лучшей сыромяти хомут, в другой раз перепряг мерина в чужие новые дровни. Сена он на своей конюшне никогда не брал, добывал кормежку для лошади в дороге, частенько привозил в колхоз то полдесятка пустых мешков, то новую дугу, а однажды стянул с возка райкомовский тулуп.

Илюха, хотя и держал на Сеньку зуб, помалкивал в таких случаях и домовито принимал добычу на бригадный баланс, председатель тоже лишь усмехался при виде новых дровней, а при сдаче хлеба по госпоставкам всегда назначал Сеньку старшим по обозу. Потому что Груздев привозил квитанций боль-

ше, чем положено. Делал он это просто: когда на складе взвешивали привезенный на сдачу хлеб, то Сенька весело трепался с приемщиком. Взвешенные и уже принятые мешки складывались отдельно, в сторонку. Стоило приемщику замешкаться, отвернуться по делу, Сенька хватал взвешенный и уже принятый мешок и опять клал на весы. Иногда, притащив мешок в склад и сдав приемщику, Груздев тащил мешок обратно в телегу...

Бабы теперь боялись ездить с ним под извоз, было опасно оказаться его соучастником. Зато он никогда никого в дороге не оставлял, всегда выручал и помогал. То ли завертка у бабенки лопнет, то ли испугается кобыла машины — Сенька всегда тут как тут, выручит, обнадежит. Может, за это и сходили ему с рук многие уж совсем бессовестные проделки.

Однажды он среди бела дня свистнул со склада сельпо полтуши замороженного поросенка. За Сенькой шесть километров гнался заместитель сельпо Гриша, по прозвищу Шкурник, потому что всю жизнь возился с овечьими, телячьими и прочими шкурами, заготовляя их и занижая сортность во имя блага государства. Гриша догонил-таки Сеньку и при всем народе начал стыдить вора:

— Ты, Семен, стыд потерял, тебя надо в тюрьму посадить, разве ладно ты делаешь?

— Жалко, так на, бери! — сказал Сенька. Он бросил поросенка в снег, хлестнул по лошади и уехал.

Таким мазуриком стал Груздев к началу последней военной зимы.

* * *

Холодное, темное и глухое утро. Мороз винтовочными выстрелами то и дело бухает в скрипучих постройках. Такой мороз, что Груздев еле отдирает губу от железа, когда зубами распутывал поводья узды и нечаянно прикоснулся к удилам.

— Дурак я, дурак! — ругает он сам себя. — Разве это дело?

Он и сам не знает, отчего так получилось. Забыл, мозгами вздремнул. А ведь еще в малолетстве учен был морозным железом. (Однажды на спор лизнул обух принесенного с мороза топора. Оставил пол-языка на том обухе.)

В темноте конюшни Груздев долго ищет седелку. Облизывает обожженную губу и тихонько ругает бригадира Илюху: опять одноглазый спрятал чужую седелку.

— У, сатана кривой! — без злобы рычит Сенька и вытаскивает из дальней кормушки спрятанную бригадиром седелку.

Так. Значит, подпруга, войлок, все в порядке. Сенька обратывает свою лошадь, всхрапнувшего вместо приветствия чалого Воробья.

По причуде судьбы мерин Воробей не мерин, а наполовину жеребец: ветеринар, холостивший Воробья, плохо спутал ему ноги, и животина, лежа, лягнула ветеринара в грудь копытом. Пока ветеринар отлеживался и собирался довести дело до конца, началась война, его вызвали на фронт в первый же день, а Воробей так и остался при своих испорченных интересах.

И вот Сенька Груздев еще затемно запрягает

этого Воробья. Бригадир Илюха еще с вечера сделал наряд: надо везти государству тресту, а обратно ехать порожняком либо прихватить что придется.

Груздев запряг и поехал к гумну. Две бабы и подросток Борька, тоже намеченные под извоз, еще не запрягали, и Груздев колотит в их ворота кнутовищем:

— Эй, теплобрюхие, вставай, эй! Кому говорят, запрягай!

Но в окнах уже мерещится и так что-то красное: свет от лучины, а может, от затопленных печей.

«Теперь проволынятся до обеда,— думает Груздев. — От лешие-сатаны, беда мне с ними».

У своего дома он еще раз перевязывает лен, сильнее затягивает веревки. В избу ему не хочется. Тайка с ребятишками еще спит, делать в избе нечего. И Груздев идет помогать остальным возчикам.

Когда соберутся и выедут в путь, обычно уже светло. Заря розовеет на близком краю неба, тут и там белеют, торопятся вверх, умирать, печные дымы. Лошади тотчас же начинают седеть инеем, полозья тоскливо затянули скрипучую свою песню. Теперь трое суток, не меньше, только и дел что слушай эту морозную песню, и Воробей останавливается у околицы. «Может, еще ошибка какая, может, недалеко ехать?» — такой вопрос таится в глазах обернувшегося назад коня.

Нет, никакой ошибки нет, Груздев кричит Воробью: «Шагом марш!» — и запахивается в тот самый тулуп.

Всходит холодное солнце. Везде кругом розовые, будто кровяные, снега, везде мертвая тишина да

белые ольховые кустики. По этим кустикам и стелется скрипом полозьев узкий бесконечный зимник, стелется семьдесят километров, до станции.

Сенька высовывает из тулупа нос:

— Эй, Марюта, а Марюта?

— Чево?

— А жива еще? Гляди у меня, не умирай раньше время.

— Не умру, Семен, не умру!

И Марюта замолкает, ободренная разговором. Она боится будущей неизвестности, дальней дороги, боится и другая баба — Ромиха. С Ромихой Сенька перекликается тоже:

— Ромиха, ты вот что. Ты бы дома грамм сто пропустила, так и не мерзла!

— А надо бы дернуть! — бодро отзывается Ромиха, которая за всю жизнь ничего, кроме чаю, в рот не бирала.

Тем временем Груздев пускает Воробья одного и перелезает на Борькин воз:

— Чево, Борька, ты не женился еще? Поди, ведь уж семь групп окончил.

— Не-е! — смущается Борька. — Я еще только на ту зиму.

— Жениться-то?

— Не, семь классов на ту зиму.

За разговором на сердце мальчишки тоже становится легче. У него каникулы, он едет на станцию всего второй или третий раз и боится дороги больше, чем бабы. Дорога и правда тяжкая, долгая, с двумя, а иногда и тремя ночлегами, с раскатами на горушках, ночными волками на долгих волоках, с машинами у станции, с трудными разъездами по глубо-

кому снегу. Если одному, то и пропасть можно, а тут еще голодный и в дорожной котомке только шесть вареных картошин. Да лепешка из льняных жмыхов.

У Сеньки Груздева и того нет. Чем питаться эти трое суток, он и сам не знает, просто надеется на какие-то случаи. Он без труда забывает про это неприятное обстоятельство, вытягивает ноги и, опершись на локоть, поет:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух агромных скал,
Абнисен большим забором...

Сенька поет довольно приятно и сам чувствует эту приятность, отчего петь ему еще приятнее:

...Подметалов там немало,
В каждой камаре найдешь.

Почему-то он представляет этих «подметалов» в виде бригадиров Илюх, тоже кривыми, только в новых синих фуфайках, в серых подшитых валенках и с новыми же березовыми метлами в коротких руках. Они, эти подметалы, ходят по камерам и шумно метут полы: так видится поющему Груздеву.

Борька с вежливым интересом слушает песню про Александровский централ и шевелит в валенках замерзающими пальцами. Лошадь тоже слушает. Полозья под возами по-поросячьи визжат, мглистое солнце отстранилось от еловых верхов и висит, полозья визжат бесконечным, непрерывающимся визгом.

Сенька враз перестает петь и вытягивает сухую шею: Воробей впереди остановился. Груздев издали громко матюкает его, и Воробей не прекословит,

топает дальше. Борьку же точит и точит тревожная тоска бездомности, и Сенька Груздев кажется теперь ему самым родным человеком на всем белом свете.

* * *

Груздева знают в каждой придорожной деревне. Но деревни далеко друг от дружки, и он, проехав километров пять, промерзает обычно начисто. Особенно мерзнет раненая рука. Если до деревни еще далеко, а терпенья уже совсем нет, Сенька останавливает лошадь, снимает рукавицу и сует изуродованную руку Воробью под хвост. Греет минут пять. Воробей недовольно оглядывается, он никак не может привыкнуть к таким бесцеремонным вторжениям под его хвост и пытается сопротивляться.

— Но-но! — грозит Воробью Сенька. — Стой как положено. Ж... тебе жалко?

Если деревня близко, Сенька отогревается в избе. Мерин уже знает, в какой деревне и куда сворачивать. И вот Груздев развязывает воз, берет вязку тресты, кидает лен на поветь. Потом весело распахивает двери избы:

— Здорово, Федулиха! Суп-то есть?

— Супу-то, Семен, нету северни. Вон штечки постные.

— Ну давай, штечки ежели.

Федулиха достает из печи постные щи и, пока Сенька громко хлебает, идет на поветь и убирает подальше вязку колхозного льна. Подросток Борька, Марюта с Ромихой обогреваются тем временем у печи. Потом обоз движется дальше. Опять визжат на морозе полозья, опять Сенька поет, каким забором

обнесли Александровский централ, и голодный Воробей недовольно фыркает. Часа через два Сенька наконец решает и его судьбу.

В большой, уже от чужого колхоза, деревне стоит какой-то дальний обоз, подвод шесть. Ездовые кормят лошадей, сами греются в избе, и Сенька решительно машет Борьке и бабам:

— Езжайте пока без меня!

Те едут, а Груздев осторожно подъезжает к чужой стоянке. На улице нет ни души, мороз всех загонил в избу, только заиндевелые лошади хрупают сено. Сенька недолго думая хватает беремя сена с чужого воза и кладет на свой. Вроде маловато, мелькает у него в голове, и он хватает еще охапку, потом еще, прихватывает заодно и хороший плетеный кнут. В это время слышится звук открываемой двери, кто-то выходит из избы, вот-вот откроются ворота. Сенька изо всей мочи, молча бьет Воробья, Воробей дергается, и оба вместе они с возом заворачивают за угол, скрываются за летней избой. У того же дома, у которого остановился обоз.

— На, на, дурка, только тише, стой тише! — шипит Груздев и сует Воробью волоть чужого зеленого сена. Слышно, как выскакивают из избы и матерятся ездовые:

— Полвоза свистнули!

— Минька, распрягай, поедем вдогон!

— И кнута нет, мать его...

— Скорей, Минька, оне еще не должны далеко уехать!

— Догоним!

— Давай топор, догоню, обухом измолочу.

Сеньке слышно, как двое ездовых отпрягли ло-

шадей и верхом бросились за ним вдогон. Он потихоньку выглянул из-за угла, подождал, справил небольшую нужду. Он знает, что ездовые догонят сейчас баб с Борькой, а те знать ничего не знают и никакого ворованного сена у них нет. Ездовые повернут обратно и поедут догонять вора в другую сторону. Две же встречные подводы едут уже далеко, верст пять отмахали; пока ездовые их догонят да разберутся, что к чему, он, Груздев, будет уже, считай, на ночлеге.

Так оно все и случилось. Ездовые, ничего не обнаружив у баб и у Борьки, проскакали в другой конец. Сенька же, не торопясь и похваливая Воробья, выруливает из-за летней избы на дорогу и довольный заворачивается в тулуп. Теперь и самому есть что вспомнить, и мерин сыт будет.

* * *

Недолог зимний день, не успеешь опомниться, а звезды уже опять мерцают, мерцают и близко, и все дальше в фиолетовой глубине неба; холод пробирает ездовых, лошади устали и, часто останавливаясь, оглядываются, будто спрашивают: скоро ли?

Вот наконец и ночлег. На середине пути, в большой деревне, Воробей по своей инициативе свернул в заулок знакомого дома.

Распрягли все четверо. Груздев великодушно делит свое зеленое сено между всеми лошадьми. Коричневый багульник, взятый бабами из своей конюшни, остается нетронутым, и Сенька гордится:

— Вот, дурочки, молите здоровья Сеньке Груздеву!

— Ой, Семен, — охает Марюта, — гли-ко ты, мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой, — говорит Сенька и ступает в дом, заказывать у старухи Михайловны самовар. Минут через пять опять появляется, гремит ведрами. Однако поить лошадей сразу, с пылу нельзя, он перевязывает возы, проверяет завертки, подкидывает лошадям сенца и о чем-то объясняется с Воробьем.

В это время слышится голос Ромихи:

— Неси водяной рогатую блудню!

— Коза? — спрашивает Сенька.

— И не одна! Кыш, пустая рожа! — возмущается Ромиха.

Груздеву давно надоели эти козы. Здешние хозяйки нарочно, даже по ночам распускают коз по деревне, чтобы они кормились у проезжающих обозов.

— Чака-чака, — сидя на корточках, подманивает Сенька козу, — иди сюда, чака-чака.

Коза доверчиво глядит на Сеньку, а он вдруг ястребом кидается на нее. Хватает за рога и тащит козу в избу. Старуха Михайловна живет одна, кормится тем, что пускает на ночлег обозников. Она раздувает у шестка самовар. Сенька, чтобы угодить старухе и не платить за ночлег, громким шепотом окликает старуху:

— Михайловна! Чуешь, Михайловна!

— Чево?

— А на, дура, дой!

Сенька кряхтит, присел и за рога тащит козу в кухню, чтобы никто не увидел, если зайдут.

— Дой, дура! Вон ковшик бери да дой! Пока держу-то!

Старуха — она еще разворотливая — всплеснула руками: «Ой, Сенька, Сенька! Ну да ладно уж...» Взяла алюминиевое блюдо, со страхом оглянулась, но в избе никого не было.

— Давай, Михайловна! — громко шепчет Груздев и не отпускает козу. Коза брыкается, он гладит ее свободной рукой, уговаривает, а Михайловна уже приладилась доить.

— Не сказывай никому, ради Христа,— слышится ее шепот.

— Давай... Ну? Как умерло...

Сенька держит козу, Михайловна торопливо доит. Вдруг получается какая-то заминка.

— Сенька, лешой...

— Чево?

— А веть коза-то моя.

— ?!

— Ей-богу, моя... и зовут Малькой.

Груздев на секунду теряет чувство уверенности, растерянно глядит на Михайловну:

— Малька?

— Малька. Вот и веревочка...

Старуха ойкает, ругает Сеньку, как будто он один виноват, а Малька же домовито мелет хвостом. Сенька волокет ее обратно на мороз, она упирается.

— Иди, иди... хм... Ну ладно, ежели... это... откуда я знал, на ней не написано!

За дверью в сенях он втихомолку пинает животину в брюхо и матерится:

— У, дура душная! Рогатая! Так бы и говорила, что не чужая, здешняя!

Сенька бежит поить лошадей. Коза блеет и от ворот не уходит. Из сеней слышится перемененный голос Михайловны:

— Маля, Маля, иди-ко матушка, домой, я тебя подою да застану, Маля!

* * *

Часа через два все в избе уже спят. Висячая лампа не погашена, а лишь увернута. В темноте на столе виден ведерный выпитый самовар. На лавке у шкапа, подложив под голову рукавицы, тревожно спит подросток Борька. На полу, у маленькой печки, не сняв балахонов, приткнулись Марюта с Ромихой, Михайловна забралась на печь. Только Сеньки нет, он убежал на деревенское игрище. Может, и спляшет там, даже наверняка спляшет, благо плясать на игрищах стало совсем некому. Часа в три ночи он прибежит, поднимет своих спутников: надо ехать.

Звезды разгораются на фиолетовом небе, надо ехать. Вся дорога и все приключения еще впереди.

Запрягают, трогаются.

Никто не скажет, сколько матюгов произвел за день груздевский щербатый рот, сколько страхов пережили, дум передумали Марюта с Ромихой. Борька же за один этот день становится взрослым.

Под вечером все четверо, голодные и замерзшие, въезжают в районный пристанционный поселок. Впереди — Сенька Груздев. Потому что Сенькин Воробей не боится ни поезда, ни встречных машин, так как ездит на станцию чаще других. А может, и оттого, что в нем есть хоть и половинное, но все же мужское достоинство.

Марюта с Ромихой, когда подъезжают к железной дороге, снимают с себя нижние платки и завешивают ими круглые кобыльи глаза. Гудит поезд. Лошади вострят уши, дрожат как в лихорадке. Перепуганная Марюта гладит морду лошади, успокаивает, а сама тоже дрожит:

— Пронеси, господи...

Поезд грохочет где-то над самой головой, на высокой насыпи. На мелькающих платформах стоят затянутые в брезент пушки, солдат с ружьем и в тулупе кричит что-то, смеется и проносится дальше.

Сенька видит и других солдат, в приоткрытые ворота вагона валит пар, вылетают голоса и гармонные звуки. Сеньке завидно, он с горестным восторгом глядит на убегающий эшелон. «Эх, мать-перемать! — вздыхает он. — Я ведь тоже на часового выучен!» Ему хочется рассказать кому-нибудь, как он учился на часового, как два раза ездил вот в такой же теплушке. Правда, во второй раз и до места не доехал, разбомбили состав, а Сеньку припаяло осколочным...

Сегодня сдавать тресту уже поздно, учреждения прикрыты. Сенька правит прямиком на «квартеру» — к землякам, уехавшим из деревни накануне колхоза.

После того как распрягли коней и упряжь убрали в сени, Груздев кричит Марюте:

— Денег-то много с собой взяла? Давай пойдем в чайную, хоть супу похлебаем.

Чайная рядом, около райсоюза, но Марюта с Ромихой упираются, в чайную не идут. Сенька почти силой тащит их к чайной.

— Иди и ты, Борька!

Борька до того стеснителен, что набычился и

остался на улице, а Сенька ругает баб, подталкивает их в двери:

— Идите, сотоны, не бойтесь! С Груздевым нигде не пропадешь, кто пообидится, что пропал с Груздевым?

И бежит покупать талоны. Денег у него всего на один суп и на десять стаканов чаю, Сенька на ходу прикидывает: «Ежели с Марюткиными лепешками, так ничего».

И вот на столе десять стаканов чаю и порция горохового без мяса супу. Бабы, озираясь, несмело развязывают платки, развязывают на коленях узелки с лепешками. Сенька быстро-быстро съедает половину супа. Незаметно ловит двух сонных по случаю зимы мух и украдкой опускает их в тарелку.

— Это, понимаешь, што такое! — на всю столовую кричит Сенька. — А ну, гражданочка, где дилектор? Дилектора, где дилектор?

Груздев с тарелкой идет на кухню, шумит и требует директора. Минут через десять возвращается, важно садится за стол.

— Семен... — У Марюты от испуга даже руки трясутся. — Семен Иванович, отпусти ты нас...

Ромиха тоже вся в беспокойстве, а Сенька дергает их за рукава, шипит:

— Дуры, сотоны, стойте! Кому говорят, на месте сиди...

Бабы сидят словно на шильях. Вдруг дородная девка приносит и ставит на стол три тарелки супа. Бабы глядят на суп, на Сеньку, а Сенька как ни в чем не бывало начинает хлебать.

Марюта с Ромихой не знают, что делать. Во-первых, они никак не ожидали такой чести, во-вторых,

им и есть до смерти хочется и есть боязно. А Сенька знай хлебает и кивает, чтобы ели и бабы. Ромиха глядела, глядела и вдруг говорит:

— Ежели только ложечки две...

— Уж хлебну маленько, — отзывается и Марюта.

На ночлеге бабы только охают от восторга. Первый раз в жизни наелись дарового супу — разве не диво?

* * *

Что верно, то верно, бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька. Лошадей поить, к примеру, как и где? Сенька и ведро найдет, и колодец. Как сдавать тресту, тоже никто, кроме Груздева, не знает. Не знают, где нужная контора и в какие двери идти сперва, в какие потом. Надо оформить какой-то пропуск, выписать какие-то бумаги. Найти приемщика, сдать груз, опять получить бумажки. Все это и делает Сенька, бегая по райцентру как угорелый. И земля горит под его новыми валенками.

К полудню треста наконец сдана. Надо бы ехать домой, а Груздеву хочется выпить где-нибудь, он тянет время в надежде наткнуться на удачную компанию.

Бабы стоически ждут, сидят на подводах уже увязанные и про себя молят бога, чтобы Сенька не напился. Сеньке сегодня не везет. Прибежал сердитый, хлестнул Воробья. «Поехали!» Бабы облегченно вздыхают и нукают своих лошадей: слава богу, теперь домой.

Однако у железнодорожного переезда Сенькина

неудовлетворенность взрывается и переходит в нестерпимую жажду деятельности. Он вдруг останавливается. Хватает с бровки какой-то небольшой, но очень тяжелый ящик, кидает на дровни и шпарит не оглядываясь. Рабочие-путейцы бегут за Сенькой, кричат, но Воробей бежит в сторону дома намного охотнее, и преследование обрывается.

Отъехав километров пять, довольный Сенька нетерпеливо исследует ящик. Слышится ругань, Сенька плюется и ногой сковыривает ящик с дровней: в ящике одни железные костыли, которыми пришивают рельсы ко шпалам...

Сенька удручен и обижен, ему кажется, что с костылями его бессовестно надули. Он искренне и долго ругает обидчиков, сердито заворачивается в тулуп.

Однако осьминка табаку, добытая на складе райсоюза, вскоре возвращает ему веселое настроение.

— Марюта, чуешь, Марюта?

— Чево?

— А не умерла еще?

Начинается тот не поддающийся описанию и на первый взгляд совершенно пустой диалог, когда говорящие полны доверия, доброты и отрадного взаимоутешения.

— ...А я, Семен, на гумно-то ушла, трубу-то не закрыла. Прихожу, а в избе-то у меня все выдуло...

Сенька слушает.

— Гляжу, а петух-от сидит на кожухе и на меня не глядит, гребень опущенной.

— Ой ты. Омморозила? — восхищенно кричит Сенька.

— ...а курицы-то на шесток забилися...

— У тебя много ли куриц-то?

— Чево?

— Куриц-то, говорю́, много ли?

— Да три.

Возы шумят, Марюта замолкает ненадолго.

— А с петухом-то четыре, нешто и толку от их. Одна дак все лето в крапиле и клалася.

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла.

* * *

Так Сенька Груздев ездит под извоз. Ездит всю зиму и все лето, ночуя дома раз или два в неделю. Летом Сеньке — раздолье. Не надо воровать сено для Воробья, отогревать раненую руку под лошадиным хвостом.

Однажды Груздев сбился об заклад с заготовителем Гришей. Спор получился из-за Воробья, Гриша-заготовитель не ставил мерина ни во что. Сенька обиделся, разошелся и прямо в поле случил Воробья с вороной сельсоветской кобыленкой, которая стреноженная ходила на клеверище. Воробей не уда́рил лицом в грязь, все сделал как положено, и Сенька выспорил две поллитры. Грише пришлось раскошелиться, но как раз это обстоятельство и сгубило Сеньку.

Переезжая вброд речку, он угодил спьяну на глубокое место и подмочил два ящика дорогих ленинградских папирос. Сельпо отнесло убытки на Сеньку, а чтоб рассчитаться, Груздев в том же сельпо стянул и продал мешок соли. Сеньку уличили

и подали в суд, дело кончилось принудиловкой. Но принудиловка для Сеньки всего полбеды, хуже было то, что не стали больше посылать в извоз. Отлучили не только от Воробья, но и от всех других лошадей.

Но Сенька особо не тужит, да и война уже кончилась.

...У груздевского дома большая куча недавно наколотых еловых дров. Пахнет смолой, белой ядреной древесиной. Поленья ровные, звонкие, хотя еще и не очень сухие.

Сенька с женой Тайкой складывает дрова к стене, в поленницу. Ребятишки — не поймешь, где свои, где чужие, — бегают вокруг. Они везде, в траве и на пыльной дороге.

В концах поленницы Сенька выкладывает дрова клетками, чтобы не раскатилась вся поленница.

— Ой, ой, Семен, спинушка-то моя, спинушка, — Тайка охает и садится на крылечко неподалеку.

— А непошто и пришла, — говорит Сенька, — один, что ли, не складу?

— Все думаю, хоть поскорее-то...

Дело у Груздева идет быстро, поленница растет на глазах. Однако дров еще много, надо бы заложить другую поленницу, а Сенька кладет уже на уровень своей головы.

— Гляди, хватит уж, — замечает Тайка.

Он кладет и кладет.

— Хватит, лучше новую начни. Говорено было, чтобы сразу шире раскладывал.

— Никуда она не девается, крепко стоит, — говорит Сенька.

— Свалится ведь.

— Не перьвой раз. Учить нечего, как маленького. Ну-ко, вон туда еще, ну-ко...

— Ой, гляди, Семен!

— Чего мне глядеть? Стоит как церква. Давай вон эти еще... Да и все, пожалуй, уйдут.

— Да что тебя, лешой! — ругается Тайка. — До крыши класть будешь? Сейчас полетит все!

— У меня не полетит, сказано, домой иди. Перьвой раз, что ли? Складу все на одну. У меня да полетит... У Груздева сроду не летывало.

— Тьфу, дурак, прости господи!

— Полетит... У меня не полетит, у меня как припечатано, это уж точно.

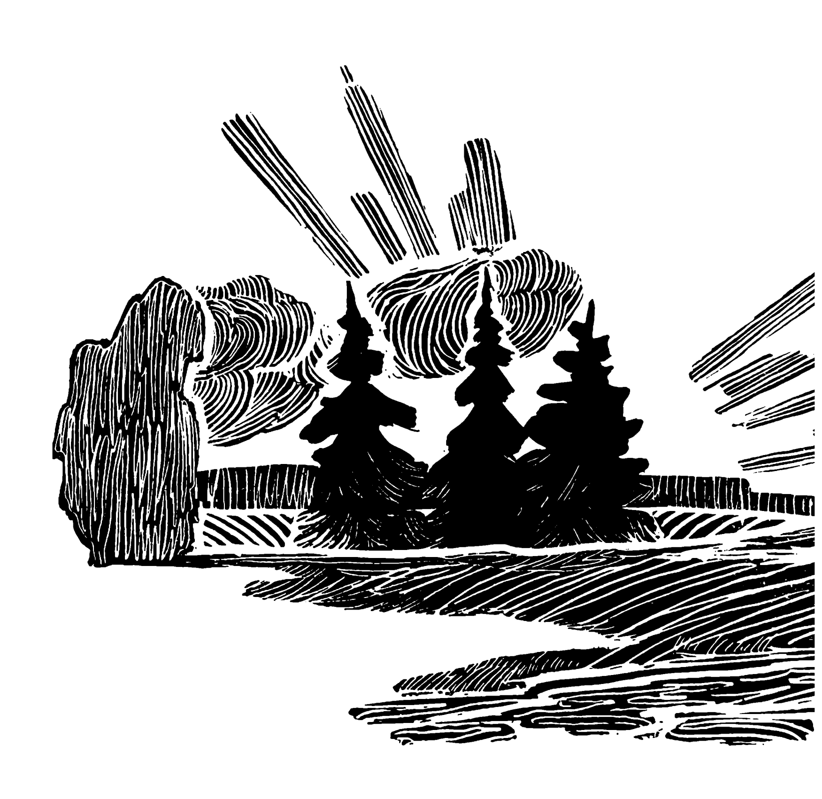
— Семен!

— Во! Полетит. Да ее теперь и валить не свалить, как церк...

Поленница с грохотом разваливается.

Груздев еле успевает отскочить в сторону. Он восхищенно моргает; глядя на беспорядочную кучу поленьев, произносит:

— Хм... Ведь так и знал, что шарахнется!





НА РОССТАННОМ ХОЛМЕ



РЕЧНЫЕ ИЗЛУКИ

Я какую вам вину сделала?
В чем гораздо провинилася?
Иль амбары хлеба выела?
Сундуки платья износила?
Иль ключами обтерялася?
Золотой казной обсчиталася?

(Из старинной народной песни)

В июне Ивана Даниловича Гриненко послали на Север покупать лес. Когда раздвинулись каленые одесские горизонты и вагон завыстукивал на перегонах Черноземья, у Гриненко неожиданно затихла сердечная канитель. Еще тише и умиротворенней стало на душе, когда поехал от Москвы к Вологде. Словно от прохлады зеленого северного лета потухли угольки непрерывных забот, отдавая место теплу тихих и грустных раздумий.

Раздумья же и легкое волнение были вызваны не только дорожной праздностью. Давно когда-то, в войну, Гриненко восемнадцатилетним юнцом целое лето служил в северных местах, косил для армии

сено, и теперь всплывали в памяти картины солдатской его юности.

Утром, в конце белой ночи, пахнущей вчерашним дождем и черемухами, он сошел с московского поезда и пересел на пароход. Старинный колесник, с двумя холодными и чистыми палубами, с белоснежной рубкой, с хлопающим в синем воздухе вымпелом, долго стоял у пристани. Пароход был с большим креном налево. Как старый и сильный хлебороб, у которого одно плечо выше другого, он отдыхал на широкой воде, будто впаянный в ее светлую столешницу. Только где-то в нутре ровно посапывала машина. Мальчишка-матрос цибаркой на веревке черпал из реки воду и поливал нижнюю палубу. Между ведрами он поправлял фуражку и кричал девчонке-кассирше, стоявшей на дебаркадере:

— Эй, куроносая!

«Куроносая» притворялась, что не слышит, и Гриненко с улыбкой старшего наблюдал за ее намеренно равнодушной беседой с теткой-уборщицей. Вот ни свет ни заря на велосипеде подкатил к пристани босоногий подросток, другой, такой же, удил рыбу с бона, прошла по берегу баба, поглядела на пароход и не торопясь пошла дальше. Пассажиров почти не было, а может, они еще спали в каютах. Вдруг из-под карниза дебаркадера на всю реку громко зашипел репродуктор, потом неторопливые позывные раскидались над водой. Репродуктор, старомодный, в виде ящичка, был весь, как пчелиными сотами, облеплен гнездами ласточек. Касатки садились прямо на него, их ничуть не смущали раскаты гимна, и это сочетание птиц и музыки позабавило Ивана Даниловича. Он подумал о том, как весело

им живется, этим ласточкам, в соседстве с музыкой и новостями всего мира.

В это время пароход гукнул, и мальчишка-матрос ловко и сноровисто размотал канат, кинул его на палубу, прыгнул сам, успев, однако, сделать что-то с кассиршей. Девушка заругалась, замахнулась на пароход теткиной шваброй...

Гриненко по трапчику вышел на пустую верхнюю палубу: спать ему не хотелось. Кругом было молочно-синее небо, голубая вода и зеленые берега с редкими деревнями. Он сел на реечную скамейку на носу парохода, где не жаркий и не холодный ветер хлопал вымпелом. Тот же ветер доносил с берегов запах черемух, петушиные крики, точь-в-точь как дома, в колхозе, в Одесской области. Только там нет такого черемухового запаха — и вишни давно отцвели, давно прошло ощущение весны. А здесь оно вернулось к Ивану Даниловичу, и ему опять вспомнилась жена Маруся. Ах, Маруся, Маруся... Вспомнилось, как во время весеннего сева до слез обидел ее, обидел нарочно; вспомнил, как быстро забыла она эту незаслуженную обиду. У них с Марусей не было детей, Иван Данилович иногда тосковал от этого, хотя он и любил ее, как и раньше. Весной, подвыпив однажды, он увидел в зеркале свои седые волосы, а в окошке соседского хлопчика, сказал жене злые слова, она тихо расплакалась, и ему было приятно, что она плачет. Эх, Маруся, Маруся... Уезжая в командировку, он равнодушно, по обязанности, обнял ее за располневшую поясницу, сухо чмокнул в смуглый висок и вот теперь, в дороге, все думал о ней, стараясь жалеть ее больше, чем себя, но у него ничего не получалось.

Пароход, приближаясь к излуке, опять загудел. Навстречу буксирчику капитан махал из рубки флагом, берега здесь как будто сдвинулись. Излука огибала высокий холм с белой головастой церквухой. Судно миновало холм, река выпрямилась, навстречу медленно прошел длиннющий плот с шалашами плотогонов. Костры на плоту, разложенные ночью на дерновых подкладках, сейчас еле дымились, плотогоны отсыпались в шалашах, пользуясь тихим фарватером, и ноги их босые торчали из шалашей.

Иван Данилович долго сидел на палубе. Потом спустился в буфет и выпил пива. Оно было резким и холодным. На нижней палубе, на рундучке, уже играли в козла, мальчишка-матрос чинил тельняшку.

В маленькой двухместной каюте, под самым иллюминатором, чистая, как слеза, плескалась вода.

«Ах, Маруся, Маруся...» То ли от пива, то ли от недоспанной ночи Гриненко задремал на диванчике и сквозь шум пароходного двигателя слушал призрачный плеск северной реки, крики баб-пассажирок, сипловатый, словно похмельный голос гудка.

Река была длинна, солнечна и немного печальна своей тишиной. Богатая излуками, она похожа была на самую жизнь, долгую и никогда не повторяющую прошлое. Иван Данилович заснул с ощущением счастья и той же легкой неосознанной грусти.

* * *

Но откуда же было прийти, отчего затеплиться этой грусти? Проснувшись, он долго лежал не вставая. Глядел на матовый плафон и нарочно не глядел

на часы, чтобы продлить то тревожно-приятное состояние, когда не знаешь, который час, утро на дворе или вечер. Во сне к Ивану Даниловичу приходили так же смещенные во времени образы прошлого. Их очередность путалась еще и сейчас, когда он уже не спал, и ему так мучительно хотелось, чтобы они подольше не вставали на свои места, не отодвинулись, не растаяли.

«Ах, Маруся, Маруся...» Но ведь ему снилась не она, не Маруся, вернее, она, только образ ее был объемнее, шире, потому что нес в себе черты еще другой женщины, не Маруси. Этот образ был так явствен, такой горечью и волнением веяло от него еще и после пробуждения, что Гриненко несколько минут не мог вспомнить действительную Марусю, жену, такую, какая она есть. Наконец он вспомнил жену такой, какая она была в яви, отделилось от нее привнесенное фантазией сна, и тут Ивана Даниловича ослепило, обожгло сладкой тоской. Стояла в глазах не Маруся, а та, другая, давнишняя, самая первая, и теперь Иван Данилович уже знал, чем разбужена в нем эта томительная неосознанная грусть. А разбужена она была еще утром, на пристани, когда он услышал горько-сладкий запах черемух и холодящий запах речной воды, — те запахи, что плавали над покосами дальним военным летом здесь, на Севере...

Гриненко умылся и тихо, с напряженными скулами, вышел на палубу. Он ступал осторожно, будто боясь растерять драгоценные блестки невозвратимого, но так ясно возрожденного сном счастья.

Он не узнал парохода. Солнце катилось теперь с другого борта, и казалось, что пароход идет в обрат-

ную сторону. Везде было людно: женщины, мужики, детишки сидели на рундуках, на приступках, на мешках и на чемоданах. Где-то плакал ребенок, кто-то запел, играла гармошка; цыганка, вся в сборчатых ситцах, окруженная толпой, гадала смущенному парняге, приговаривала: «Позолоти ручку, красавец, ждет тебя веселая встреча, любовный разговор с душевным интересом, позолоти, не кобенься, а жить тебе под ясной звездой, и остерегайся ты, милой, проезжих компаний». Кто-то завернул смоленую шутку, грохнул хохот, опять гудел пароход, опять наплывали с боков зеленые берега, и упругий вал катил и катил вослед пароходу.

В буфете, еле протолкавшись, к стойке, Гриненко взял стакан вишневого, пахнущего краской вермута, заказал поесть, сел на освободившееся местечко. За столиком сидел подвыпивший здоровенный дядька с типично северным обличьем.

— Съел, понимаешь, суп, все равно что возле себя положил,— весело сказал он,— дай, думаю, хоть красного...

У дядьки серый хлопчатобумажный костюм был надет поверх новой синей рубахи, сапоги пахли дегтем, ясные глаза глядели сразу умно и наивно, а губы все время складывались в улыбку, и дырчатый, картошиной, нос от этого весело морщился.

— Что, далеко едем? — спросил Иван Данилович.

— Да какое далеко, и всего-то две пристани, а уж больно тоскливо без дела. А ваша путь в какие места, не знаю имени-отчества?

— Иван Данилович.

— А меня тоже Иваном.— Дядька громадной ла-

пищей взял стакан с вермутом. — Вот и чокнемся. За знакомство, для аппетиту.

Гриненко сразу чуть захмелел, съел немудрящий обед и, почувствовав, как подкатывает жажда общения, разговорился.

— ...Говоришь, мало стало лесу? Нам ваш лесок тоже вот где сидит, каждый сучок влетает в копеечку. Одна попённая плата, да за вагон заплати, да трактористам.

Гриненко вдруг стало обидно, обидно оттого, что возвращается обычное, повседневное и что какая-то деталь сна уже ускользнула. Стараясь закрепить в памяти то, что так волновало, что было так дорого, он слушал дядьку, и дядька тоже напоминал своим окающим выговором то военное лето, прожитое Иваном Даниловичем в этих краях. Вот именно такая речь, как раз так звучали круглые северные слова тогда в северной тихой деревне, растревоженной наездом солдат-сенокосников.

— Знамо, в копеечку! — бухал дядька. — Ежели бы наш лес да к вашим хатам, а нашим бы полям вашего тепла. Все дело природа неловко наделала. Я вот,— дядька закурил,— я вот, когда на войне был, так нагляделся, каково людям в безлесных местах. И топят соломой да навозом, как его...

— Кизеки.

— Вот-вот, они самые. Сам-то служил в солдатах?

— Воевал. — Гриненко махнул рукой. — А до фронта и в здешних краях пришлось побывать. Сено косили в ваших местах.

— Да ну? — Дядька искренне обрадовался. — А я тоже войну отбухал, и все в самом огне, четыре

ранения вынес, как жив остался, неведомо. А живу я, Иван Данилович, добро, вот на свадьбу к старшей дочке поехал.

— Не одна, что ли, дочка? — спросил Гриненко.

— Какое одна, три штуки! Вон две со мной едут, а та, старшая, вышла на днях, в том районе агрономом работает.

В буфете стоял гул, цыганка сновала теперь уже здесь, голос гармошки затухал в этом шуме, и все так же плыли за окном зеленые берега, плоты, буксиры, излука за излукой.

— ...Хорошие девки, — рассказывал дядька, — ягоды, а не девки, всех ребят, какие в колхозной наличности, с ума посводили. Добры девки, уж не пообижусь. Да вот пойдем, Иван Данилович, наверх, сам увидишь, ей-богу!

Дядька достал трешник и купил еще вермуту. Иван Данилович видел, как он уговаривал буфетчицу, шутливо грозил ей жестким пальцем: «Да ты что, матшка, что, разве я пьяный? Какой же я пьяный, разве это пьяный?»

Они поднялись наверх.

По-прежнему излука сменяла излуку, змеились плоты и висели над рекой неспешные облака, клубясь и уходя в синюю, уже подернутую золотистой мглой предвечернюю даль.

— Девки, а где мои девки? — озорно крикнул совсем повеселевший дядька. Он пробирался между чемоданами и корзинами. — А вон мои девки! Вон они, мои голубушки! Зинушка!

— Да ты не ходи, тут посидим, — сказал Гриненко, и дядька согласился.

Они оба пристроились на пожарном ящике. Иван

Данилович курил, разглядывал сестер и опять, словно во сне, ощущал счастье и тревожно-неуловимую, совсем не мужскую, почти мальчишечью грусть. Там, в носу парохода, играла другая гармонь, не та с нижней палубы, а другая, и здесь пели не частушки, а длинную, незнакомую Гриненко песню. Песня эта своей мелодией была так похожа на ту, давнишнюю, слышанную Иваном Даниловичем в здешних местах, это он чувствовал, волнуясь больше и больше. Девушки-сестры стояли за спиной играющего парня, они, кажется, не пели, Гриненко видел только одну, в профиль. Обе беленькие, полненькие, словно груздочки, в легких платьях, они держались друг за дружку, то и дело прыская в свои платочки. Мальчишка-матрос под шумок вертелся около них, тоже, наверное, называл «куроносыми» и показывал какие-то фокусы на пальцах.

— Зинушка! — окликнул отец одну из дочек. — Иди-ко сюда, принеси нам стаканчик. Да и корзину с пирогами сюда волоки. Ну вот, по вину и укупорка!

И начал распечатывать вермут. Иван Данилович взглянул на полную невысокую девушку, и у него вдруг захолонуло где-то в груди. Она шла с корзиной по палубе, ближе, ближе, и давнишнее, забытое чувство сладкого, тревожного восторга все нарастало с ее шагами, словно возвращалась к Ивану Даниловичу военная молодость, когда он был двадцатилетним солдатом и когда такие же ласковые глаза глядели на него в сенокосный полдень, когда таяли над стогами грешные белые ночи. Он отвел взгляд. Потом снова взглянул. Это были те же глаза, те же большие выгнутые ресницы. Даже белая мочка

уха и завиток волос на щеке были так негаданны, волнующи, что он не поверил глазам и торопливо, в три глотка, выпил вино.

Девушка стояла рядом, застегивая пуговицу на отцовой рубашке и улыбаясь, а дядька, наливая себе, говорил:

— Теперь уж эта, Данилович, на очереди замуж идти. Правду говорят: дочь чужое сокровище. Зинушка!

Но Зина застеснялась и убежала к сестре, к песне, к теплому вечернему ветру, а Гриненко, весь растревоженный, почти не слушал дядьку.

— ...одна по-за одной, так все и разбегутся. Эх, мать честная! Вот, брат Данилович, жизнь, она какая. У тебя-то есть это наследство?

Гриненко долго не отвечал, а очнувшись, сказал, что нет, детей у него нет. Новая речная излука открыла широкую пойменную равнину, гудок нарушил сочувственное молчание соседа, и мужчины допили из бутылки.

— Девки, девки... — дядька по-трезвому покачал головой. — Девки, оно, Данилович, тоже дело хорошее, а все ж таки хоть один бы парень в дому был, так мне бы ничего больше не надо. Помню, пошел на позицию, вызывает военкомат, а женка с этим делом осталась, натяжеле, значит. Гляди, говорю, Настюха, и так две девки родила, ежели и на этот раз парня не родишь, позор будет на весь сельсовет. Ну, распрощались, заревела она, так без памяти и оставил ее...

Несколько ребячьих голосов пристроилось к девичьим, пристроилось неловко, грубовато, словно ребята стеснялись петь, скрывая за шутливостью в

голосах не положенную мужчинам нежность. Затихли и пригорюнились на узлах многие тетки, даже пароход как будто приглушил свое жаркое дыхание.

Вот так же притихала земля и горюнились женщины, когда солдаты, спрессовав накошенное за день сено, брали в каком-нибудь дому осиротевшую гармонь и пели в деревне. Под эту песню и встретил Гриненко свою первую и последнюю любовь, встретил почти мальчишкой в бревенчатом сеновале, когда белая ночь была так светла, что Настя ясно увидела, как быстро наливались краской стыда еще совсем мало бритые солдатские щеки. Позднее, уже в доме, уложив трех крохотных дочек, она приходила к нему на поветь, и еще долго-долго пели петухи, пока стыд уходил и приходили смелость, и гордость, и мужская уверенность, что так понадобились потом на фронте...

Гриненко, слушая дядьку, очнулся, вздрогнул.

— ...В Кошубе, помню, сформировали нас, а немцы под Волховом тряхнули так, что только перья от нас полетели. Опять, значит, на переформировку. Помню, шли по голому полю, от взвода трое осталось. Мать честная! Чего не было, чего не нагляделся! Уж в другой раз, в третий ранило. Попал, значит, на Юго-Западный, вызывают из землянки: как фамилия? Так и так, Громов. Гляжу, письмо. Распечатал, читаю — опять девка родилась. Поматюкался, грешным делом, да и пошел в бой, — раз девка, так девка, никуда не денешься. Тут меня опять и хлобыстнуло. Очухался в госпитале. За самым Уралом. Пооткормили меня, поотлежался, да и вдругорядь на фронт. Гляжу, дело-то уже не то.

Вырос лес, да выросли и топорища. Немец к тому времени уж поостепенился, да и наши приосанились. Не то что раньше было, что в атаку шли, дак кто маму кричал, кто матерился; а теперь не так стало боязно, да и кормежка подналадилась. Слушаешь, Данилович?

Сердце у Гриненко, словно поперхнувшись, остановилось и заколотилось о ребра, он дрожащими пальцами сдавил себе лицо, провел по щекам.

— Настей, говоришь, звали жену?

— Настасья.

Дядька не мог прикурить, спички не доставались из коробка и ломались в толстых негнущихся пальцах.

— А деревня у вас как?

— А деревня, Данилович, Роднички.

«Роднички, Роднички...» Мог ли не помнить Гриненко эти тихие Роднички, мог ли забыть дом с рябиновым палисадом. «Она, это она, Настя из Родничков».

Будто гирями бухал в висок тяжкими словами сопутник:

— ...Так вот, о чем это я? Да, насчет бабы. И войны. Воевал, воевал, дошли до Карпатов. Опять ранило, живого места нету. Письма от женки были сперва, а потом нет и нет. Один раз приходит письмо, старшая пишет, экие каракули на школьной тетрадке. Поглядел, екнуло мое сердце, — что, думаю, за причина такая? Так и так, папа, приезжай, значит, скорее домой, ждем тебя, а про матку ни слова, ни полслова.

— Не писала, говоришь? — Гриненко яростно бросил окурок в реку, ладонями зажал голову.

— Хоть бы словечушко! Да. Отвоевался, значит, приезжаю в свой район, до дому сорок километров на подводе осталось. Зашел в чайную.

Гриненко, зажмурившись и не двигаясь, молчал, слушал, и веко выдавило в морщинку светлую каплю, гуляли под кожей желваки. Перед ним опять светились глаза, такие же, как у этой девушки, с парохода, и так же пьянил душу черемуховый запах, и тот же окающий северный говор звучал вокруг. Он открыл глаза: солнце и режущая синева речного плеса ослепили его, и гудок, известивший о новой излучине, на секунду заглушил голос соседа.

— ...зашел я, значит, в чайную. Гляжу, Сашуха — сусед мой — сидит, матерится на всю залу, тоже жив остался, раньше меня приехал домой, да не весь приехал, ногу по самое колено отмахнули. Выпили, помню, мы, а он еще хуже орет, рубаху на себе рвет. «Чего ты, говорю, Сашуха, живой пришел, и то ладно, жить-то надо».— «Молчи, говорит, Громов, на всю деревню осталось ты да я — калека». Я ему и говорю, что я тоже как решето, весь в дырах, одни рубцы да пилики на коже, только, говорю, теперь не вернешь, ладно хоть — голова осталась. Каково, спрашиваю, в деревне-то живут? «А вот, говорит, Ванюха, все бабы как бабы, у кого мужиков убило, а у кого живы остались, те все скурвились».— «Здря, ты, говорю, эдак, Сашуха. Была бы изба, а сверчки будут. Ежели всех мужиков, кроме тебя, убило, так, выходит, все бабы, кроме твоей, хорошие». — «А ты, — кричит, — а ты, Громов, думаешь, что? Твоя, думаешь, на передок крепче моей? Тоже, говорит, с солдатами путалась, да и не впустую, иди погляди на новый приплод». Екнуло у

меня сердце, будто кипятком ошпарило. Откуда, спрашиваю, тут солдаты-то, фронта вроде у нас не было тут. «А сено, — кричит, — для артиллерии кто по два лета косил?» Мне бы надо сразу в деревню ехать вместе с Сашухой, он на подводе был, а я, грешным делом, запил тогда. Эх, думаю, куда куски, куда милостыньки. Загудел на весь райцентр, какие были деньжонки и часы трофейные — все за два дня просадил. Сашуха-то по лошади хлесть и уехал, а я и поднапился. А здря. Не было бы никакой беды, ежели бы я тогда с ним в деревню приехал. Ведь что получилось? Сашуха, видно, приехал домой, да и рассказал, что Громов домой едет, загулял Громов... Очухался я на третий день, приезжаю в деревню. Думаю, леший с ней, с бабой, я эту нацию еще до войны вызнал наскрозь, думаю, что было, то было, жить надо, наш брат на чужой стороне тоже уха не провешивал, тоже шабашничал. Думаю, надо и девок растить, похлещу дуру ремнем для острастки, а потом жить надо. Эх, захожу на крыльцо, а у самого сердце так заболело, никто меня не встретил, ворота открыты, а в дому тихо. Старшая выбежала: «Папа, папа»,— с ревом, прижимается к моей ноге, велика ли и вся-то была. Взял я ее на руки, захожу в избу, гляжу, народу много, а все молчат, милиционер за столом сидит, пишет чего-то. Что, говорю, бабоньки, худо солдата встречаете? А моя Настюха где? Гляжу, Настя из кути кинулась ко мне на шею, я ее оттолкнул немножко, погоди, говорю, потом поговорим, без постороннего народу. Бабы и соседи, какие были, вышли, а милиционер не выходит. А ты, говорю, молодец хороший, что в моем дому забыл? Очисть, говорю, помещение, я не

таких на войне видывал супчиков. Он это поглядел на меня, да и тоже вышел. Осталась одна она, только девчушки еще наши, сидят и словечка пикнуть не могут. Моя Настюха глядит, глядит на меня, глаза, помню, точь-в-точь как у теперешней Зинушки, большие, с поволокой... Ну, говорю, что самовар не ставишь, что в лавку не бежишь, — может, самому тушилку открывать да лучину щепать? Она бух мне в ноги. Я говорю: встань, дура, я не бог, снял ремень, думаю, хлестну разок-другой по заднице как для дезинфекции, а потом пусть самовар ставит. Что, говорю, остолбенела-то? Иван, прости! Бух опять в ноги. Где, говорю, дите, показывай. А вон, говорит, мой позор на лавке, глядеть на ево не хочу и тебе не дам, удушила я ево. Плюнула она на тряпье, гляжу — дите мертвое. Что ж ты, говорю, паскуда, наделала? Что ж ты, говорю, дура ты такая, натворила? Тому я тебя до войны учил, чтоб живую душу губить? Эх, думаю, дура ты дура, кто бы он ни был, а ведь он живой человек. Всю жизнь, говорю, ждали с тобой, чтобы парня родила, а ты его... Хоть бы мужик рос в дому, и девкам бы веселее, и я бы радовался, и ты... Ну, похлестал бы я тебя, и дело с концом. А теперь... Что я с девками-малолетками без тебя. Ни пошить, ни постирать, осиротила ты нас вдвойне. Такого парня сгубила, пойдешь теперь и сама на даровые харчи. Для того я кровь проливал? Веришь, Данилович, сел я на лавку и заплакал как маленький. Всю войну прошел, не плакивал, а тут заплакал...

— Хороший был хлопчик? — Гриненко, кусая губы, глядел на сестер.

— Здоро-о-овый! Ручищи были, завойки, лежит

как живой, а я сижу на лавке, посадил дочек на колени, а сам и слова не выговорю, — дура ты, думаю, дура, такого парня сгубила.

Он высморкался, оглянулся. «Девки, а где мои девки?» Увидел дочек, и опять широченная улыбка раскинулась на его морщинистом лице, и, не зная, куда деть громадные руки, посовал их в карман, ища курево.

— Данилович, а Данилович? Может, еще бутылочку? Зинушка!

...Пароход опять загудел, густой, с легкой хрипотцой гудок запел над вечереющей похолодавшей рекой. Легкая гарь от мальчишьих костров приплыла с берега, вновь тихо вздохнули гармонные басы, и мальчишка-матрос, притопывая на ходу, исчез за рубкой, девушки-сестры заукладывали корзины, заодевали кофточки.

— Ну, а дальше что было? — глухо спросил Гриненко.

— Дальше, что дальше? Дальше ничего, стали жить уже в мирной обстановке. Намаялся я с девками, хватил соленого, пока вырастил. Вдовец деткам не отец, а сам круглый сирота. Девки! Зинушка! Глядите, там у меня макинтош внизу, не забудьте! Настюхе моей восемь годов дали, отсидела она, да и к нам не показалась. Уехала к сестре в другую область. Спервоначалу-то я не женился, такое отвращение на всех баб напало. Сам стирал, помню, и печь топил, всю бабью работу хорошо делал, только пироги не мог научиться выпекать, все неудачи терпел, как Суворов. А тут и старшая у меня подросла, да и эти стали пораже. Вон какие они у меня! Я уж им ничего не жалею, платьев у каждой

по шести штук. Папиросы не покупал, махорку палил, а одежу девкам справлял. Я, Данилович, добро живу.

Старуха старая, престарая,
Не больно старая,
На реку ходила по воду,
Ведро оставила,—

с той же хрипотцой, что у пароходного гудка, спел он и заторопился, завставал: — Ну, мне, Данилович, время, скоро наша пристань. А девки у меня хорошие. Девки! Зинушка!

Гриненко тоже встал:

— Что же, жива она теперь-то?

— А и не знаю, парень. Письма не бывало, а я куда буду писать? Да и не для чего, жизнь на закат пошла, осталось только дочкам радоваться да на свадьбах у них плясать.

Он вздохнул, надел кепку.

Пароход приближался к небольшой чистенькой пристани, уже вечерело взаправду, бордовое теплое солнышко скатилось за очередную излуку. Гармошка взыграла в последний раз и затихла, многие заукладывали вещи. Далеко на том берегу стрекотала в лугах косилка, и все так же пахло черемуховым цветом, речной водой и дальней гарью костра. Зина — старшая сестра — сбегала вниз за плащом, любовно накинула его на крутые отцовы плечи. Гриненко не слышал, как девушки ласково посмеивались над отцом, как, одергивая его пиджак, торопили к трапу. Гриненко смотрел на старшую Зину, и давняя боль, боль и любовь его солдатской юности застилали ему глаза, переходя в суровую сдержанную горечь — каленую горечь мужского

сердца. Прощаясь, он кивнул сестрам, сжав зубы, крепко стиснул широкую узловатую ладонь попутчика. «Сказать или не сказать? Можно и сказать, он же хороший человек, он не обидится, он все понимает. Надо сказать. Но зачем?» Гриненко выпустил жесткую необъятную ладонь. Зачем бередить его зажившую рану, ту, самую последнюю рану, которую жизнь припасла этому человеку уже после войны?

Мальчишка-матрос, бросая чалку, ухитрился ущипнуть одну из сестер, девушка деловито шлепнула его по руке и ступила на трап. Зина сошла с парохода тоже, Гриненко еще раз взглянул на ее белый затылок, погасил волнение и еще раз стиснул узловатую ладонь. Попутчик, отвечая на пожатие, спокойно проговорил:

— А ты, Данилович, здря меня боишься... Я ведь хоть и не сразу, а определил тебя. Интересу много в тебе, весь ты как на ладони, вроде меня, не умеешь таиться. Ведь Гриненкой тебя кличут? Хохлацкая фамилия?

— Гриненко,— удивился Иван Данилович.— Как же ты знаешь?

— Так ведь в нашей деревне всё помнят. Всех солдат по фамилиям знают, которые сено в войну косили. И отчество бабы запомнили, один был Данилович Иван. А карточку твою я в старых квитанциях нашел, девчушки ее затаскали да потеряли. Ты помоложе там был, парень, поядренее... Ну ладно, ежели сторгуешься насчет лесу, может, еще и свидимся, выпьем по маленькой, военную пору вспомянем. Ох, парень, кабы войны-то больше не было... Мне так другую такую не выдюжить уж...

Он ступил на сходни: весь трап так и прогнулся под его громадной тяжестью, а Гриненко долго не мог разжать руки, сдавившие барьерную перекладину...

Пароход опять дважды гукнул и тихо, словно боясь вспугнуть тишину белой северной ночи, отчалил. С креном на левый борт, с добродушным басистым голосом, он двинулся к новой излучине. Река дремала, курилась у берегов, и под этим сонным туманом незаметны были теплые, могучие, глубинные струи, переплетающиеся и без устали стремящиеся между зелеными берегами куда-то далёко-далёко к неведомому холодному морю.



НА РОССТАННОМ ХОЛМЕ

Они уходили все дальше и дальше купаться на Синий омут. Мария еще глядела туда, пытаясь по платью узнать, которая из них дочка, но они исчезли в пойменной зелени. Ветер вздохнул оттуда, из далекого понизовья. Она услышала девичий смех, визг и ребячий свист, но ветряной выдох погас, и в лугах стало жарче от безлюдья и тишины.

До вечера было еще далеко, потому что стога сметали раньше времени. Она прибрала оставшиеся на лугу чьи-то босоножки и брошенные вверх зубьями грабли. Потом вытряхнула из платка сенную труху и непроизвольно залюбовалась тремя одинаковыми стожищами, и ей хотелось поохать и подивиться, такие большие, пригожие вышли стога.

«Ах, детки, детки...» — она сглотнула материнскую радость. Опять вспомнила про дочку и как метали студенточки сегодняшние стога. Все свои, деревен-

ские, подумалось ей, а дома ни одна не живет. Но вот собрались вместе, и сразу выплыло в глазах все земляное, родимое, шибче забегала кровь, не надо красить ни щеки, ни ноготки...

Последний, самый матерый стог дометывала Мария с дочкой и Сергеем — едва оперившимся соседским сыном. Мария стояла на стогу, Сережка подавал сено вилами, а дочь загребала остатки копен и очесывала стогу бока. Когда стог начали вершинить, Сергей вдруг покраснел и ушел, будто бы вырубать тальники. А дочь, ничего не поняв, недовольная, тряхнула головой, закинула овсяные, по отцу, волосы.

— Не ругай ты его, не ругай,— про себя ухмыляясь, вступилась за парня Мария. Она приняла от дочки последние навильники и обвершинила стог. После этого привязала тальниковые ветки к стожару, чтобы по ним спуститься до шеста от носилок, а уже по этому шесту спуститься на землю. Такой высокий сметали стог.

— Отвернись-ко, Сережка,— нарочно, подзадоривая, сказала Мария, хотя видела, что парень и так сидел затылком к стогу. Знала она и то, что Сережка хоть и глядел в другую сторону, но даже затылком видел, как она слезала со стога. И опять про себя ухмыльнулась: у кого в его годы не кипятиться кровь, стоит увидеть женскую ногу выше колена. Так уж в природе все устроено, да не беда и то, что дочка такая еще непонятливая, заругалась на парня, когда он не стал дометывать стог.

Теперь все они ушли купаться на Синий омут.

Окрест махалось ветками молодое, еще не окрепшее лето. Темнела синева реки, мерцала вдали солнечным гарусом; искаженные зноем, трепетали неяс-

ные горизонты. Мария, ища себе дела, снова обошла луговину. Но все было сделано, и она тихонько вышла на Росстань.

«Попричитать бы...»

Полуденный зной начал уже спадать, в дальнем березняке то и дело смолкала кукушка. У своего серого камня Мария легко взяла из валка беремечко полупросохшей вчерашней травы. Косое, сбывающее жар солнышко уже свернулось в клубок и опускалось к дальним лесам, ветер стихал.

Никого не было кругом, и здесь, на Росстани, так далека, неоглядна показалась родная равнина. Песчаная дорога стекала с холма, и, чем дальше стекала, тем круче становились ее загибы, и наконец, истонченная в поясок, она пропадала за последним, еле видным увалом.

Мария прищурясь глядела на этот увал и чуяла, как вместе с усталостью на нее накатывалась радостная тоска. Этой тоской застарелого, прочного ожидания проросло ее сердце, как корнями трав проросла вся Росстань — высокий полевой холм, где испокон веку расставались разные люди. Отсюда дальше уже никто не провожал уходящих, а те, что уходили за Росстань, считали себя не дома и больше не оглядывались.

Мария давно не приходила сюда. Сейчас ей было совестно перед мужем, она еще раз перетряхнула платок, расчесала и увязала волосы, отцепила и положила на камень сережки. Стараясь пореже взглядывать на увал, где терялся песчаный путь, она вздохнула и празднично притаилась. Словно и не было двадцати пяти лет между этим предвечерним сенокосным часом и тем, горьким, ясным, тоже сенокосным:

она просто ждала мужа и знала, что он придет. И Марии не было дела до того, что на Росстани двадцать пятое лето ковали кузнечики, двадцать пятый раз пожелтели высокие лютики.

Она не знала, сколько времени просидела на камне.

Лютики желтели неясно, то ли сквозь полузакрытые выгоревшие ресницы, то ли сквозь пелену радостных слез, что копились сейчас в глазах. Мария словно во сне сидела на камне, ее обступали по очереди ясные, будто вчерашние видения. Легко, без зова, пришло и самое первое воспоминание, оно прояснило, высветлило долгий как вечность мартовский день с бурой от конского назьма рыхлой дорогой, с умирающими на теплых задворках суметами. Ничего вроде и не было особенного. Был просто этот долгий день, пронизанный вешним солнышком. Вороны и галки в тополе базарным криком будили еще холодную Росстань, они даже не испугались, когда маленькая девчушка в больших валенках и в материных рукавицах впервые вышла на полевой холм. От взрослых она часто слышала это таинственное слово: Росстань. И вот, набравшись сил и упрямства и детской непосильной смелости, она одна, без взрослых, пришла из деревни и восхищенно поглядела вниз и вдаль. Мартовский тугой ветер помог восторгу перехватить детское дыхание, она чуть не задохлась, напористый воздух долго не давал ей дышать. А там, внизу, куда уходила зимняя живущая последнюю неделю дорога, везде белели белые увалы и обросшие кустами ручьевые и речные пади. Тогда она еще и названия не знала всему этому простору, всей этой необъятности, запомнилось только что-то бесконечное,

солнечное. И она, вспомнив маму и теплую печку в избе, испугалась тогда этой необъятности, заплакала и побежала обратно к деревне.

Сильные, пахнущие снегом и лошадью рукавицы подхватили ее и усадили на дровни, и соседний мужик, везя ее в деревню, на ходу рассказывал ей сказку про золотое яичко. И она медленно, успокоенно смеялась, глядя на завязанный узлом лошадиный хвост, и это было все, что запомнилось.

Мария улыбнулась тому дню, опять взглянула на увал, где терялась дорога. Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило ей в голову то, что он не вернется домой. Она знала, что он живой, и ждала его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. Сейчас ей хотелось попричитать, но она вспомнила ту майскую Росстань, когда цвела черемуха и ребята, положив гармошку, играли у этого камня в бабки, а она вместе с девками пела первые частушки, ломая черемуху. Незадолго до этого над Росстанью взлетел первый жаворонок, чибисы запищали вверху и тальники в понизовьях очнулись, напрягая вешними соками стыдливо позеленевшие прутики.

Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось спать и по воскресеньям Росстань всю ночь слушала гомон гулянок. Марии не было еще и восемнадцати. Но однажды она ушла отсюда самой последней, на теплом восходе. Они не стыдясь прошли по улице спящей деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый по краям платок — первый ее подарок. И свадьбу не стали откладывать до зимы...

Мария вздрогнула от острой и горькой радости.

Громадная тень от холма быстро заполняла всю покатую луговую равнину, солнце садилось. Рядом прогудел ночной жук; дальний увал, где терялась дорога, заволокло сумерками.

Свадьбу отгуляли наскоро, хотя и весело, дело было уже перед самой сенокосной страдой. Она помнила тот сенокос очень смутно, явно запомнился только один дождь, когда она с мужем метала стог и когда копны не успели сносить к одному месту. Тогда Мария увидела дождь и в испуге всплеснула руками: батюшки! Милые! Сена не убрано несметная сила, сухого, зеленого. Вся Росстань и все низовые луга были скошены, а темное небо копило много, много дождя. На глазах, быстро темнела западная сторона. Кое-кто еще торопился, кое-где еще мелькали на густо-синем небе враз поседелые бороды навильников, но было ясно, что ничего уже не успеть и никуда не уйти от потопа. Еще не было слышно громовых раскатов, а там, в опаловых облаках, заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые молнийки. И Росстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары. Мария помнила тот час ясно до последней минутки. Все почернело, когда она с мужем бежала в деревню, все омертвело. Цветы на лугах и клевер. Закрывались белые одуванчики, исчезли пчелы, и воробьи не возились в заокольной траве. Враз во многих местах бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка в душе тонко заныла и оборвалась, не найти кончики, не связать...

Мария вытерла щеки и улыбнулась. Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, убегала к увалу. Мария еще раз оглянулась во-

круг — нигде на много верст никого не было. Она встала на колени рядом с камнем, кусая губы и качая головой, поглядела на пустынный дальний увал. Сцепив ладони над лбом, она ткнулась головой в траву, распрямилась и запричитала: «Ой, приупали белы рученьки, притуманились очи ясные, помертвело лицо белое со великого со горюшка. Как ушел ты, мой миленькой, не по-старому да не по-прежнему, во солдатскую службицу, по конец света белого, по край красна солнышка».

Она причитала легко, не останавливаясь и не напрягаясь. Слова причета свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто, нескудеющая, крошилась в мир невозвратимыми крупицами сама ее душа, и чем больше крошилась, тем отраднее было и легче.

Мария словно вся переплавлялась в свой же голос. Она понемногу переставала ощущать сама себя, и уже нельзя было ничем остановить этого, причет жил как бы помимо нее: «Ой, остригли буйну голову, золотые кудри сыпучие, как на каждой волосиночке по горючей по слезиночке. Тебе шинель-то казенная не по костям, не по плечушкам, сапожки-то не по ноженькам, рукавички не по рученькам. На чужой-то на сторонушке все-то версты не меряны, все народы незнакомые, ой, да судьи немилостивы...»

Белая, такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с Павлом, а Мария провожала их до Росстани. Пока телега с пьяным Павлом спускалась вниз, Мария стояла на холме, и муж, держа на ее плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал Марии реветь, а она слушалась, затихала, но через минуту снова голос ее прорывался, и он опять успокаивал. Стучала все дальше и дальше телега с пья-

ным спящим Павлом, звездные вороха висели над ними. Сиренево-темное небо, если приглядеться, рождало новые россыпи звезд, дух теплого клевера мешался с прохладой еще не набрякшей росы. А муж обнял Марию торопливо и, как ей показалось, жестко и неласково. Без огляда пошел с холма, а она даже не упала у этого камня, потому что ждала его через месяц обратно, самое большое через два.

Но пришла осень, а война разгорелась еще шире, не одна товарка стала вдовой, и страх по ночам часто душил Марию. Она возила тогда зерно, каждый раз возвращалась ночью, и ей чудилось, что на Росстани скулит и стонет нечистая сила. Точили во тьме тихие бесконечные дожди, под колесами всхлипывали дорожные лужи.

А утром однажды наползла на Росстань коричнево-серая мгла, крупные плоские снежины полетели на землю будто небесная перхоть. Пришла зима, да и не одна, а привела за собой еще зиму, другую, третью, и все голодные, такие жестокие, что, чем дальше они уходят в прошлое, тем кажутся страшнее.

По зимам на Росстань слетались всякие ветры, они наскакивали то с этой стороны, то с этой. И долго, жутко мятутся на склонах сухие снега, заносят прощальный камень, хоронят дорогу в один полоз. Мороз по ночам будто стекленил мягкие с осени звезды. Круглолицая недобрая луна бесшумно стелила по голубоватым снегам мертвую желтизну, а днями, растопырив громадные уши, вставало холодное солнце, замерзшие птички камушками падали в снег.

В такую зиму, глухой ночью, Мария ходила както в баню. Павел, двоюродный мужний брат, ждал ее у крыльца дома, стоял с засунутым в карман пу-

стым рукавом полушубка. Вся деревня спала, а он не спал, стоял у крыльца. Мария обошла его, как косец в поле обходит сидящую в гнезде птицу, взялась за скобу ворот, а когда он пошел за ней в сени, она загородила ему дорогу, обдала его лицо громким шепотом:

— Ступай домой... Ступай, Павло Иванович, не обессудь... Ты бы хоть его вспомнил, посовестился... Ступай!

А Павел молчаливо опустил голову, ушел, и снег уже без острастки скрипел под его валенками. Был Павел холостой, и, когда пришел конец войне, он, не скрываясь от людей, явился однажды свататься. Пришел днем, в открытую, и, стоя посреди пола, с тяжелой радостью сказал ей:

— Зря ждешь, не придет! Не придет он, Марья, я там бывал, знаю, как без вести пропадают...

У нее потемнело в глазах, вся побелела от горькой злобы и плюнула ему в глаза. Ноги подкосило, закаталась на полу, скрученная, измятая жестокими словами безрукого. Очнулась, когда Павла уже не было, а дочка сидела в ногах, вздрагивала плечишками и швыркала полным слезинок носом — обличьем вся в него, в мужа...

Пропал без вести, ведь не убитый же. Никому не верила: ни бумагам, ни людям, одному сердцу. Живой, в плену где-нибудь,— может, угонили куда в Америку. Никак и не выберешься, либо нет на дорогу денег, а может, и не отпускают домой, держат в неволе, год по-за году.

Весной и летом Мария часто ходила на Росстань причитать. Выжидала, когда опустевала дорога, надевала что поновее. У Серого камня, может от ее

слез, росла густая, с мягким подсадом трава. Привыкли к ней птицы. Летом горькие чибисы, ранней весной грачи белоносые и веселые жаворонки пролетали, считай, над самым ухом, одна кукушка не показывалась из своего усторонья.

Ой вы гостьи вы наши гостьюшки,
Дороги гостьи все любимые,
Погостили в гостях малешенько,
Что малешенько да смирнешенько,
Нету ни ветру же, нет ни вихорю,
Ни частого дождя осеннего.
Что от моря же, моря синего...
Что от моего дружка милого
Нет ни весточки, нет ни грамотки,
Ни словесного челобитьица!

Мария закрыла глаза и старалась представить чужую страну, но каждый раз не смогла пересилить чего-то, мысли ее блекли, развеивались. Она то во сне, то как наяву ясно видела одну только ставшую за многие годы очень близкой картину: по широкой по ровной дороге идет усталый муж, на ногах сапоги, за плечами солдатский мешок, а в руке тальниковый пруток. Идет он не торопясь, почему-то хромая, а над ним мятутся густые ветки незнакомых чужих деревьев. И Мария до боли, до жалости чувствует, как хочется ему снять сапоги. Он шел, все шел и шел, все эти годы, и все эти годы Мария ждала его домой, готовая в любую минуту сбегать в лавку и затопить баню...

Над Росстанью белая ночь сновала прозрачную тихую мглу. Мария очнулась от чьего-то негромкого смеха. Взглянула на далекий увал: там, около бескрылой коковки старой ветрянки, уже еле видимая, терялась, спускалась в сенокосную падь дорога.

Дорога была безлюдна, недвижима. Возглас, будто рыбий всплеск на речке, повторился, и Мария, вздрогнув от какого-то предчувствия, обернулась и вдруг внизу меж копен увидела белое, с розовой оторочкой платье дочери.

«С кем это она, дочка-то?» Мария вся напряглась, что-то захолонуло у сердца, беззащитная, как перед смертью, она заслонилась ладонями. Тревога ее все нарастала, копилась у горла между ключицами, и Мария, стараясь остановить что-то непосильное, с надеждой открыла глаза. Но белое платье никуда не исчезло.

«Большая уже дочка-то, невеста... Господи, невеста!..— Мария вдруг обессилела, руки у нее ослабли.— Дочка — невеста, господи... Сколько годов-то минуло, водицы сколь утекло».

Никто не шел по дороге, ни одной живой души не сопровождал сонный вечерний чибис, взлетевший над лугом ни с того ни с сего. Только упрямый туман наплывал на дальние пади.

И теперь тревога и страх перед неизбежным чем-то сменились вдруг ясной и страшной от этой ясности мыслью:

«Не придет. Нет, видно, уж. Не придет, никогда, ни завтра, ни после».

Мария с полминуты отрешенно смотрела в траву. Потом вдруг косо и медленно повела головой: странный нутряной голос, готовый жутким криком вырваться в небо, в белую эту ночь, так и остался по ту сторону зубов. Она ничком упала в траву и вся затряслась, задергалась будто подбитая птица, остановилась, опустела. Она долго лежала так на траве, на Росстанном холме.

Трава пахла землей и дневной жарой, луна встала высоко над Росстанью. Постарелая и обессиленная Мария долго, трудно осмысляла и этот запах травы, и эту лунную, без жизни золотую смуту. Сердце тукалось прямо в теплую землю.

Луна висела над Росстанью, туман поднимался внизу, в луговых падях. И Мария заплакала: матушки, милые, небеса не упали на землю и гром не гремит на белом свете. Земля не раскололась под ней, нет нигде ни огня, ни дыму, прежние стоят стога и копны. И солнышко утром вдругорядь взойдет над лесом, а люди опять пойдут косить сено. Коровы замыркают, закипят самовары. Только его нету, нет и не будет, и ждать-то больше некого, и на Росстань-то ходить нечего. Двадцать пять годов ждала, ждала его, голубчика. Ждала, а он лежал мертвый в чужой земле. А может, от веры этой легче было лежать в чужой земле его костям, может, знает он, слышит ее сейчас? Не слышит, не знает...

Мария, сидя на камне, легонько качалась, словно кланялась земле, принявшей его и ставшей теперь им самим, и теплые слезы остывали на шее от ночной свежести.

Она опять услышала тихий смех и говор. Оглянулась: между копен внизу ходили, будто плутали, Сережа и дочка. Дочь, как и Мария тогда, двадцать пять лет назад, ходила с парнем по Росстани. И теперь Мария уже спокойно, с отрадной тоской долго глядела на них. Глядела сама на себя, молодую и рожденную заново. Нет, не бывала она, Мария, вдовой ни дня, ни недельки, только сейчас, в эту сено-

косную ночь... Опять ходит она, Мария, ходит дочка по молодой росе, и пиджак на девичьих плечах, точь-в-точь как и тогда, черный, и в молодых руках желтый венок из купальниц, и она тоже садится на корточки, сжимая плотно коленки, срывает купальницы. Ясное дело, не знаешь, чего делать, вот и срываешь цветы и плетешь венок либо теребишь, мнешь по-всякому белый платок.

Она взглянула опять на дорогу, дорога стала темней и короче. И снова вскипели в груди слезы. Над Росстанью плыла летняя тишина, вся равнина внизу потемнела, потому что луна закатилась за случайное облако.

Мария тихонько, не шевеля губами и не двигаясь, плакала и глядела на дочку, пока они с Сережей не исчезли меж копен. А там дальше, внизу, такие широкие раскидались туманы. Они кутали давно скошенные ложбины рек и ручьев, обтекая пригорки и стога в низинах, и остроконечные шапки этих стогов будто плыли по серому туманному молоку. Плыли и не могли уплыть. А из его глубин, как из-под воды, слышен был то крик дергача, то заглушенный влагой, беспомощный и милый клик по-детски испуганного жеребенка.



ЗА ТРЕМЯ ВОЛОКАМИ

1

Утром майор побрился и сменил зеленую форменную рубашку, с удовольствием выпил чай и рассчитался с проводником тоже с удовольствием и ощущением праздника. Поезд остановился в лесу, невдалеке от станции. Майор взял чемодан и вышел в тамбур. Необычная тишина утра и запах мокрой травы и деревьев поразили его, он спрыгнул на песок. У самого полотна белели солнцеобразные ромашки, лиловел иван-чай. Дальше, сразу за дренажной траншеей, начинался осинник, и оттуда слышались тонкие синичьи голоса.

Майор давно не знал такой тишины. Ему было странно и радостно. Привыкший к никогда не стихающему гулу двигателей, он словно дышал этой первородной тишиной, дышал тишиной и сенокосным воздухом, совсем не похожим на тот воздух, в каком приходилось ему летать.

Паровоз легонько гукнул и зашипел белым паром. Вдоль по составу прошелся стук буферов. Майор на подножке доехал до станции.

Вокзал был новый, каменный, а на перроне, засыпанном черным мелким шлаком, было пустынно.

Он вошел в зал ожидания, огляделся. Здесь, пожалуй, все как и прежде. Тот же бачок без воды и с алюминиевой кружкой на железной цепи, те же деревянные «диваны» с внушительными буквами МПС, и, что всего интереснее, тот же дурачок Митя дремал на одном из диванов. Майор сразу узнал его, хотя Митя намного постарел. На засаленном отвороте полосатого Митина пиджачишка по-прежнему сверкали всякие значки: старинный МОПР и бог знает откуда взятые значки московского праздника песни и Всемирного форума молодежи.

Митя пробудился, зевнул и попросил закурить, потом подтянул стянутые проволокой штаны и вышел.

Майор вспомнил, как первый раз приехал на станцию и как станционные ребятишки дразнили (тогда еще молодого) Митю из-за ограды, кидали в него палками и пели:

Митька дурак,
Навалил на табак.

Почему именно на табак, майор не знал и посейчас, но тогдашняя жалость к Мите кольнула сердце: неужели он все так же ночует на вокзале, кормится объедками, ездит с дачным?

Шумно вошли пассажиры, приехавшие с другим поездом. Молодая модница, брезгливо поджав губы. подостлала газету и уселась на том диване, на кото-

ром ночевал Митя. С нею был военный, тоже офицер; втащилась также толстая тетка с несколькими багажными местами. «Места» были зашиты в холстину, исписанную химическим карандашом, тетя ревниво поглядывала за поклажей.

— Товарищ военной, сколько-то у вас времечка? — обернулась она к майору.— Ну вот, рано еще, а как топерь попадать, и не знаю. Дорога-то, говорят, хорошая, а вот машины-то ходят ли.

— Вам куда надо-то? — спросил майор, с улыбкой подстраиваясь под забытое северное токание.

— В Негодяиху, Подсосенского сельсовета.

— Значит, мы с вами до половины попутчики, мне надо в Каравайку.

— Да чей будешь из Каравайки-то? — сразу обрадовалась толстуха.— Не Ондрия Тилимы зять?

— Нет, не Тилимы,— улыбнулся майор и объяснил, чей он будет.

— А я в Архангельском живу, уже девятый год с Петровадни, а в Негодяихе у меня дом, да и баня не продана. А везу дрожжей. Ты-то где нонь живешь? — тараторила толстуха, доверительно перейдя на «ты» и словно зная, где майор жил до «нонешнего».

— На Урале, мамаша.

Майору было и смешно, и грустно, и радостно. Он оставил чемодан под присмотром тетки и пошел к чайной, где, по его предположению, легче всего можно поймать машину. Чайная только что открылась. Здоровый парняга в кирзовых сапогах, кряхтя, перекатывал бочку через порог.

— Пивко али квас? — спросил у парня какой-то старичок с корзиной.

— Морс.

В чайной, около засиженного мухами фикуса, под картиной, изображавшей когда-то графин, виноград и разрезанный арбуз, сидел Митя-дурачок. Увидев майора, он сразу ушел.

— Чего это он? — спросил майор у буфетчицы в чепчике.

— А не знаю. Он военных боится. Милиционеры его с вокзала все гоняют, так он думает, и вы милиционер.

Буфетчица рассказала, что машины в Подсосенье ходят, что позавчера ушло две, повезли два кузова водки, а будут ли сегодня, она не знает. Объявился еще один попутчик — молодой беловолосый парень, ехавший в отпуск к отцу.

— Второй день сижу караулю,— сказал он,— хоть обратно уезжай.

Тогда майор направился в райком, надеясь на то, что там есть какое-либо совещание, а значит — и люди из Подсосенья. Он вошел в вестибюль. Около раздевалки сидела то ли уборщица, то ли дежурная.

— Ты, батюшко, к секлетарю али к Олександру Ефимовичу? Ежели к секлетарю, так в эти двери, а Олександра-то Ефимовича в область вызвали.

Майор не стал спрашивать, кто такой «Олександр Ефимович», и пошел к секретарю. В приемной он поздоровался с машинисткой. Видя, что майор сел и ждет, она скороговоркой произнесла:

— Николай Иванович занят. У него бюро. Придите попозднее.

— Мне, собственно, его не надо. Я хотел узнать, нет ли в райкоме кого-нибудь из Подсосенья? Уехать?

Оказалось, что на бюро вызывали председателя колхоза, но он не приехал, по слухам заболел. Машинистка посоветовала майору сходить на базу райсоюза. В вестибюле он спросил у бабушки, где размещается райсоюзовская контора.

— А вот, батюшко,— как будто даже обрадовалась бабка,— вот, батюшко, пойдешь по мосточкам, да только через лавинку перейдешь, тут кряду и будет улица, ты по ёй и иди и иди, а как дойдешь до магазина, где промтовары-то, там и будет райсоюз, на втором этаже.

— Там же военкомат был.

— Ой, милой, давно там был военкомат, давно. После военкомата-то тамотка маслопром сделали, а потом заготзерно было с райтопом, после заготзерну-то перевели на другую квартеру, а заместо ее сделали милицию с загсом, да этим тамотка не пондравилось, вот и перевели их опеть на другое место, а после милиции была там эта... как ее, по квитанциям-то все?

— Сберкасса, что ли?

— Вот, вот, батюшко, сберкасса, после ее вдругорядь переместили на то место, где, может, помнишь, заготскот жил, а потом-то...

Майор, едва не расхохотавшись, прервал бабку вопросом, как зовут председателя райсоюза. А бабка как будто только этого и ждала. Она с еще большей тщательностью начала рассказывать, и майору поневоле пришлось присесть.

— ...а когда, батюшко, сняли с поста Жеребцова-то, заведующим дорожным делом был, покойная головушка... как сместили за пьянку-то, так заместо его кряду и учредили Василья Степановича, а за Васи-

лием-то Степановичем заступил Дружинников, забыла имя-отчество, памяти-то не стало, батюшко, это который в райфинотделе сидел, высокой такой, представительной, а на евонное место и поставили Олексия Ивановича, а Олексию-то Ивановичу, видно, не по нраву эта должность была, вот его и поставили начальником по всем налогам, а потом кряду и перевели в область, а после этого на заготсено понизили, ну а Тяпин-то в те поры с Кавказу приехал...

Так и не распознав, кто теперь председатель райсоюза, майор вышел из райкомовского вестибюля. Добрая старуха еще долго, вослед, рассказывала дорогу.

Было уже одиннадцать часов, и солнце пригревало по-настоящему. Столбы пыли, поднятые машинами, разносило ветром на прохожих, на деревянные домики с палисадами. Ребятишки около чайной кидались кепками. Тут же ходили чьи-то курицы, проехал на велосипеде парень с удочкой, прогрохотал мимо трактор.

Все-таки надо было думать о транспорте, и майор, ощущая почему-то наплыв своеобразного мальчишества, за несколько прыжков преодолел скрипучую райсоюзовскую лестницу. Однако машины в Подсосенское сельпо не предвиделось.

— Сходите на маслозавод, там иногда ходят машины,— сказала одна из райсоюзовских девушек, с любопытством приглядываясь к майору.— Туда можно позвонить, подождите минуточку.

Девушка быстро соединилась с маслозаводом:

— Алё, Катя? Как живешь-то? Да ну... полно. Неужели?.. Слушай, Катя, от вас машина не пойдет в Подсосенье за молоком? Не знаешь? Может, и пой-

дет? Ну ладно. Что? Да вот тут один товарищ интересуется.

Девушка положила трубку и посоветовала сходить на маслозавод.

Около маслозавода, куда майор с трудом прошел в ботинках, было оживленно. Где-то внутри монотонно гудел сепаратор, весело перекликались широкобедрые в белых халатах работницы, гремели флягами. У крыльца стоял еще новый «ГАЗ», весь от колес до ветровых стекол в ссохшейся грязи, как в панцире. Шофер, подостлав свою фуфайку прямо в грязь, возился под машиной. Майор спросил у него, что случилось.

— Сцепление спалил. По таким дорогам только чокнутые ездят,— отозвался парень.

— А что, в Подсосенье не собираешься ехать?

— Посылают, да не поеду. Цепей нет. А туда и с цепями только дураки ездят.

Парень вылез из-под машины и сердито бросил ключи под сиденье. На крыльцо вышел неопределенного возраста мужчина в коричневой вельветовой толстовке и при галстуке с громадным узлом. Он кивнул майору, обратился к шоферу:

— Ежели не поедешь, дак прямо и скажи, а ежели ехать, дак надо ехать. Волынку, понимаешь, тянуть нечего!

— А цепи-то я рожу, что ли? Где цепи-то? — обозлился шофер, но дядечка в галстуке уже скрылся в конторке.

— Вот буржуй чертов,— ругался парень.— Знаю наверняка, что цепи есть новенькие на складе, а не дает, жмет.

— А я гу, что цепей нет! — высунулся в окошко

дядечка в галстуке.— Кто тебе набарахвостил, что есть цепь?

И захлопнул окошко. Шофер плюнул и сел курить. На крыльцо вновь вышел дядечка в галстуке:

— Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи...

— Цепи дашь — поеду.

— Нету цепей.

— Есть цепи!

— Я гу, что нету!

— Есть! Сам видел, когда прокладку брал.

Помолчали. Майор не проронил ни слова, с любопытством ожидая, чем кончится этот поединок.

— Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи.

Шофер отвернулся, всем своим видом изображая глубокое презрение. Дядечка в галстуке не выдержал и заковылял к складу. Через минуту он вытащил цепи из ворот и молча ушел в свою конторку. Обрадованный парень затоптал окурок и, скаля белые зубы, прокричал вослед дядечке:

— Ладно, дядя Костя, я тебе боровиков привезу. Припасай бутылочку только!

Парень на ходу шлепнул замешкавшуюся дивчину и начал надевать цепи.

Майор взял с него слово, что он заедет в чайную, и пошел на вокзал за чемоданом.

Не доходя до вокзала, он встретил милиционера, который козырнул ему и остановился:

— Товарищ майор, это не вы сегодня с восьмичасовым приехали? Там тетка хай подняла. Вы ей чемодан оставили, она ждала, ждала, да и взбесилась. Может быть, говорит, у него бонба какая в чемодане,

а я и отвечай. Зайдите, возьмите чемодан и плащ у дежурного.

Сержант опять козырнул и пошел не оглядываясь, а майор направился в милицейскую дежурку за чемоданом и плащом.

2

Никогда не забыть эту дорогу тому, кто узнал ее не понаслышке. Она так далека, что, если не знаешь песен, лучше не ходи, не езди по ней, не поливай пóтом эти шестьдесят километров. Она и так до подошвы пропиталась, пропиталась задолго до нас, пóтом, и слезами, и мочой лошадей, баб, мужиков и подростков, веками страдавших в этих лесах. Люди сделали ее как могли, пробиваясь к чему-то лучшему. Вся жизнь и вся смерть у этого топкого бесконечного проселка, названного большой дорогой. К большой дороге от века жмутся и льнут крохотные бесчисленные деревеньки, к ней терпеливо тянутся одноколейные проселочки и узкие тропки. О большой дороге сложены частушки и пословицы. Всё в ней и всё с ней. Никто не помнит, когда она началась: может быть, еще тогда, когда крестьяне-черносошники рубили и жгли подсеки, отбиваясь от комаров и медведей, обживая синие таежные дали.

До войны большая дорога была совсем не такой по сравнению с нынешней. Она мучала людей еще больше, но почему-то в разговорах всегда получается так, что раньше дорога была интереснее. Тогдашнюю дорогу вспоминают с величайшим уважением, даже с преклонением:

— Ноне что. Ноне сел на машину, а ввечеру уже

и на станции. А раньше выезжаешь с ночлегом, бывало, и не с одним. Да коли живой возвернешься, так и ладно. А нонь что? А нешто, вот што. Так, одна гулянка, а не дорога.

Майор думал о детстве. Сколько ходил и ездил он здесь, сколько было натоптано белых водянистых мозолей! Выходишь из дому сытым и молодым, возвращаешься голодным и возмужавшим. Детство и краешек юности прошли на этой дороге; на одном конце ее стоит деревенька и старый сосновый дом, на другом — желтый вокзал станции, откуда расходились пути по всей земле.

...Машина гудит так, что ее жалко, как живую. В кузове притихшие пассажиры: толстуха с дрожжами, беловолосый парень и невесть откуда взявшийся мужчина в соломенной шляпе и с чемоданами. Кроме того, на самом неудобном месте ехал парнишка в сереньком хлопчатобумажном костюмчике и в кепке блинком. Пока ехали по ровному месту, толстуха завязала разговор с беловолосым. Она выведала у него тотчас же, что он едет в деревню, что женился недавно и едет за женой, чтобы увезти в Липецк.

— Да каково там со снабженьем-то? — спросила она напоследок и замолкла до поры.

— Безобразие! — возмущался мужчина в соломенной шляпе.— Спутники строим, а по дорогам ни пройти ни проехать!

— Что ж, по-вашему, спутники это ерунда? — отозвался новожены, как окрестила толстуха беловолосого.

— Я не говорю, что ерунда.

— Ох-хо-хонюшки,— зевнула толстуха,— а кого это в кабину-то посадили? Начальство какое?

— Не,— сказал парнишка,— это дяденька, из больницы только что выписался. Он выйдет за этим волоком.

— Как тебя зовут? — спросил майор у парнишки.

— Николаем,— чуть смущаясь, ответил тот.

— Коля, Коля, Николай, наших девок не пугай,— сразу же сказалась толстуха.— Что, поступать куда ездил?

— Не. За метриками.

— Тоже небось из колхоза удрать норовит,— обернулся соломенная шляпа.

— То есть как удрать,— заступился за мальчишку новоженя,— ежели парень учиться хочет?

— Все будут учиться, а кто будет землю обрабатывать?

— Вы сами тоже, наверное, уехали из деревни.

— Я еще до войны уехал.

Машину сильно тряхнуло и разговор прекратился. Дорога стлалась по большому, обросшему ольшаником полю. Несмотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода, оставшаяся после недавних дождей. Шофер ловко и смело лавировал между большими дорожными яминами и, только когда миновать их было уж никак нельзя, пер напролом, рискуя сесть диффером.

Майор знал, что это еще хорошая дорога. Там, вдалеке, где виднелся гребешок леса, начинался Вепревский волок — одно из самых гиблых мест дороги. Туда, к лесному гребню, уже склонялось по-июльски жаркое солнце. Пахло лугами. Даже запах бензина и масла машины не мог заглушить этого ровного лугового запаха, сложенного из ароматов желтого багульника, розового клевера, ромашки и сотен

других трав, разморенных тишиной и солнцем. Мелькнула светлой гладью речка с полуразрушенной сеновней на берегу, потом деревня в три дома и с одним амбаром. На воротах амбара красовались три угловатых буквы русского алфавита. Традиционная надпись была сделана то ли дегтем, то ли колесной мазью, картину завершал внушительный восклицательный знак, подставленный уже мелом кем-то, вероятно другим. Майор не мог вспомнить название деревни.

На бугре машина остановилась. Шофер вышел из кабины и два раза обошел вокруг, пиная в скаты стоптанным сапогом и пробуя крепление цепей.

— Ну, теперь держитесь да помалкивайте,— сказал он и решительно хлопнул дверкой.

Толстуха переложила чемодан с дрожжами поближе. Соломенная шляпа высморкался, парнишка оживился, а новоженя не докурил папиросу и откашлялся.

В коробке передачи по-волчьи завыло. Первую рытвину проскочили благополучно, вторую тоже, но рытвины были на каждом шагу, и вскоре левое колесо яростно забуксовало. Отбрасывая целый фонтан жидкой грязи, оно изредка цепью цеплялось за что-то, и машина чуть сдвинулась, дрожа всем корпусом, перевалилась в другую, не менее жуткую выбоину. Теперь забуксовали уже оба колеса.

Парнишка выскочил из кузова и начал бросать под колеса остатки перемолотых кольев и веток, они дымились под скатами. Минут через пять продвинулись еще на полметра, и вновь колеса забуксовали. Шофер начал подкапывать скользкий грунт, подъехали еще метров десять и остановились. Перед ра-

диатором блестела громадная лужа, целый пруд молочно-серой воды. Шофер решительно включил третью скорость, с силой выкручивая вырывающуюся баранку, ринулся напрямую, тут же переключил скорость, неистово газанул, машину замотало во все стороны, все с тревогой притаились в кузове. Дрожа и жалобно воя, разбрасывая мутную воду, выскочили на более менее сухое место. Поехали дальше, все облегченно зашевелились.

Майор посмотрел обратно. Метрах в пятидесяти от машины торчала та срубленная береза, от которой началось буксование. А Вепревский волок тянулся на шесть километров. А за Вепревским были еще два волока, не считая многих деревенек, разделенных глинистыми полями и пустошами...

Солнце уже накололось на зубцы дальних потемневших елей, и опять пассажиры понемногу разговорились. Вдруг, проезжая один из мостиков, шофер сильно газанул, но колеса пробуксовали, провалились, и толстуха прикусила язык, заохала, глотая кровавую слюну...

— А ну, вылезай, кажись, влипли по-настоящему! — махнул рукой шофер и пошел в лес вырубать вагу.

Не жалея ботинок, новожены смешно засучил штаны и направился помогать шоферу, майор с мальчишкой также выпрыгнули из кузова. Толстуха поерзала и затихла. Соломенная шляпа, намертво вцепившись в борт, сидел молча.

Шофер с помощью майора и новожени подсунул громадную лесину под одно колесо, мальчишка начал быстро качать домкратом; пока шофер газовал, они толкали машину плечами, но колеса крутились

на одном месте и из-под цепей летели только дымные щепки. Солнце между тем совсем закатилось.

Шофер плюнул, достал из кабины хлеб и банку килек в томатном соусе. До ближней деревни оставалось километра три, и все, кроме него и мальчишки, пошли туда ночевать. Майор пообещал шоферу попросить трактор в деревне.

Толстуха потащила чемодан с узлом, за ней пошел и соломенная шляпа, также с чемоданом. Новоженя оставил поклажу в кузове и, балансируя снятыми ботинками, ловко прыгал через выбоины.

— Ну, а где ж мы ночуем? — спросил майор.

— Ночевать-то ночуем,— улыбнулся новоженя.— А вот как дальше ехать — это прямо беда.

— Тут, кажется, Марья пускала раньше на ночлег?

— Да она и сейчас жива, у нее и теперь ночуют. По рублю с носа, прежней валютой.

Майор вспомнил Марьино подворье. Уезжая когда-то на станцию обозами, возчики окружали подводами Марьин дом в любой час ночи, и в любой час ночи ставила она громадный самовар, который выпивался немедленно. Ставился вновь, и потом усталые люди отдыхали до первых петухов. Располагались кто где: кто на печи, причем это место считалось самым хорошим, кто на лежанке, затем на лавках, а остальные на полу. Вскоре начинался храп, парни в темноте и под шумок тискали девок, а часа через три вновь скрипели дровни, вновь медленно наплывали на обоз бесчисленные силуэты елей и сосен.

«Неужели все это и со мной было?» — подумал майор. Он отдал чемоданчик новожене и пошел ис-

кать бригадира. Мальчишка, который с явным удовольствием, в старых маткиных валенках, ходил по крапиве, показал бригадиров дом. В окошко видно было, как за столом в избе сидел хозяин и дымил цигаркой. Майор остановился у канавки перед крыльцом, чтобы помыть ботинки, и минуты через две вошел в избу.

— Здравствуйте.

В избе почему-то никого не оказалось, только в воздухе слоился свежий махорочный дым. Майор сел на лавку и стал ждать. «Куда он делся? Ведь только что тут сидел»,— подумалось майору, и он вышел вновь на крыльцо. Никого. Только грязный гусь с чавканьем выбирал из тазика что-то съедобное. Прошло с полчаса, но бригадир не показывался. «Померещилось мне, что ли? — с улыбкой подумал майор.— Черт знает что!» Он еще раз зашел в избу, и снова там никого не было.

Уже смеркалось. Где-то недалеко отбивали косу, бригадиров гусь трижды трескуче прокричал и тоже скрылся. Майор так ни с чем и пошел, но, заворачивая в проулок, еще раз оглянулся на бригадиров дом. В окне вновь маячила фигура бригадира.

«Ну, это совсем никуда не годится»,— подумал майор и решительно и быстро пошел обратно к дому, вошел в избу.

Человек с начинающей лысеть крутолобой головой оглянулся, отодвинул кисет. Майор объяснил ему свою просьбу насчет трактора.

— А-а,— протянул бригадир,— а я думал, вы уполномоченный какой. Так вы насчет трактора? Да вот беда, трактор-то наш третий день в другой бригаде. А я вижу, идут, одежда хорошая, думаю, опять

какой из района аль из области. Иной раз штук по пять на дню заявится.

— Уполномоченные?

— Оне, псы-лыцари, никакого отбою от них. Я уж свою тактику применяю: как покажется, так на поветь в сено, к стенке, там и конурка у меня оборудована. А либо, ежели в поле увижу, так в кустики шнырну, чтобы не попасть на глаза.

Майор покурил, подивился и пошел на ночлег.

— Так я вам завтра уж трактор представлю, а сегодня ночуйте. Завтра трактор придет, мы и вытащим вашу машину! — Бригадир долго не закрывал окошко, провожая майора добрым взглядом.

Неизвестно откуда слышался усталый звон кузнечиков. Трава чуть увлажнилась, побелело туманом поле за домами. Тишина была первозданная, и майор, сидя на крыльце, вновь ощущал эту тишину, и это ощущение будило воспоминания.

Соломенная шляпа медленно ходил по деревне. Толстуха громко разговаривала с хозяйкой насчет дрожжей: испортятся или не испортятся.

Вдруг за деревней глухо заурчал двигатель машины. Вскоре мелькнул луч от фары, и машина выкатила из поля. Грохотание и гул двигателя отражались от деревянных стен и казались от этого еще угрожающее и бодрее.

«Ну и ну! — подумал майор, недоумевая и удивляясь.— Как это они вдвоем выпутались из той ловушки?»

Дав слово не курить, новоженя и майор пошли спать на сено. Толстуха и соломенная шляпа устроились в избе, сторожа чемоданы, а Коля в ночь пешком ушел домой.

Майор тут же заснул, и картины прошедшего дня мелькали и путались в его обрывочных, давно не виденных, но похожих на прежние снах.

3

Он проснулся от гула машины. Солнце только что восходило, пели петухи, пахло зеленью и теплым коровьим навозом.

Снова все разместились на прежних местах, и машина опять задымила к лесу.

Майор узнавал места. Вот здесь когда-то лопнула у него тележная ось, тут кормили лошадей, там не могли разъехаться два обоза, из-за чего обозники передрались и порубили друг дружке гужи.

Чем ближе была деревня, тем больше роилось воспоминаний и тем острее была нежность к этой земле.

Раньше майор почти не думал о чувстве родины. За постоянной суетой забот и дел ощущалось только ровно и постоянно то, что есть где-то маленькая Каравайка, и этого было достаточно. Теперь же майор остро и по-настоящему ощущал так несвойственное кадровым военным чувство дома. Он думал, что, по правде говоря, заботы, и труд, и все, что он делал, имело смысл постольку, поскольку где-то была эта родимая маленькая деревня. Он теперь знал, что жил и рисковал иногда жизнью из-за нее, ради этой родины, ради ее людей, и все, что было с ним до этого, наполнилось теперь новым смыслом...

Не успели отъехать от деревни — сели всеми скатами. Шофер, охрипший от мата, вместе с майором пошел искать трактор. Бригадир не обманул, трак-

тор действительно пригнали из другой деревни. Через четверть часа машину вытянули.

— Ну, теперь доедете! — сказал тракторист.— Тут до деревни дорога будет хоть яйцо кати.

В самом деле, дорога началась лучше, и вскоре выехали «к церкви» — к центру большого сельсовета. Церкви, собственно, давно не было. Еще в двадцать пятом году местные анархисты спихнули с колокольни громадный колокол, повыкидывали золоченую утварь. С того времени большой белый храм с пятью куполами и шатровой колокольней начали понемногу разламывать: кирпич от церкви греет бабьи бока и до сих пор, звонкий, румяный; говорили, что в глину для этого кирпича примешивали яичный желток, а известь разводили на молоке. От «церкви» майору оставалась как раз половина пути. В этом месте путникам встретилась автомашина. Шоферы остановились кабина к кабине.

— Куда едете? — спросил соломенная шляпа у встречного шофера.

— На станцию, куда! Не видишь, что ли? — Шофер встречной машины включил скорость.

Соломенная шляпа поерзал, оглянулся.

— Слушай, друг, я тебе заплачу, возьми с собой, поеду обратно.

— Садись!

Соломенная шляпа быстро перекидал чемоданы на встречную машину.

— Ноги моей больше тут не будет, хватит с меня! — бормотал он.

Машина взвыла и, брызгая грязью, отчалила. Толстуха сидела раскрыв рот.

У маслозавода стояла подвода. Ослабив заднюю

ногу, у изгороди дремала чалая кобыла, ее нижняя мягкая губа висела от старости. У телеги стояла немолодая крохотная бабенка и глядела из-под руки на приезжих.

— Зеть должен приехать,— обратилась она к шоферу,— не видал, батюшко, зетя-то? Тилигаму давал, что выехал.

— Нету, бабка, зятя! — смеясь, ответил шофер.— Давай замену сделаю, ставь бутылку.

— Ой, полно, батюшко!

— Да какой он из себя-то? — спросила толстуха, слезая на землю.— Не в Солониху ехал-то?

— В Солониху, матушка, в Солониху. Сколько дён жду.

— Ну так он сейчас пересел на обратную, уехал!

Лицо бабки заморгало и сморщилось, новый белый передник, надетый по случаю приезда «зетя», она заприкладывала к глазам. Майор видел, как она отвязывала от огорода кобылу, слышал, как запричитала. Толстуха начала успокаивать бабку и развязала чемодан с дрожжами. Вонь от испорченных дрожжей поднялась такая, что даже кобыла оглянулась назад и прижала одно ухо.

Толстухе было по пути с бабкой, она склала чемоданы в передок телеги, и обе женщины уехали.

Майор предложил шоферу деньги. Тот пнул в колесо, пощупал, как сидит цепь.

— Что я, крохобор какой? Не надо ничего.

Тогда майор зашел в сельпо, купил бутылку водки и пряников. Больше в магазине на закуску ничего не было.

— Давай действуй! — Майор подал водку шоферу и сел на лужок.

Шофер достал из кабины стакан и оставшиеся от вчерашнего консервы. Молча раскупорил бутылку.

— А где наш новоженя?

В самом деле, где беловолосый парень? Майор оглянулся. Парень разговаривал с высоким стариком, по-видимому отцом.

—Товарищ майор, приходите к нам ночевать, если не уедете. Вон наш дом, обшитой, со скворешником! — издалека крикнул новоженя.

— Милости просим, милости просим, заходите ежели что,— сказал и старик.

Майор пообещал зайти.

Водка была теплая, и он еле удержал ее в желудке. Машину уже нагружали молочными флягами. Шофер допил остатки из бутылки и вскоре уехал. А майор взял чемодан и направился к новожене, потому что транспорта пока не предвиделось, а до Каравайки оставалось тридцать километров.

В просторных чистых сенях пахло свежими вениками и свежим сеном. Двери из сеней в летнюю половину были открыты. Майор снял ботинки и в одних носках по радужным половикам прошел в горницу. За большим столом сидел новоженя с отцом и женой, то и дело краснеющей от смущения. Майора сразу же усадили за стол, бабка нарезала новых пирогов, а старик достал из комода вторую бутылку.

— У нас, товарищ военный, все как дома, сами бывали в людях,— говорил старик.— Вон сын приехал, как тут не выпить?

Майор чокнулся со стариком и новоженей.

— А хозяйка-то что, не выпьет с нами?

— Нет, батюшко, что ты, только ежели рюмочку

одну, да и то в чаю,— замахала руками бабка и начала подкладывать пироги.

Комната с белыми сосновыми лавками была оклеена обоями. Старинные образа в углу, заборка с фотокарточками. В открытое окошко слышны были крики мальчишек и мычание коров, звенел над ухом залетевший с улицы комар, и майору было хорошо, как в детстве.

— Это уж самый младший сынок-то, а и у этого вон уже ребенок,— рассказывала старуха.— А другой-то сынок в Москве, а две дочки тоже замужем в Мурманске, а еще сынок тоже на военного выучился, а еще...

— Сколько же, мамаша, всех-то деток вырастила? — спросил майор.

— Шестнадцати, батюшко, шестнадцати. Старших-то четверо в войну сгинули, трое в малолетстве умерли, а девятеро-то, слава богу, добро живут, и деньжонок посылают, и сами приезжают.

— Ежели всех собрать, так хороший взвод,— рассмеялся новоженя и снова наполнил граненые стопки.— Ну-ко, батя, давай! Держите, товарищ майор!

Майор дрожащей рукою взял стопку. Все в нем смеялось и плакало, голос дрогнул, желваки медленно перекатывались на скулах, хмель почти не действовал.

— Давай, батя...

Между тем батя подзахмелел и достал из-под лавки гармонь. Но играть он не стал, только поприлаживался.

— Давай уж, Олешка, ты...

Новая полосатая рубаха уютно облегала сухую

старческую шею и еще крепкие плечи. Вытерев ладонью усы и подмигнув майору, дед спел частушку:

А餘 дролька, пей вино столовое,
Не жалко водки мне,
Только каждую сумеречкю
Ходи гулять ко мне.

— Ой, старой водяной,— засмеялась бабка.— Сидел бы, ведь помоложе тебя есть за столом, писни-то пить!

— А что, я ишшо и спляшу, пороху хватит!

Бабка весело заругалась. Новоженя с женой улыбнулись, глядя на захмелевшего отца, а майор курил, смотрел на всех, и на сердце у него было по-новому тепло и счастливо.

— Сколько же тебе, отец, годов?

— Аа-а, парень, много уже накачало, с Ивана-то Постного вроде восемьдесят шестой пошел.

— Полно,— вступилась бабка,— да ты ведь на шесть годов меня старше, а мне в Медосьев день семьдесят девятой пошел.

— Ну вот, на то и вывела, а я про что говорю? Ну-ко давай еще там из шкапа-то. А я, товарищ майор, когда на первую ерманскую пошел, дак тибя, поди, еще и на земле не было. Помню, когда Николай-то слетел, дак вот у нас раздолье было какое на позициях, что начальство и по утрам нас не будило. Полковник был у нас Фой, вот, значит, пришел к нам Фой, здоровается, а вся рота как воды в рот набрала. Не поздоровалась, да и только. А Фой этот — сама шельма — молчит, а я взял да и крикнул: «Товарищ Фой, отпусти на пасху домой!» Как он взъелся потом, да и мы уж были учены. Приехал я в

Питер, гляжу, афишки на тумбах, так и так, война до победы...

Гармонь тихо наигрывала. Майор дымил папиросой, слушая старика. Бабка ставила самовар уже во второй раз, белая сенокосная ночь кричала луговыми коростелями и словно вздыхала вслед гармонным мехам.

Выпили еще, потом еще, новоженя с женой незаметно ушли в чулан спать, а дед приятным старчески надтреснутым голосом негромко запел песню. Майор никогда еще не слышал эту песню, ее слова глубинной своей тоской бороздили душу, мелодия была проста и сдержанно-безысходна.

В Цусимском проливе далеком,
Вдали от родимой земли,
На дне океана глубоком
Покойно лежат корабли.

Там русские спят адмиралы
И дремлют матросы вокруг,
У них прорастают кораллы
Меж пальцев раскинутых рук.

Он пел по-городскому, стараясь не окать, но это не мешало естественности звучания, и казалось, от этого еще сильнее хватает за сердце песня.

Когда засыпает природа
И яркая всходит луна,
Герои погибшего флота
На скалы выходят со дна.

Морские просторы бездымны,
Матросы не строятся в ряд,
Царю не поют они гимны
И богу молитв не творят.

Лишь тихо ведется беседа,
И, яростно сжав кулаки,
О тех, кто их продал и предал,
Всю ночь говорят моряки.

Они вспоминают Цусиму,
И честную храбрость свою,
И небо отчизны любимой,
И гибель в неравном бою.

«Откуда такая грусть в стариковском голосе? Кто сложил песню, и где я, и что со мной?..»

Майор сидел за низким деревенским столом, опершись на кулак; на самоварной ручке висел его зеленый форменный галстук, потухшая папироса торчала из кулака около самого уха.

— А вот «Камаринская» нового строю, при Керенском певали-притопывали.— Старик растянул гармонь, аккомпанируя самому себе, запел весело:

Как у матушки Россеи все вольно,
Уже нет царей, продавцев за вино.

Милюковых и Гучковых нет давно,
Все по-новому в Россее введено.

Все министры у нас новые теперь,
Только старые порядки без утерь.

Как в Россее теперь нету мужиков,
А полно лишь казнокрадов и воров.

Мужиков-то переделали в граждан,
А прав гражданских и не дали мужикам.

Мужики-то протестуют и кричат,
Что войну уже давно пора кончать.

Министры в Англии-то золото берут,
А мужиков-граждан в солдаты отдают.

Дед совсем захмелел. Старуха, незлобно ругаясь, отняла у него гармонь, а он все пел и пел... Бабка разобрала для майора никелированную кровать в горнице, сказала: «Спи, батюшко», и вскоре все в доме заснули.

Майор вышел на улицу, открыл дверку в огород. Туман совсем затянул реку, зеленели за огородом свежесметанные стога. Вдали заржал жеребенок, ему сдержанно и успокаивающе ответила мать. Проскрипел запоздалый журавель колодца, молодой петух, не разобравшись, в чем дело, встрепенулся на насесте, хлопнул крыльями, хотел проорать зарю, но одумался, и все затихло.

4

Майор проснулся от щелчка в репродукторе и долго не мог вспомнить, где он. Передавали последние известия. Он лежал с закрытыми глазами и слушал, как по улице гнали стадо. Он давно так много не пил, но странно, голова не болела, дышалось легко и в желудке не было неприятной пустоты. Он вскочил с кровати и тут только вспомнил, что до Каравайки осталось всего тридцать километров.

Позади было два волока, впереди остался один, да и тот знакомый до последнего пня. Косое солнце тепло и щедро лилось в окно, на березе чирикали воробьишки. Майор нашел рукомойник, но вдруг услышал, как прервалась московская передача.

— Вниманьё! — послышалось дальше, и майор чуть не расхохотался, так непохоже и странно прозвучало из репродуктора это слово. Диктор окал так уморительно, что майор, боясь проронить хоть слово, на

цыпочках подошел к простенку, где висел репродуктор.

— Вниманьё! Говорит местный радиоузёл колхоза «Победа». Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются, что такое самоуправство. Разъясняём. Самоуправство — это самовольные всякие меры на ущерб колхозу, чтобы всячески расхищать колхозное имущество, особенно сено. Так, например, колхозница пятой бригады Иванова Екатерина Трофимовна унесла с колхозного поля ношу сена. Правленьё колхоза оштрафовало Иванову на двадцать рублей в новых деньгах. Вниманьё! Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются...

Все повторялось сначала, и майор долго не мог погасить улыбку. Но что-то знакомое послышалось ему в имени колхозницы. Екатерина. У Кати тоже было такое же отчество. Это имя коротким сладким уколом кольнуло в сердце, и майор вспомнил, как перед войной провожал ее с деревенских гулянок, как стоял с ней у мельницы и, не зная, что говорить, кидал в плесо дорожные камушки...

Пока хозяйка разогревала самовар, майор сходил на речку, зашел в огород. Дед налаживал косу, добродушно переругивался со старухой:

— Ну и что. Эко место, в квашню вляпался. Может, еще и пироги-то не вышли бы.

— Сиди, водяной,— без злости махала рукой бабка,— мне теста не жалко, а ты всю печь тестом испохабил!

Новоженя тоже хохотал над отцом, который, как оказалось, полез вчера на печь и по пьяному делу нечаянно кувырнул квашню.

Когда вскипел самовар, разговор опять же вертелся около ночного происшествия, и майор от души смеялся вместе со всеми.

Старик еще рано утром узнал, что сейчас в пятую бригаду пойдет трактор, а это майору было по пути.

— Олешка! — крикнул дед сыну, когда отпили чай.— Вынеси чемодан-то да травы подстели, а то сани навозные.

Новоженя вынес чемодан, и вся семья распрощалась с майором.

— Дак не будет, говоришь, войны-то? — спросил старик, оборачиваясь в последний раз, когда трактор уже взревел двигателем.

— Не должно, батя...

— А то всё войну сулят. Хоть и не первый дождь на голову, а не надо бы, парень... Всем крышка. Ну, ежели что, обратно поедешь, заходи ночевать, места хватит, заходи...

Он еще долго смотрел на майора. Трактор, грохоча, выехал за деревню.

Пошел третий день после того, как майор сошел с поезда. Он улыбнулся контрасту: от Ялты до Москвы три часа, а шестьдесят километров от станции до деревни — три дня. Но и в этот день он не добрался до своей деревни.

В конце волока дорогу пересекала болотистая речушка. Мостик через нее топорщился обломками бревен. Тракторист решил ехать через речку. Черная болотная грязь полетела от гусениц, трактор, дергаясь и подминая кусты, двинулся напропалую. Надо было брать чуть левее, правая гусеница, буксуя, зарылась в жидкую землю. Чем больше газовал тракторист, тем глубже. Сани оказались в воде. Майор уже через

полчаса был весь в грязи. Они провозились в речушке до самого вечера, пока не подошел другой трактор и не помог выехать. Странно было одно: трактористы совсем не нервничали, принимая все как должное.

Остановились у разломанного гумна, закурили. Собиралось ненастье, изломы молний сверкали на черно-синем небе с востока. Гремело все сильнее и чаще. Деревню майор знал, но, по его предположению, знакомых никого в ней не жило. Тракторист был тоже нездешний — шефский.

— Утро вечера мудренее, кобыла мерина ядренее,— сказал он.— Пошли ночевать в сеновню. Вот беда, пожрать бы немного. Пойду молока хоть поищу.

Дождь был все ближе. Мимо гумна, размахивая вожжами над головой, проехал парнишка в телеге.

— Коля! — окликнул его майор.— Ты, что ли?

Парнишка остановился. Это был как раз тот Коля, что ехал позавчера со станции вместе с майором. Он возил дрова к овину и сам пригласил майора переночевать.

— Мама еще на сенокосе, скоро придет,— сказал он, отпирая ворота, и пошел выпрягать лошадь.

Майор внес чемодан по лестнице. В доме было чисто и сумеречно. Не зная, что делать, он спустился на крыльцо, сел на обрубок под навесом. Теперь небо стало совсем темным, гром трещал над самой крышей, молнии зеленым светом разрывали темноту. Пошел дождь. В это время женщина с косой и корзиной поспешно открыла отводок загороды. Увидев майора, она приставила к стене косу, остановилась:

— Что-то не могу и узнать кто.

Майор встал, она что-то еще сказала, но гром заглушил ее слова, а он весь вздрогнул от волнения

и невыразимой, сразу охватившей его тоски и застарелого разбуженного счастья.

— Я с Колей со станции ехал. Заночую у вас...

— А-а,— согласно протянула она,— заходите.

И уже поднималась в темноте по лестнице, а он, волнуясь еще больше оттого, что она не узнала его, шел двумя ступенями позже ее, спросил:

— Вас не Екатериной звать?

— Катериной,— просто ответила она.— Я сейчас лампу зажгу. Вы-то откуда знаете, как меня зовут?

Майор ничего не ответил. Она вздула огонь, зажгла лампу; не глядя на него, задернула занавески, успев на ходу зашпилить мокрый узел волос на узеньком затылке. Она была еще красива, красива последней бабьей красотой, а движения ее были такими же, девичьими, что майор остро и с нежностью ощутил, когда, не двигаясь, глядел на нее. Она почувствовала его взгляд и только теперь сама посмотрела на него:

— Ой, Ваня ведь. Иван! Ох, милые, да как это?.. Не могу и узнать...

Она растерянно и радостно смотрела то на него, то на его вымазанную глиной одежду, а он тоже смотрел на нее, беззвучно счастливо смеясь и дрожа плечами, и смех этот был одновременно выражением его счастья и скорби по тогдашней Кате.

Опомнившись, она кинулась к самовару, начала щепать лучину. Свежей воды не оказалось. Сбегала за водой и, вся мокрая от дождя, начала разжигать, дуть в самовар, накинула на стол чистую скатерть.

Все еще шел дождь, но гром уже выдыхался и

терял силу. Вбежал в комнату Коля, бросил к порогу узду и, словно не замечая майора, взял кусок пирога с залавка, наладился уйти снова.

— Кино привезли в Антониху!

— Куда ты пойдешь, куда, на таком дожде! — Но он, не слушая мать, уже стучал по лестнице.

Она поставила самовар и, накинув платок, тоже убежала. Минут через десять вернулась, обтерла полотенцем зеленую бутылку водки, поставила на стол.

Гроза совсем затихла, лампа тихо потрескивала, на столе мелодично звенел самовар с чайником на конфорке. Катя выставила одну стопку, майор вопросительно, с улыбкой взглянул на нее, и она выставила вторую:

— Много уж годов не пивала...

Она закашлялась, замотала головой, отодвинула недопитую стопку, но потом выпила, лицо раскраснелось, темные большие глаза подернулись поволокой.

— Как живу? Так и живу с парнем, сама-другая. Ты ведь тогда, как на фронт уехал, так больше и не бывал дома. Вышла-то уж после войны... Хозяин восьмой год в заключенье, ни письма, ни грамотки. Напились один раз да с бригадиром и разодрались. Мой-то горячий, схватил с гвоздя ружье да к бригадирову дому, с улицы в окошко выстрелил, две дробины попало в портрет, приписали особую статью. Теперь уж сгинул, видно. Ждала, ждала, все и жданки вышли. Нынче вот и Коля в ремесленное ладит уехать. Сперва не пускала, думаю, что буду одна делать, а он просится. Пусть уж едет, дома все равно ему не житье, корову и ту кормим с грехом попо-

лам. Третьего дня принесла из поскотины охапку, и то оштрафовали да ославили...

Майор открыл занавеску, распахнул окошко. Ночь была по-осеннему темна, он слышал, как в палисаднике с веток падали редкие дождевые капли, в деревне не было ни одного огонька.

Когда он снял ботинки и подал ей китель, Катя заплакала. Они вышли с лампой в темные большие сени, она, не обтирая слез, откинула полог постели и унесла лампу в дом. Вскоре она вернулась к майору, молча погасила слезы и, сдерживая бабью тоску, обвила рукой его седеющую голову:

— И откуда ты взялся-то, Ваня, разудалая твоя голова, откуда?..

«Ваня, разудалая твоя голова» — эти слова старой протяжной песни были сказаны шепотом. Они оборвались, и майор ладонями осушил Катины щеки.

Далеко за волоками все еще урчал гром ушедшей ночной грозы, внизу тяжко вздохнула корова, в гнезде под стропилами крыши сонно прочирикали и затихли ласточки.

5

Этот последний волок был знаком ему каждой своей горушкой, обсыпанной сухими скользкими иглами. Знаком каждым камнем, обросшим жесткими лишаями, каждым поворотом большой дороги.

Протоптанные скотом тропы не давали заблудиться и каждый раз выводили его к большой дороге. Он нарочно шел по ним, часто останавливался, чтобы сорвать ягоду, послушать лесной шум. В чащах, как в сказке, глухо и музыкально звучало бота-

ло, сухо брякал о дерево дятел, жалобно и нехищно кричал ястреб-канюк.

Майор снял ботинки, выломал ольховую палку, чтобы легче было нести чемодан. Вот так он ходил когда-то домой со станции, и его встречала на пороге мать; так же ходил и отец, и дед, и прадед...

Все было здесь знакомо. Только подзаросли кустами светлые когда-то полянки и не стало толстой густой сосны, росшей у речного обрыва. По преданию, много лет назад эта сосна спасла деревни от шайки разбойников, забредших сюда в смутное время. Она была так густа, что из-за ее кроны насильники не увидели жилья и повернули обратно. Теперь она упала от грозы, и ее жгут прохожие, кому не лень; много лет не могут никак сжечь, головешки и посейчас валяются на обрыве.

Сам обрыв был все таким же. Майор спустился вниз, остановился около мелкого песчаного брода и лег в траву, на спину.

До Каравайки — родимой деревни — оставалось два километра. Четыре последних дня отодвинули в небыль все то, что было до этого, и это все: служба, аэродром, мегафонный шорох, свист двигателей — казалось таким дальним, почти нереальным. В памяти появлялись то толстая тетка с дрожжами, то вокзальный дурачок Митя, то слышалась матросская песня отца новожени, то снова ощущение поздних горьких Катиных поцелуев. Он торопился, и Катя сама на рассвете почистила ему китель и брюки, сама сходила к бригадиру и запрягла лошадь, сама проводила его до прогона. Коля выломал тогда ивовый прут и стукнул по телеге, а его мать постояла еще немного у отвода.

— Может, зайдешь на обратной дороге-то,— сказала она,— да и в Каравайке никого нету, и из списков-то ее, наверно, уж вычеркнули.

Но она тут же застеснялась своих слов, покраснела и, опустив голову, решительно пошла от отвода: немногочисленные косцы с косами и граблями уже выходили из домов, окликая друг дружку... Майор вспомнил, что она ничего больше не просила у него, ни на что не обижалась, и он к полудню, не доехав до деревни километров шести, отпустил Колю, пошел пешком и шел до этого обрыва.

Майор не знал, сколько времени лежал он в траве у речного брода, под песчаным обрывом. Трава после вчерашнего дождя давно обсохла, в лесу и в кустах пели птахи; сиреневые, с белыми оборками облака тянулись к западу.

Три волока отделяли майора от шумного и большого мира. Его никто не окликнул, никто не встретил. Он то смотрел в небо, то опять закрывал глаза и не торопился вставать, отодвигая счастье встречи с деревней. Каравайка была в двух километрах отсюда. Он думал о том, как задами, через прогон выйдет к гумнам, потом к баням и травяным огородом выйдет к дому, в котором жила соседка — дальняя родственница матери, как переоденется в спортивный костюм и затопит баню, как ночью услышит звон комаров, а утром проснется на сенном перевале от петушиного крика.

Он вскочил и с волнением хотел закурить. Но папиросы кончились, кончился и теплый день, солнце закатывалось. Майор с наслаждением, крякая, напился речной воды, перешел босиком на свой берег.

Дорога шла вдоль реки. Впереди, там, где были

деревни, садилось красное солнце. Пока он шел до поля, солнышко покраснело еще больше и наполовину скрылось за далеким лесом. В речных омутах повечернему закурилась вода, из кустов потянуло нагретой зеленью.

В поле он вышел уже в то время, когда сумерки помутили теплую летнюю даль с ее пояском окрестных лесов и недвижной пеной полевых кустиков.

А вот и первая деревня — Помазиха. Это здесь, в Помазихе, майор на каком-то празднике осмелился поплясать в первый раз. И все девушки вместе со старшей сестрой сбежались и смотрели. Дорога вильнула в объезд деревни, обогнула клеверный бугор. Показался другой холм с пятью темными соснами. На эти сосны майор вместе со сверстниками лазал когда-то за вороньими гнездами, а вечерами под осень пек здесь первую, с еще не окрепшей кожурой картошку. За соснами было небольшое поле, а там косогор и родимая Каравайка.

Майор шел все быстрее, не замечая этого, и все хватался за карманы, ища папиросы. Вот позади и Вороньи сосны, травяная тропа выпрямилась, незаметно перешла в колесную дорогу, и он выбежал на косогор.

Каравайки на косогоре не было.

Ночь пришла тихая до звона в ушах. Золотым блином висела в небе луна, но было светло и так, и от стожка, сметанного посередине бывшей деревенской улицы, почти не виделось тени. Только вокруг этого стожка лежала ровная лужайка, а дальше везде дремала густая трава, а в траве то там, то тут при-

нимались звенеть кузнечики и сразу же затихали, словно боясь нарушить тишину. Кругом была трава и поле. И лишь березы у будто невидимых домов белели да старинный хмельник еще бодро топорщился пиками нескольких кольев, и хмель, словно назло безлюдью, упрямыми спиралями вился кверху.

Уже второй и третий раз открякал в низине дергач, а майор все сидел на горушке, оставшейся от родного опечка. Опечек сгнил, его засыпало размокшей от ливней глиной, из которой сбита была печь; на горушке рос высокий кипрей и крапива.

Кипрей был так высок, что старые фамильные кросна [1], стоявшие рядом, на земле, почти скрывались в его оранжево-розовых соцветиях. На этих кроснах бабка майора ткала холсты, на этой печке родился ее внук, по этой улице впервые, замирая от восторга, прошел он за ребячьей гармоньей...

Но Каравайки больше не было на земле.

Где-то за тремя волоками неслись поезда и свистели ракеты, а здесь была тишина, и майору казалось, что он слышит, как обрастают щетиной его напрягшиеся скулы.

Опять прокрякал дергач, а луну пополам разрезало плоское слоистое облачко. Никто не услышал, как на гулкий широкий лист лопуха, теряя свинцовую свою тяжесть, бухнулись две холодные слезы.

---

[1] **Кросна** — остов ручного ткацкого станка.



БОБРИШНЫЙ УГОР

В глаза, будто память о детстве,
Зеленые глянут места,
Добру откроется сердце,
И совесть будет чиста.

Александр Яшин

Дорога была суха, песчана и оттого тепла. Но иногда опускалась в низинки, становилась влажно-мягкой и потому холодила ногу. Она незаметно вошла в лес. Думается, так же вот входит по вечерам в свой дом женщина-хозяйка, называемая у нас большухой.

Июльский сумеречно-теплый лес неторопливо готовился отойти ко сну. Одна по-за одной смолкали непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой елки. Затвердевала смола. И ее запах мешался с запахом сухой, еще не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души; он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от

него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери...

Ах, тишина, как отрадна и нетревожна бывает она порой, как хорошо тогда жить. И это была как раз та счастливая тишина. Хотя где-то неопределенные и по происхождению явно человеческие звуки выявляли окрестные деревни. Но это еще больше оттеняло лесную, здешнюю тишину. Тишину и суть нашего состояния. Суть же нашего состояния заключалась в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и жила июльская ночь, и была везде наша родина...

Обычно большие понятия ничего не выигрывают от частого употребления слов, выражающих их. И тогда мы либо стыдимся пользоваться такими словами, либо ищем новые, еще не затасканные досужими языками и перьями. И обычно ничего не выходит из этой затеи. Потому что большим понятиям нет дела до словесной возни, они живут без нашего ведома, снова и снова питая смыслом и первоначальным значением слова, выражающие их. Да, лопаются, наверное, только ложные святыни, требуя для себя все новых переименований. Я думал об этом, слушая крик затаившегося коростеля. И вдруг ощутил еще невидимый Бобришный угор. Ощутил мощный ток покамест неслышимой реки, ее близость, ее движение, хотя ничто не выдавало того движения: ни шорох воды, омывающей камни и береговую глину, ни запах рыбной и травяной влаги. Нет, ни этого шороха, ни этого запаха, обычно сопутствующего настоящей реке, еще не было,— я услышал их намного позднее,— но я уже знал, что Бобришный угор тут, рядом. Хотя никогда не бывал в этих местах.

Волнуясь, я перелез осек — высокую изгородь, которая определяет границы лесных выпасов, и увидел опять, как дорога, словно не желая быть назойливой, ушла куда-то вправо. Еле заметная тропка ответвилась от нее и пропала, а в нетревожных сумерках, в этом готовящемся к ночному покою лесу я увидел домик. Домик с белым крыльцом, на Бобришном угоре. Он стоял на неширокой полянке, осененный спящими соснами. Трава вокруг его рубленых стен белела цветочками земляники. Она, эта ягода моего детства, особенно густо, белой полосой, цвела позади домика: я стоял на одном месте, боясь переступить и растоптать хотя бы одну звездочку из этой белой полосы. Млечный Путь далекого деревенского детства... Тотчас же родилась где-то между ключицами и остановилась в горле жаркая нежность к этим звездочкам. Я присел на корточки, сжимая зубы, погладил теплые травяные пряди. И тут же с гнусной издевкой изловил себя на сентиментальности. Стыдясь чего-то, проглотил щемящий горловой комок, одумался. Но, собственно, зачем было одумываться? На секунду родилось мерзкое чувство отвращения к самому себе, и я в несколько затяжек прикончил горькую сигарету. Но домик на Бобришном угоре был печален и ясен. Он легко, с непринужденной и незаметной для меня властностью вернул мне прежнее состояние, навеянное гармонией широкого засыпающего леса. И я опять долго смотрел на земляничную россыпь. Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву, я затолкал его в спичечную коробку. Наверное, огонь не был погашен до конца, потому что спички вдруг вспыхнули, и запах жженой селитры заставил меня

ощутить, как легок, незаметен, как чист воздух здесь, на Бобришном угоре.

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, березовую и рябиновую листву, виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалёка, упиралась в него своими бесшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором. Тот, противоположный берег был тоже не низкий, холмистый, но угор все равно господствовал над ним. Там, у воды, белели песчаные косы, а дальше клубилась лиственная зелень, перемежаемая более темными сосняками и ельниками. Левее была обширная, пересеченная извилистой старицей и окаймленная лиственным недвижимым лесом пойма. Коростель как раз и жил, видать, в этой пойме. Сейчас он снова размеренно драл нога о ногу, как говорят в народе. Пойма была покойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушевывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну еще не кошенного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на все это с высоты угора, а позади тихо спали теплые ельники.

* * *

Ты был праздничен и не успевал совладать со все нарождающимися своими чувствами. Не успевало остынуть одно, как рождалось другое, еще более сильное, затем третье внахлестку, и так чуть ли не до утра. Но я как-то смутно помню эту первую ночь на Бобришном угоре. Под ступенью крыльца мы нашли

ключ от замка и вошли в твой светлый ночной дом. Ветки зеленели совсем рядом за стеклами, рядом же, почти под нами, ясная, бессонная, стремилась река.

— Здравствуй, земля моя родная.

Ты не знал, что я слышал эти слова, сказанные тобой вполголоса, но если бы и знал, а я бы знал, что ты знал, мне все равно не стало бы стыдно. Я благодарен тебе за то, что мое присутствие во время вашей встречи, встречи с родной землей, не выглядело фамильярным. К тому же ведь так естественно здороваться с родиной. Но я знаю, что говорить об этой естественности уже, наверное, неестественно.

Потому что опять же слова и разговор обо всем этом — категория меньшая по отношению к предмету разговора, а пошлость подстерегает меня за каждой строкой. Так беден наш язык, когда пытаешься говорить о сокровенном. В радиотехнике есть такой термин: полоса пропускания. Некое устройство ограничивает, обрубает в радиоприемнике полосу слышимых частот, диапазон суживается. Так и любой разговор о том, что свято для человека, для измерения чего нет единиц, обрубает, суживает то, о чем говорим, о чем не можем не говорить...

Мы сложили поклажу: ружье, бинокль, охотничьи и рыболовные припасы. Тоня — жена твоего племянника, принесшая хлеб, сахар и молоко, зажгла нам керосиновый фонарь, и от его красного света стало таинственно уютно и сразу же захотелось никуда не выходить. Вскоре Тоня ушла домой, в деревню, а ты принес из сенцев дров и затопил печь. И огонь словно вдунул душу в домик на Бобришном угоре.

Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила

мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи.

Пепел выедает глаза, холодный пепел родимой печи. Той печи, на которой начиналась вся жизнь и которая остывала, может быть, дважды в полустолетие. Да и то только тогда, когда вымораживали тараканов. Боязнь демагогии вынуждает оговориться: я вовсе не против парового отопления, не против новейших средств борьбы с насекомыми. Но как же быть? На наших глазах быстро, один за другим, потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего, и многим людям приятно мочиться на священные угли. Время вымораживает нас из родных мест, а мы снова и снова возвращаемся к тем истокам, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины все равно что удить рыбу удочкой без крючка либо палить по уткам холостыми патронами. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина. Что ж, покамест у нас есть Бобришный, есть родина...

Нам нечего стыдиться писать это слово с маленькой буквы: ведь здесь, на Бобришном, и начинается для нас большая Родина, о которой говорят уже все подряд. Да, человек счастлив, пока у него есть Родина. Как бы ни сурова, ни неласкова была она со своим сыном, как бы ни вынуждала она к отречению, нам никогда от нее не отречься.

Как жарко топится печь! Комары печальным своим звоном напоминают о том, что мы ночуем в лесу. Мы оба любим тепло, и ты поминутно подкидываешь на огонь, а за окнами плывет летняя ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня

с твоей рекою, которая никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозвратность слоеных речных струй, вода, так же как и время, никогда не вернется обратно.

* * *

Утром я проспал восход солнышка. Тебя не было, я взял бинокль и прямо с крыльца долго разглядывал еще дымящуюся реку, пока за одной из верб не увидел твой поплавок и удилище. Поплавок то и дело сносило течением, ты удил рыбу примерно в полукилометре от меня. Утро долго не кончалось, полдневный ветер еще только зачинался в сосновых лапах. Высыхающая роса в союзе с солнцем рождала в лесу радужно-золотую мглу, мимолетную, словно ребячий сон, золотую мглу. Радостно и отрешенно пели вокруг птицы. Совсем рядом несколько раз принимался щелкать соловей. Словно боясь быть веселее других, он дважды, не сдержав, видимо, собственного восторга, переходил на пение и тут же, будто от застенчивости, замолкал. Прямо за домом раскатисто, многоколенно журчало горло дрозда-дерябы, везде по кустам с девчоночьим озорством цвинькали синички, свистели над рекой стремительные зуйки. И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Ее голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство.

Бобришный угор пел на все голоса. В бездонном небе тонули и все не могли утонуть сосновые кроны. Редкие облака, казалось, висели недвижимо, а сосно-

вые кроны и все лесные верха плавно, бесшумно и широко стремились им навстречу. А внизу, на теплой, словно рассолодевшей земле, все копошилось, цвело, росло, торопилось жить.

Откидываясь назад и хватаясь за ветки рябины, по крутой, осыпанной иглами тропе я съехал к реке, чтобы умыться. Было видно, как муравьи узким сплошным потоком через весь склон угора спускались к воде и той же дорогой поднимались обратно. Это был не иначе как муравьиный водопой, под самыми окнами домика на Бобришном угоре. Они, эти крохотные трудяги, копошились, кувыркались, опять торопились, и все к реке; другие так же суматошно от реки, вверх. Мне стало жаль эту живую материю, раздробленную на миллионы одинаковых, живых комочков, движимых одинаковым инстинктом, ничем не отличающихся друг от друга живых комочков. Опять, как вечор на сентиментальности, я поймал себя на излишнем философствовании. Снял рубаху и долго, бездумно, с какой-то не собственной созерцательностью тер щеткой зубы. Паста воняла нефтью, искусственностью. Я обелил этой пастой несколько муравьев и стал следить за ними: они как ни в чем не бывало продолжали свой муравьиный поход. В это время опять чмокнул давешний соловей. Я тотчас забыл про муравьев, сбегал за удочками, размотал леску...

И вот мы маячим на высоком, тихом, зеленом берегу, где прямо из песка растут могучие, мясистые стебли щавеля. Изредка я срываю такой стебель и, обруснув листья, с хрустом закусываю; кислый и сочный, щавель не хуже пасты очищает во рту, и язык после такой закуски сразу как-то устанавливается на свое место. Мы удим, а это значит, что мы уже как

бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, с кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще и разу не ознобила душу своим безжалостным инеем. Река струит свои светлые упругие пряди, стремительные зуйки словно прокалывают пространство меж берегами. Где-то в лесу, в его отрешенно-колдовском шуме, звучит коровий колокол, а мы с наживкой в рукавице неутомимо ходим от заводи к заводи. Ищем, ждем хорошего клева и у каждого нового куста верим в большую добычу. И каждый куст обманывает нас, и мы вслух придумываем причины безрыбья. Впрочем, уха у нас уже есть. Но тебе хочется поймать хариуса. Я никогда не видел эту благородную рыбу, и ты хочешь поймать хариуса, но хариус ни разу не клюнул, и ты тащишь меня смотреть гнездо зуйка. Птичка с тревожным свистом слетела с гнезда.

Мы молчаливо глядим на три крохотных беззащитных яичка. Рядом стремится куда-то твоя родная река, над нами шумит от ветра, зеленеет Бобришный угор. Его крохотный житель — зуек — тревожно свистит, а мы глядим на гнездо, и нам хочется скорее уйти, чтобы не мучить зуйка.

Дома, вытряхивая из холщовой рукавицы остаток наживки в бадью с землею, ты говоришь, что дождевые черви живут в неволе месяцами и больше, если землю изредка сдабривать несколькими каплями молока и спитым чаем. Потом, забыв про червей, волокешь меня дальше, смотреть дятлову работу:

— А знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга... С восторгом восьмиклассника ты показываешь мне отверстие, продолбленное дятлом в дощатой стенке сеней. Гляжу и дивлюсь, сколько же нужно было тюкать, чтобы пробить эту дыру в стенке, какое нужно упрямство! Но самое интересное то, что дятлова дыра сделана в десяти сантиметрах от окошечка, выпиленного плотниками. Вместо того чтобы влезть в это окошечко и посмотреть, что там внутри, дятел долбил свое, только свое окошечко. И я все еще не могу до конца отдаться Бобришному угору, не могу без своих дурацких аналогий. При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку, а стенкам нет конца и жизнь коротка, словно цветение шиповника на Бобришном угоре.

Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой опоры во внешней среде. И я знаю, как тяжело тебе жить. Мой комплекс кресть-

янской неполноценности все время сковывал меня, отчего иногда я не выглядел откровенным в твоих глазах. И в них нередко мелькало тревожное недоверие. Но что я мог сделать и что вообще нужно делать в таких случаях? Клятва в верности сама по себе утверждает существование предательства... Досаду, вызванную твоим недоверием, я гасил в твоих же лесах, и все снова вставало на свои места. Это была моя счастливая неделя, хотя я и понял это задним числом. Ведь счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это ведь и было в общем-то счастье. Оно складывалось для меня из лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, из ржаного ломтя, из смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна домика в сумерках, костер, раздвигающий тьму. Сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники. Но сейчас я думаю о том, что человеку нужно, наверное, узнать все прелести цивилизации, прежде чем прийти к такому пониманию счастья. Нет, людям нужно и то и другое. И свист рябчика не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонившая эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься бескровных столичных мимоз. Не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих ТУ с их дурацкими леденцами и пристяжными ремнями... Не потому ли, что нам с тобой доступно и то и другое, а им лишь одно, так настороженно-недоверчивы к нам твои земляки?

Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты

страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глиняного. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. «Давай, старик,— говорит старуха,— слепим сынка из глины, а то никого у нас нет».— «Давай,»— говорит старик. Слепила старуха сынка из глины, Ивана Глиняного. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный и их съел. Дошел до леса, навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, но медведь ему не поддался. Распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики и давай медведя бить. Били, били и укокошили...

Ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть, но что-то тут неладно... Что и кому надо прощать и где граница между великодушием и необходимой самозащитой? И почему многие люди вообще не прощают великодушия, как те косцы, которые убили медведя? Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного, — может, нам в брюхе-то лучше было...

Нет, я не верю, что все люди как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, и впрямь так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что положительные герои и в жизни обычно вовремя погибают. Тем более в книгах. У писателя не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности, и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели,

предоставляя расхлебывать заваренную им кашу новым, таким же неколебимым героям.

Герои, герои, герои... Как часто думается о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может, есть сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может, есть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность. И вот мы верим в эту возможность, хотя знаем, что почти невозможно остаться человеком, не огрубеть, если не стоять на одном месте, а двигаться к какой-то цели. Ведь стоит даже самым нежным ногам одно лето походить по тайге, и ноги те огрубеют, покроются толстой кожей. Кожей, не способной ощутить раздавленного птенца. Не потому ли все мы так изумительно научились оправдываться невозможностью рубить лес без щепы и ограничивать борьбу за новое всего лишь разрушением старого? Чтобы разрушить, всегда требовалось меньше ума, чем сделать новое, не разрушив того, что уже было. Ах, как любят многие из нас разрушать, как самозабвенны, как наивно уверены в том, что войдут в историю. Но ни один хозяин не будет ломать старую избу, не построив сперва новую, если, конечно, он не круглый дурак; ведь даже муравьи строят новый муравейник, оставляя в покое прежний, иначе им негде будет укрыться от дождя. Я оставлял эти клочковатые мысли в твоих лесах, бродя босиком, босиком по земле, и шишки стукались об нее, цвела земляника. Куковали кукушки, и река катилась под нашим домом. Жаль, мы так и не

выкупались ни разу за шесть дней. Река ждала нас, и вода все катилась под угором, такая же невозвратная, как наше время.

* * *

Там, на Бобришном, однажды я совсем потерял чувство времени. Помнится, время как бы остановилось и исчезло. И все прожитое мной, начиная с первых воспоминаний, стоявшее до этого в ряд, утеряло последовательность, все сконцентрировалось и слилось в одной точке. Не существовало и будущего, было только одно настоящее, то, что уже есть, и это было странно-счастливое состояние. Нет времени. Нет вечности — ни той, которая позади нас, ни той, что впереди: есть только то, что есть, есть нулевые координаты времени. Странное, необъяснимое состояние. Я глядел на все окружающее каким-то внутренним взором, мне казалось, что я слышу цвета и размеры, а звуки и запахи вижу, хотя моего «я» тоже не было, оно тоже исчезло.

Рябчик свистел за твоим домом, то печально звенели комары, пахло солнечной хвоей, то виднелись в окнах неподвижные в мягких сумерках ветви деревьев, и не поймешь, какая пора суток.

Я уходил далеко в лес, зная, что мешаю тебе работать и что дружба не требует обязательного присутствия. Меня иногда мучила твоя излишняя заботливость, мне хотелось нейтральности, дружеского равнодушия. Ведь настоящих друзей никогда не потчуют за столом. Но ты противоречив: даже и жалуясь на обилие и назойливость всевозможных гостей, всегда радовался их приездам, тем приездам,

когда гости маскируют ухой самое банальное желание выпить или лишний раз напомнить тебе, кто есть кто. Однажды после такого наезда я с туманной головой и сосущей болью в боку с пятого на десятое слушал тебя. И вдруг вздрогнул: такое горе, такая скорбь просочились в твоем голосе. Ты говорил о своем недавно погибшем сыне и плакал, и у меня сжалось сердце оттого, что твои слезы не были слезами облегчения и что ничем тут не поможешь, ничего не вернешь: горе это неутешно и необъятно. И в домике на Бобришном угоре всю ночь жило страдание. Утром я ушел далеко по речному берегу и лег под старой сосной, на откосе, долго глядел в сизое, тускнеющее к полудню небо. Почему-то солнце не могло меня согреть. Я встал, насобирал сушняку и разжег костер. Огонь тоже не грел, а лишь обжигал, я глядел на сивый древесный пепел и думал о смысле всего, о непонятном, ускользающем смысле. Теперь я вновь ощутил время. Костер утихал, и время шло в одну сторону, и ничто не могло остановить его хода: ни голос кукушки, ни голос сердца, посягающего на все непонятное. Где-то на западе грозно, далеко гремел гром, он, то приближаясь, то удаляясь, медленно, не торопясь надвигался к Бобришному угору. Гроза рычала все ближе, и земля поглощала ее картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я все глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к неживой вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — все это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать. Уже скрылось тревожно-косматое солнце, ветер нарастал с каждой секундой. Я медленно ухо-

дил от грозы, преодолел густой, совсем молоденький ельник и вышел в сухой корявый сосняк. В этом редком сосняке не было ни листка, ни травинки: один ягель хрустел под ногами. Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза. Но ее грохот, ее вселенская истерика казались мне нелепой, бессмысленной: на кой черт все это! Для чего и зачем? Ведь даже и те умрут, кого еще нет, кто еще не родился...

В доме я увидел тебя сидящим за тем еловым столом, ты оглянулся и спросил, не промочил ли я ноги. Помнится, в твоем взгляде было то самое, непостижимое для меня выражение, выражение, всегда возвращающее мне понимание того, как относительно мое, сиюминутное восприятие мира. Как-то так сердечно прозвучал твой голос... И в голосе и во взгляде было как бы тихое снисхождение к моим философствованиям, словно ты знал о них, переболевший ими задолго до меня, и теперь допускал их для меня и принимал, зная что-то другое, более главное, еще не пришедшее ко мне.

Но прежнее восприятие жизни возвращалось ко мне медленно. Я злился на себя из-за того, что оно возвращалось, вышел на крыльцо и сел на ступени. Всюду, будто сверху и снизу, со всех сторон, трещал гром. Шумела в лесу дождевая метель. Вдруг полетел град и дохнуло зимой взаправду. Градины стучались о крышу, бухали о землю, прискакивали и медленно таяли, и гром стлался по земле, в лесу и в небе летала вода.

Но гроза уже утихала над нашим кровом. Она уходила частью дальше, частью выдыхалась, хотя дождь еще долго кропил Бобришный угор. В доме

было тепло и спокойно, отблески молний вспыхивали за окнами, пахло освеженною зеленью. Гром еще рычал где-то, но все тише и тише, и сквозь разряды «спидола» негромко играла чью-то прекрасную музыку. Было слышно, как с крыши капают последние капли, и музыка, похожая на эту капель, звучала в домике. Кажется, это была одна из шопеновских мазурок. Та самая, в которой слышится спокойная радость жизни, светлая послегрозовая усталость и гармоничное, счастливое созерцание мира. И оттого, что в доме струилась эта светлая, прекрасная музыка, что в твоем голосе была поддержка, и дружба, и мужество, хотелось снова что-то делать в этом непостижимом мире, для людей и для времени.

* * *

Когда мы уходили с Бобришного, я слышал, как у дома тихо ропотали сосновые кроны. Мерцала река. Кукушка молчала. На твоем окне так и остались синие лесные цветы и томик Толстого.

Теперь Бобришный угор спит под холодным снегом. Наверное, сейчас там ясная морозная тишина. Река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в непогоду в остывшей печке свистит ветер. Домик ждет весны, но никогда для него не будет той весны, которой хочется для него нам. А я с запозданием говорю тебе спасибо. Спасибо за дружбу и древний, печальный, последний наш деревенский кров: видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени.

СОДЕРЖАНИЕ

Привычное дело

Глава первая

1. Прямым ходом 7
2. Сваты 14
3. Союз земли и воды 22
4. Горячая любовь 28

Глава вторая

1. Детки 38
2. Бабкины сказки 44
3. Утро Ивана Африкановича 56
4. Жена Катерина 59

Глава третья

На бревнах 67

Глава четвертая

1. И пришел сенокос 100
2. Фигуры 108
3. Что было дальше 117
4. Митька действует 122
5. На всю катушку 129

Глава пятая

1. Вольный казак 138
2. Последний прокос 154
3. Три часа сроку 159

Глава шестая

Рогулина жизнь 169

Глава седьмая

1. Ветрено, так ветрено... 184
2. Привычное дело 193
3. Сорочины 211

Забытое прошлое

Весна 221
Под извоз 240

На Росстанном холме

Речные излуки 267
На Росстанном холме 286
За тремя волоками 299
Бобришный угор 334

Белов Василий Иванович

За тремя волоками

М., «Советский писатель», 1968, 352 стр.
Тем. план вып. 1967 № 8

Редактор *В. В. Петелин*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*.

Техн. редактор *Т. С. Ступникова*. Корректор *Л. А. Матасова*.

Сдано в набор 13/V 1967 г. Подписано в печать 2/XII 1967 г. А 13534. Бумага 70×108 1/32 № 1. Печ. л. 11 (15,40). Уч.-изд. л. 13,49. Тираж 30 000 экз.

Заказ № 211. Цена 56 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10
Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

56 коп.



